

2
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОДИНЯЙТЕСЬ!

Oct 11
2318
929-

ВЕСТНИК

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ

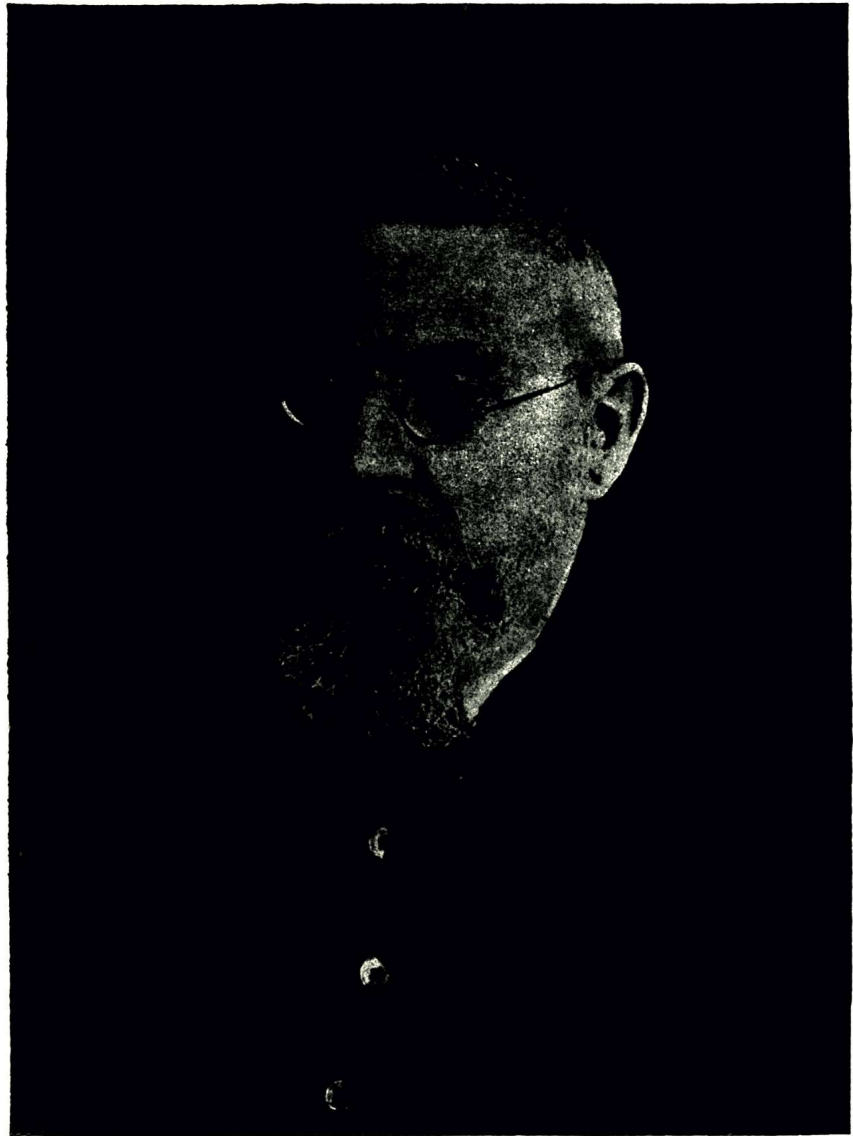
29 (5)

1928

ИЗД-ВО КОММУНИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ

AS262
M58

LIBRARY OF CONGRESS
JUN 26 1934
DIVISION OF DOCUMENTS



Москва. Главлит А 25.332.

ИКА 402.

3.000 экз.

«Мосполиг. аф», 16-я типография, Техпрудный, 9.

М. Н. ПОКРОВСКИЙ

М. Н. ПОКРОВСКИЙ

(К 60-летию со дня рождения)

М. Н. Покровский принадлежит к той группе членов нашей партии, к тем старым большевикам, жизнь которых теснейшим образом переплетается с историей революционного движения последних двух-трех десятилетий. Говорить о них—это значит рассказывать об основных этапах борьбы, которую выдержал рабочий класс и его большевистская партия. Говорить о них—это значит восстанавливать в памяти годы подполья, годы борьбы против самодержавия, годы тюрем, ссылок, эмиграции, горячий шквал 1905 года, победоносный 1917 год, тяжелые, но славные годы гражданской войны и „военного коммунизма“ и годы социалистического строительства. Именно к этой категории лиц принадлежит М. Н. Покровский: историк в науке, он сам принадлежит истории в жизни.

В рядах нашей партии М. Н. Покровский выделяется, прежде всего, как ученый. Но это не тип кабинетного ученого, занятого только архивными изысканиями и писанием толстых трудов. Это тип коммуниста-ученого, который занятия над научным материалом легко меняет на занятия над непосредственной жизнью. Благодаря этому, и самые научные занятия и ученые изыскания непосредственно переплетаются с запросами жизни, с требованиями борьбы.

Окончив в 1891 году Московский университет по историко-филологическому факультету, он начал преподавать историю в средних учебных заведениях. С 1891 же года он начинает читать лекции на Педагогических курсах и на Высших женских курсах. Уже в его работе, анализирующей экономический быт Европы в конце средних веков, напечатанной в конце 90-х годов, его взгляды определяются, как взгляды марксиста, а в своих лекциях он проводит революционную теорию. Вполне естественно, что самодержавное правительство не могло не почтить эти лекции вниманием, а это внимание, естественно, привело и к запрещению таковых. В 1903 году легальные лекции ему запрещаются. Многих и мно-

гих такого рода запрещения сворачивали с революционного пути и заставляли отказываться от революционной борьбы, но настоящих революционеров эти преследования только еще более закаляли. Результатом явилось то, что в 1905 году т. Покровский уже борется в рядах большевиков и состоит членом лекторской группы Московского комитета, а в 1906—07 г. уже является членом Московского комитета партии. С этого времени начинается его жизнь, как партийного работника. В 1907 году он едет на Лондонский съезд партии, а после него, уже на нелегальном положении, живя под Москвой, пишет ряд статей для известного коллективного труда — „История России в XIX веке“ (издание Граната).

Уже эти работы в нашей марксистской исторической литературе представляли крупное явление и явились как бы преддверием к его основным работам по русской истории. Внимание, однако, царского правительства к М. Н. Покровскому помешало ему продолжать свои работы в России. За свою партийную работу он был привлечен по знаменитой 102 статье, которая грозила каторгой или вечным поселением. Но т. Покровскому удалось выехать в Финляндию, откуда он в сентябре 1909 г. уехал во Францию и в эмиграции прожил вплоть до 1917 года. В этот-то период, главным образом, с 1911 по 1914 год, М. Н. Покровским и написаны его основные труды по русской истории — „Русская история с древнейших времен“ (в этой истории главы по истории религии и церкви написаны Н. Никольским) и „Очерки истории русской культуры“ (1-ая часть). Вместе с этим им пишется целый ряд всякого рода статей на политические, партийные и общественные темы. Но именно его основные исторические труды послужили фундаментом для создания и для формирования у нас целого направления, целой школы историков-марксистов.

М. Н. Покровский подошел к анализу истории России с помощью марксистского метода, и сразу же целый ряд основных проблем русской истории встал в совершенно ином освещении и в иных отношениях, и ряд важнейших исторических фактов получил совершенно иное объяснение. В предисловии к „Русской истории с древнейших времен“ говорится: „Мы будем исходить от того, что ранее нас добыто историками-специалистами по тому или иному вопросу“. И дальше: „Трудность нашего положения в том и состоит, что материал, собранный историками-идеалистами, нам приходится обрабатывать с материалистической точки зрения. „Новизна“ нашего материала (недавно отпраздновавшего

полувековой юбилей) вынуждает нас, поэтому, в своих объяснениях быть оригинальнее, чем полагается обыкновенно историку-популяризатору, а так как новое объяснение вынуждает очень часто и к новой фактической обосновке, то нам придется больше привлекать к делу сырого материала, чем мы бы сами хотели, и выступать иногда в роли, если не исследователей, то передовых разведчиков, нащупывающих новые пути и для разрешения чисто специальных вопросов».

Пользуясь соответственным историческим материалом и применяя метод марксизма, М. Н. Покровский пришел к установлению новых закономерностей в развитии русской истории, что и делает из его работы действительно, а не формально, научный труд огромного значения, который послужил в различных областях базой научной работы и исторических изысканий для целого ряда историков.

В буржуазной науке очень часто научным трудом считают, прежде всего, собирание и описание материалов, зачастую касающихся какой-нибудь совершенно десятистепенной детали. Конечно, нельзя отрицать пользы такого собирания и описания, но как масса кирпича, железа и леса еще не представляет из себя сооружения, хотя из нее можно создать различные постройки, так и масса исторического материала не представляет еще собою научного труда, и только, будучи приведена в систему, в которой определены законы развития общественных отношений, она превращается в действительно научный труд. Именно такую научную работу в настоящем смысле этого слова в отношении русской истории и произвел М. Н. Покровский. Исторический процесс развития России получил ясность и определенность в этом труде, который сразу же выделился из массы других исторических трудов, путавшихся в различного рода идеалистического характера сетях взаимодействия факторов и т. п.

Особый интерес представил анализ роли торгового капитала, а также анализ первых этапов развития промышленного капитала в России. Точно так же история революционного движения получила совершенно определенное марксистское освещение. Целый ряд героев прошлого, индивидуальных и коллективных, был поставлен в определенные исторические рамки и была вскрыта классовая подоплека их деятельности.

Но, как мы говорили уже выше, М. Н. Покровский не только ученый историк, но и публицист, живо откликающийся на важней-

шие события современности. Однако, его публицистические выступления насквозь проникнуты научным духом, и это делает их особенно ценными и интересными. В частности, необходимо отметить особую ценность его работ, связанных с анализом империалистической войны.

Исторические работы М. Н. Покровского сыграли огромнейшую роль не только для наших ученых-историков, но именно для самых широких кругов в смысле формирования марксистских взглядов в таком животрепещущем вопросе, как русская история.

1917 г. дал, наконец, возможность М. Н. Покровскому вернуться в Россию, и он с головою окунается в революционную работу. Не отказываясь ни от какой работы, он, однако, быстро выдвигается в первые ряды деятелей революции. Вскоре по возвращении он делается членом редакции „Известий Московского совета“, а затем и председателем Московского совета рабочих депутатов. В это же время советское правительство поручает ему ответственнейшее дело, посылая его в составе нашей первой делегации по переговорам с Германией о мире. С образованием Совета народных комиссаров в Московской области 20 марта 1918 года М. Н. Покровский избирается его председателем, а в мае 1918 г. назначается заместителем народного комиссара по просвещению, и занимает с тех пор до настоящего дня бессменно эту должность.

С 1918 года и начинается непосредственная деятельность т. Покровского в качестве одного из основных организаторов научной работы в СССР.

Коммунистическая партия и советская власть с самого начала придавали огромное значение научной работе. Больше того, именно в наших условиях, когда все общественное строительство мы стремились вести только на научных основах, научная работа получила особенно важное значение. Те часто самые неожиданные препятствия, какие неизбежно создаются в рамках буржуазного строя для научной работы, с приходом к власти пролетариата решительно устраняются. Господство идеализма и религии несомненно с научным развитием. Конфликты самые глубокие, самые резкие неизбежны между наукой и предрассудками, между наукой и квазинаукой в капиталистическом строе. В этом отношении, в первую очередь, страдают, конечно, общественные науки.

Анализ законов общественного развития при малейшей научной объективности неизменно приводит к яркому вскрытию глубочайших противоречий капитализма, которые ведут к его неиз-

бежной гибели. Но подобного рода наука, конечно, не по душе господам положения буржуазного строя, и они ее всячески душат или же применяют всяческие способы к ее извращению, классические примеры чего мы находим не только у буржуазных историков, социологов и экономистов, но и в квази-научных трудах теоретиков II Интернационала, всеми силами и способами извращающих марксизм.

Особому преследованию подвергались общественные науки в царской России, когда даже робкие выступления реформистов, ревизионистов и либералов в буржуазной науке преследовались. Но не только область общественных наук и естествознание не могло уберечься от препятствий, стеснений и даже прямых преследований со стороны буржуазии и ее идеологов. Современная Америка—это страна, ведущая сейчас капитализм, дает яркие, а зачастую, анекдотические примеры этого (вспомним, хотя бы, пресловутые преследования теории Дарвина).

Что же говорить о научных работах, подобных научным работам тов. М. Н. Покровского?

С установлением советской власти открылись самые широкие возможности для развития научной деятельности. Однако, нужно сказать, что, несмотря на то, что были устранены и решительно сметены препятствия, мешавшие действительно научным работам, все же целый ряд причин тормозил развитие научной работы у нас в СССР. Во-первых и прежде всего, тот факт, что мы получили в огромном большинстве, в лице научных учреждений, организаций и научных работников, старую буржуазную науку с ее многими ценнейшими достижениями, но и с ее коренными недостатками: главенством идеализма и узко-сектантским консерватизмом. Только путем длительной систематической и неуклонной работы могли быть изжиты эти черты и могли быть расчищены пути для развития действительно научной работы. Именно эту необычайно важную критическую работу и вместе с тем организаторскую научную работу и необходимо было произвести. Во-вторых, целый ряд ученых активно выступил на защиту помещичье-капиталистического строя после его поражения и ряд деятелей буржуазной науки очутился по ту сторону границы СССР. В-третьих, недостаток средств. Страна, которая перенесла тягчайшие войны, тяжелейшие революционные бои, которая испытала жесточайший голод, не сразу могла уделять достаточные средства на организацию научной работы. Но, однако, с каждым годом, с каждым шагом вперед по пути экономического развития открываются все новые возмож-

ности для форсированного увеличения средств на научную работу. Наконец, в-четвертых, недостаточность у нас своих научных сил. Для выработки научного работника требуются годы. Вместе с тем, каждый, более способный, талантливый и знающий работник у нас не только используется и может быть использован для научной работы, но должен вести самую разнообразную общественную работу. Все это, естественно, задерживало темп создания новых кадров наших молодых ученых.* Однако, жизнь повелительно требовала разрешения задачи — организации научно-исследовательской работы в СССР. Наряду с фронтами в области политической и экономической, идеологический фронт так же выделился, как один из важнейших фронтов. В эту область партий и советской властью были брошены не многочисленные, но все же относительно значительные силы работников. Неудивительно, что тов. М. Н. Покровский оказался во главе их. Более подходящего авторитетного и знающего лица для этой работы трудно было найти. В качестве зам. наркома просвещения, в качестве деректора ИКП, в качестве председателя Коммунистической академии, тов. М. Н. Покровский, насколько только ему позволяли силы, пошел бороться на этом фронте строительства научной работы СССР. И тут ему пришлось выдержать не мало боев. В процессе самой работы нужно было создавать и кадры новых научных работников, и в этом отношении лекции и занятия, которые вел сам М. Н. Покровский и его ученики в Свердловке, в Институте красной профессуры, в университетах и т. п. выдвинули целый ряд новых работников, новых молодых историков, которые двинули работу дальше.

Под непосредственным руководством М. Н. Покровского организуется Коммунистическая академия — центр теоретической марксистско-ленинской работы. В ее стенах под председательством того же М. Н. Покровского образуется общество историков-марксистов и работает секция истории революционного движения. Выпускается целый ряд исторических работ и издается самый серьезный и ценный исторический журнал — „Историк-марксист“.

Организация научной работы в СССР неразрывно связана с именем М. Н. Покровского.

Юбилей М. Н. Покровского — это одновременно и юбилей целого периода нашей марксистско-ленинской научной работы.

В. Милютин

К ЮБИЛЕЮ М. Н. ПОКРОВСКОГО

Я берусь за перо для того, чтобы набросать маленький портрет моего дорогого друга и сотрудника, М. Н. Покровского. Я не имею при этом в виду ни писать хотя бы краткую его биографию, ни характеризовать его многочисленные и блестящие научные труды, ни подводить итоги его глубоко важной и плодотворной работе по разным сторонам нашей культурной жизни и в особенности народного просвещения.

Все эти темы необычайно интересны, за каждую из них я взялся бы с охотой и любовью, но сделать их достаточно основательно можно, только отложив другие работы и на некоторое время специально отдавшись такой теме. Суммарная оценка наверное будет дана и помимо меня. То, что я пишу, есть просто маленькие кроки или, если хотите, силуэт Михаила Николаевича как личности, — разумеется, прежде всего общественной. В этом смысле Михаил Николаевич являет столько оригинальности и к тому же для всех нас, близко работающих с ним людей, так дорог, что беглый набросок этот переполняется для меня особым интересом.

Еще при праздновании 50-летнего юбилея Михаила Николаевича все говорили об его исключительном остроумии, о блестящем даре изложения. Между тем этот неоспоримый и высокий дар не является у Михаила Николаевича чем-то отдельно стоящим, он сливается как бы в одно со всем строением его ума и характера.

Меня всегда поражала у Михаила Николаевича исключительная ясность, царящая во всем его сознании. Этот человек, наблюдает ли он реальную жизнь или вчитывается в документы старины, делает ли он из них непосредственные выводы, уясняя себе их внутренний смысл, или сочетает их в целостную картину или многоохватывающую теорию, — он всегда отличается умением заметить все существенные черты явлений (хотя бы на первый взгляд они казались невзрачными и второстепенными), найти сходство или

различие там, где оно существенно, но где оно часто скрыто и всегда остроумно и необыкновенно плодотворно. Когда сравниваешь умственную работу Михаила Николаевича не только с работой умов заурядных, но даже очень многих крупных мыслителей, прославленных историков, то кажется, что они ходят в каких-то вечерних сумерках, а перед Михаилом Николаевичем, куда бы он ни обратил свои взоры, идет день, при этом не день, горящий ослепительным солнцем, который украшает золотыми блестками предметы и заставляет воздух рдеть и отражать в нем миражи, а несколько прозаический, но наполненный ровным светом день, ничего не приукрашивающий, ничего не прячущий в тени. Это одновременно и дар ума, и настоящее, подлинное ясновидение, не имеющее ничего общего с глупым о нем понятием, созданным мистиками, запакостившими это слово,—но это также и нравственный дар, это честность, честность наблюдателя, честность мыслителя и при этом честность самого высокого порядка. Есть конечно разные карликовые, искривленные люди, которые воображают, что Михаил Николаевич надел на себя большие марксистские очки и что он старается подводить свой материал под определенный, заранее принятый принцип. Но что вы поделаете с такими людьми? У них, у самих, нос оседлан разноцветными очками и тот, кто видит мир желтым и голубым, считает чуть не уродом того, кто видит его в естественном освещении. Михаил Николаевич много способствовал тому, чтобы снимать эти цветные стекла с глаз своих коллег и в особенности своих учеников и учить их честности. Вполне последовательный, честный историк не может не быть марксистом. Марксизм предполагает, между прочим, умение видеть вещи такими, какими они даны материально, и в той связи, которая как раз наиболее цепко и многозначительно их связывает.

Однако, дело не только в том, что высокая честность, свойственная Михаилу Николаевичу как мыслителю, определяет также в нем и общественного человека. Я не знаю, что раньше родилось в душе Михаила Николаевича—глубокое ли сочувствие к рабочему классу или возмущение ложью нашего общественного строя, или стремление со всей честностью отдать себе отчет в прошлом человечества, его настоящем и возможном будущем. Может быть, ни то, ни другое не предшествовало, а родилось рядом; но честность Михаила Николаевича открыла ему всю мерзость не только самодержавия, но конечно и капиталистического строя вообще, и его,

молодого ученого, повела безотлагательно и безоговорочно в ряды авангарда рабочего класса.

Слово не расходилось у тов. Покровского с делом. Крупнейший марксист-историк, он стал и активным борцом большевизма.

Я не говорю, что Михаил Николаевич никогда не ошибается. Я тем более имею право говорить об его ошибках, что сделал ту же самую ошибку, что и он, во время существования нашей впередовской группы. Он исправил ее еще раньше, чем я, и в этом опять-таки его честность, которую я ставлю так высоко: раз придя к выводу, что мы ошиблись, Михаил Николаевич ни на минуту не колебался, признал это и сделал все выводы. Я думаю, что если у Михаила Николаевича были какие-нибудь другие ошибки, кроме его впередовства, то они были такими же благородными, а не иными. Да простят мне эти слова товарищи, которые ошибки не сделали: мы, во всяком случае, сделали ее из большой преданности и любви к революции, когда нам показалось, что великий вождь преждевременно покидает позиции. Разумеется, великий вождь был прав, а мы были почти наивны, но морально за это в нас никто камнем кинуть не может.

Этот великолепный, я бы сказал, умственный и сердечный аппарат, честность в идеях и чувствах, зоркость, смелость и точность выводов Михаил Николаевич применял естественно, как естественно летает птица, ко всему, что исторические судьбы поручили его обработке и руководству.

Как руководитель Наркомпроса и в особенности его педагогической секции, Михаил Николаевич сыграл такую огромную роль в деле сохранения правильного пути, в такой мере служил непогрешимым компасом в сложнейшем вопросе культурной ориентации, которую достаточно оценит вероятно только история.

Я остановился больше всего на этих серьезных и деловых чертах фигуры Михаила Николаевича, но очарование этой личности заключается в том, что имея эти, я сказал бы, разительные и максимальные черты в своем характере, эту честность и „глубину“, делающую людей большими учеными и большими общественниками, Михаил Николаевич является еще и обладателем некоторой увлекательной и симпатичной „поверхности“.

Достаточно провести немного времени с Михаилом Николаевичем, чтобы подпасть под обаяние его исключительного остроумия. Самая отменная черта его искрящегося диалога (так же, как его лекций) это конечно добродушная ирония. Зоркий ко всему, он

зорко отмечает и слабость и непоследовательность, смешные связи, которые как бы сами собою устанавливаются у него между данными фактами или утверждениями и очень далекими на вид фактами. Отсюда целый фонтан сравнений, метких стрел, которые попадают в уязвимые места. Но если дело идет о друге и Михаил Николаевич не хочет делать больно,—тогда вся эта переливающаяся красками игра ума не только не ранит, но становится наиболее мягкой, наиболее живой, наиболее милой формой плодотворной критики.

Если дело идет о противнике, остроумие Михаила Николаевича становится язвительным, оно наносит раны, которые нескоро заживают. Не один из крупнейших „зверей“, которые попадались Михаилу Николаевичу в его марксистской охоте, носит еще до сих пор где-нибудь между ребер тот или другой заряд Михаила Николаевича.

Надо прибавить еще ко всему сказанному, что Михаил Николаевич великолепный товарищ, человек высоко ценящий достоинства другого и поэтому обладающий высоким тактом и деликатностью, которых нам так часто недостает.

Труженик колоссальной напряженности и работоспособности, Михаил Николаевич представлял и представляет собою такую партийную ценность, что как бы вынуждает партию и государство к чрезмерному своему использованию. Редок, я думаю, во всем нашем Союзе человек, который был бы так перегружен. К сожалению, эту перегрузку в достаточной степени и достаточно энергично производят теперь, когда здоровье Михаила Николаевича значительно поколебалось. Надо стать на другую точку зрения; вновь подчеркнуть, какое сокровище имеем мы в этом человеке, но не для того, чтобы совать его всюду, где нужен человек большого образования, большого ума, опыта и партийной выдержанности. Нужно, наоборот, притти к выводу, что драгоценность эту надобно беречь и пускать в ход главным образом по тем линиям, где эффект может быть наибольшим.

Поколебавшееся здоровье Михаила Николаевича, надеемся, восстановится, и мы твердо убеждены, что Михаил Николаевич еще долгие годы сможет работать вместе с нашей превосходной молодежью над общим делом строительства. Но будем бережливы в трате его сил. Это будет наилучшим методом использования его огромного дарования.

А. Луначарский

СОЦИАЛИЗМ И ЭГАЛИТАРИЗМ ¹

Историческая наука далеко еще не достигла той точности в своих терминах, той определенности в своих общих понятиях, какими отличаются науки естественные. Этот факт можно считать общепризнанным. Для иллюстрации достаточно отметить, что не могут считаться твердо установленными в своем содержании даже такие понятия, как феодализм или капитализм, т. е. понятия основные. Объясняется это, конечно, отнюдь не только сравнительной отсталостью исторической науки. В значительно большей мере в этом факте сказывается непосредственная зависимость развития истории от классовых взаимоотношений и интересов классовой борьбы. На примере понятий, рассматриваемых нами в настоящей статье, в этом не трудно убедиться.

Пожалуй, хуже чем в какой-либо другой области истории обстоит дело с этой точки зрения в истории социальных идей. Даже у крупнейших историков социальной мысли мы встречаем чрезвычайную неотчетливость терминологии, чрезвычайную неясность классификации рассматриваемых ими явлений. Между тем отсутствие ясного расчленения, точной классификации затрудняет понимание как внутренней сущности каждой из изучаемых систем, так и их взаимной связи. Конечно, в живой исторической жизни мы встречаем ряд систем сложных, зачастую внутренне-противоречивых, как бы стирающих грани, устанавливаемые логически между различными видами социальных учений. Тем не менее и эту сложность, и эти внутренние противоречия мы можем должным образом осознать и понять, лишь исходя из строгого логического расчленения.

Едва ли какой-либо термин употребляется в исторической науке в столь неопределенном смысле как термин социализм. Объясняется это конечно уже отмеченной нами зависимостью истории от интересов

¹ В основу настоящей статьи положен доклад, прочитанный на VI международном съезде историков в Осло 17 августа 1928 года.

классовой борьбы, тесной связью между историей и публицистикой. Понятие социализм заимствовано наукой из публицистики без должной критической проработки. В публицистике социализм является объектом самой ожесточенной борьбы, в целях которой бывает иногда выгодно искажение основного содержания понятия, отнесение к нему явлений, по существу с ними лишь слабо связанных, а иногда и вовсе не связанных. Стоит пожалуй напомнить, что в английской консервативной прессе не мало говорилось о «социализме» Ллойд-Джорджа во время прохождения внесенного им в парламент проекта страхования рабочих. Вполне понятно, что перенесенное в историческую науку со столь неопределенным содержанием понятие социализм могло лишь создать затруднения делу научного анализа; зато оно оказывалось особенно пригодным в тех случаях, когда исследование, при его более или менее научном характере, само не было чуждо публицистических заданий.

Присмотримся к тому, как употребляется термин социализм в исторических работах. И прежде всего заметим, что почти всегда на ряду с ним, как равнозначный, мы встречаем термин коммунизм. Все делавшиеся до сих пор попытки разграничения этих понятий лишь в слабой мере отразились на рассматриваемых нами исторических трудах. Впрочем для разрешения поставленной нами проблемы—выделения из общей массы так называемых социалистических теорий учений уравнительных—вопрос о соотношении между понятиями социализм и коммунизм не является существенным. Будем ли мы говорить о социализме или о коммунизме, и от того и от другого эгалитаризм на наш взгляд одинаково отличается в самых существенных своих признаках.

Возьмем наиболее обширную работу об античном социализме—работу Пельмана. Пельман считает возможным начать историю социалистической мысли Греции с Фалея Халкедонского: *die Geschichte des sozialistischen Staatsideale des Hellenentums kann erst mit der Politie des Phaleas von Chalkedon beginnen*¹. Что же знаем мы о Фалее? Все наши сведения о нем ограничиваются тем, что дает Аристотель в своей «Политике». Во-первых, по учению Фалея, «вся земельная собственность должна быть равной»; во-вторых, для всех граждан должно быть равное воспитание; в-третьих, ремесленники должны быть государственными рабами². Таков первый образец античной «социалистической» теории, предлагаемый нам Пельманом. Следующим

¹ Pöhlmann, Geschichte der sozialen Frage im Altertum, 2 Ausg., II, 6.

² Arist., Pol. II, 4.

является теория «Государства» Платона. Она слишком общеизвестна, чтобы ее излагать подробно. Коммунизм правящего класса, не принимающего однако участия в производстве,—коммунизм потребительский, индивидуальное производство класса трудящихся. Наконец третий образец—утопический роман Ямбула, дошедший до нас в изложении Диодора Сицилийского. Здесь данные Диодора почти так же скудны, как данные Аристотеля о Фалее. Можно сказать лишь, что Ямбул изображает небольшие родовые общины равных, живущие охотой, рыболовством и собиранием плодов дико растущих деревьев; эти общины имеют некоторую общественную организацию труда, не знают индивидуальной семьи (общность жен) и, повидимому, частной собственности¹.

Для Пельмана все три построения представляются социалистическими, между тем бесспорно, что они отличаются одно от другого в самых существенных чертах. У Ямбула, если только мы правильно понимаем не всегда точные и ясные сообщения Диодора, мы имеем действительно нечто подобное общинному коммунизму в условиях характерных для древне-греческих представлений о первобытном «золотом веке»,—во всяком случае общество без деления на классы. У Платона, наоборот, пред нами два резко различающихся друг от друга общественных класса с разными функциями и разными правами: высший класс, живущий в своеобразной военной общине, влияет на производство лишь в направлении уравнительном, следя за тем, чтобы среди трудящихся не развивалось чрезмерного богатства и бедности². Что касается Фалея, то у него нет даже потребительской общины правящих, речь идет лишь о равенстве земельных наделов граждан, причем вне пределов гражданства остается многочисленный класс рабов ремесленников.

Но Пельман не ограничивается тем, что относит к социализму все перечисленные теории. Он считает социалистическими также очень многие из революционных движений, происходивших в древней Греции, начиная с шестого века до нашей эры. Так он говорит об аграрном социализме в Афинах времен солоньской реформы. С тем большой уверенностью квалифицирует Пельман как социал-демократическое социальное движение IV века. Наконец под общее понятие «социализм» подводит он и спартанские попытки реформ царей Агиса и Клеомена.

¹ Diod. Sic. II, 57—59.

² Plat. Polit., IV, 421.

Применяя так широко термин социализм, Пельман несомненно руководится некоторым заданием публицистического характера. Ему важно показать, что в античном мире было мощное социалистическое движение, во многом подобное современному, и что это движение оказалось социально бесплодным, что оно приводило лишь к общественной дезорганизации. Политические выводы по отношению к современности Пельман как «объективный» историк предоставляет делать догадливым читателям. Построение Пельмана отнюдь не представляет собою какого-либо исключения. Наоборот, как мы увидим ниже, он еще осторожнее в своей терминологии, чем многие современные историки социальных идей. Если мы возьмем например вышедшую в 1925 году и посвященную той же теме—античному социализму—книгу Виппера, мы встретим в ней еще более всеобъемлющее понимание термина коммунизм¹. Виппер считает коммунистическим старинный строй Египта и Вавилона; для него не только Агис и Клеомен, но все вожди социальных движений Греции и Рима—коммунисты; даже Суллу и Цезаря он подозревает в коммунизме². А между тем, профессор Виппер прекрасно знает—и говорит об этом в своей книге—каковы были реальные цели вышеуказанных социальных движений. В частности, он признает, что те самые римские трибуны, которых он именует коммунистами, стремились к насаждению мелкой земельной собственности. Очевидно он не желает замечать заключающегося в этих положениях противоречия. Это и понятно. Та путаница понятий, какую мы находим у Виппера, имеет свое—не научное конечно, а публицистическое—оправдание. Его книга является по существу достаточно откровенным памфлетом против современного коммунизма.

Не лучше обстоит дело и у историков нового времени. Известный исследователь французской социальной философии XVIII в. Эспинас утверждает, что вся философия этой эпохи (исключая физиократов и Вольтера) была социалистической³. С его точки зрения социалистами, хотя и с оговорками, можно признать и Монтескье, и Руссо, и Мабли. И в качестве доказательства Эспинас указывает на тот факт, что все они мечтали об эгалитарных демократиях древности (*s'accordent pour préférer aux monarchies modernes les démocraties égalitaires de l'antiquité*). Для Эспинаса социализм или коммунизм,

¹ *Vinper*, Коммунизм и культура. Виппер предпочитает говорить о коммунизме там, где Пельман говорит о социализме.

² *Vinper*, *op. cit.*, 106.

³ *Espinass*, *La philosophie sociale du XVIII siècle en France*, 110.

это лишь своего рода символ, лозунг, которым обычно прикрываются, стремясь по существу только к перераспределению собственности. В соответствии с такой концепцией он не считает нужным проводить грань между идеями Руссо и идеями Морелли; не существует для него также принципиальных различий между Робеспьером и Бабефом.

Эспинас оправдывает широкое применение термина социализм своеобразным толкованием его значения. Пусть это толкование явно неправильно, пусть оно явно продиктовано ненавистью к социализму и к революции—все же оно придает некоторый внешний вид научности построению Эспинаса. В более новой книге, посвященной также одному из вопросов истории французского социализма,—в книге Сансье о бабуризме после Бабефа¹—мы не находим даже такой попытки объяснить царящую в ней путаницу терминов. Слова *communiste* и *égalitaire* употребляются Сансье безо всяких оговорок на одной и той же странице по отношению к одним и тем же явлениям, как термины тождественные. Очевидно Сансье, опираясь на существующую традицию, не чувствует потребности подвергнуть какой-либо проверке установившуюся терминологию, несмотря на всю ее несостоятельность.

Пельман и Виппер, Эспинас и Сансье—все это более или менее откровенные враги социализма. К сожалению, было бы ошибкой думать, что неотчетливость терминологии, что произвольное применение понятия социализм (или коммунизм) к явлениям иного порядка свойственны только писателям такого направления. Много примеров, аналогичных приведенным, мы можем найти и у социалистических авторов, когда им приходится писать о прошлом социализма. Возьмем хорошо известную книгу Беера о социализме в Англии. Если Эспинас находит возможным отнести к числу социалистов Руссо, то Беер признает коммунистом Годвина. Годвин не только высказывается против коммунистической организации производства—он был вообще противником всякой кооперации. Беер об этом знает. Он констатирует, что в коммунизме Годвина нет ничего положительного², и тем не менее называет его коммунистом. Здесь мы имеем дело с известной теоретической неряшливостью, которая объясняется отчасти той школой ревизионистского эклектизма, какую в свое время прошел Беер.

Вряд ли можно оспаривать ту мысль, что объединение одним термином столь разнородных явлений, как социальные теории Платона

¹ *Sencier*, *Babouisme après Babeuf*, pp. 5, 6 ff.

² *Beer*, *Geschichte des Sozialismus in England*, 111.

и Фалея, Монтескье, Руссо и Морелли, Бабефа и Годвина—отнюдь не содействует ясности наших представлений о существовании перечисленных теорий и об их взаимоотношениях. Я не предполагаю—да это было бы и невозможно в настоящем кратком очерке—дать сколько-нибудь исчерпывающую классификацию так называемых «социалистических» систем. Я хочу лишь отметить необходимость выделения из этого большого и сложного комплекса одной группы идей, которая объединена определенными общими чертами и которая должна быть противопоставлена социализму в настоящем смысле этого слова. Без такого выделения на мой взгляд не может быть правильного понимания исторического хода развития социальной мысли.

Среди тех учений, которые Пельман, Эспинас и другие называют социалистическими, можно отметить два типа представлений о будущем или желательном общественном строе. В основе одного из них лежит идея обобществления, в основе другого—идея уравнительного передела. Цель учений первого типа—возможное сокращение сферы частного владения, утверждение принципа владения общественным; цель второго—укрепление за каждым некоего индивидуального владения, равенство на основе частного владения.

Идея обобществления (земли и средств производства) возникает позже, на более высокой ступени общественного развития, идея уравнительного передела может быть отмечена в гораздо более глубокой древности (у израильских пророков, в ранних греческих социальных движениях и т. д.). Это и понятно: последняя более соответствует настроениям той массы, которая составляет социальную почву проповеди пророки образует кадры первых социально-революционных вспышек.

Различие между обобществлением и уравниванием настолько бросается в глаза, что его конечно не мог оставить без внимания столь осведомленный исследователь, как Пельман. И действительно, в главе своей книги, посвященной «аграрному социализму» в Афинах VI века до нашей эры, Пельман вынужден сделать целый ряд оговорок. Он признает, что конечная экономическая цель движения VI века, собственного говоря, не была социалистической (*Oekonomisches Endziel nicht eigentlich ein sozialistisches... ist*), движение, по его словам, вовсе не стремилось к замене капиталистической организации социалистической, к утверждению общинного хозяйства (*will ja nicht an die Stelle der kapitalistischen eine sozialistische Organisation, eine Gemeinwirtschaft setzen*). Наоборот, дело идет не об обобществлении, но о раздроблении существующих владений и о равном наделении землею всех граждан. Целью, таким образом, является хозяйственный поря-

док, который покоится на принципе экономического равенства, а не на принципе общей собственности, который не является следовательно социалистическим, но мелко буржуазным, или мелко крестьянским и индивидуалистическим (*eine Wirtschaftsordnung, die zwar auf dem Prinzip der ökonomischen Gleichheit, aber nicht auf dem Gemeineigentum... beruht, die insoferne also keine sozialistische, sondern eine kleinbürgerliche oder-bäuerliche und individualistische ist...*). Идеал—хозяйственное равенство на основе частной собственности (*die wirtschaftliche Gleichheit auf dem Boden des Privateigentums*)¹.

Далее Пельман очень хорошо объясняет, почему при социальных взаимоотношениях в Афинах VI века движение и не могло иметь иного характера. Казалось бы, что из всего сказанного должен быть сделан вывод, что перед нами здесь своеобразное явление, которое никак нельзя квалифицировать как «аграрный социализм». Но Пельман не хочет отказаться от усвоенного им термина, с которым связана вся его общая конструкция. Чтобы спасти свою терминологию, он прежде всего ссылается на современные ему споры по аграрному вопросу в германской социал-демократии и указывает на тот факт, что и сейчас социалисты не настаивают на обобществлении сельскохозяйственного производства. Конечно, такого рода поверхностная аналогия,—при радикальном различии во всей социальной обстановке Греции VI века до нашей эры и Западной Европы конца XIX века,—решительно ничего не может доказать. Если некоторые социалисты XIX века считают необходимым по тем или иным соображениям сохранение на более или менее длительный срок мелкого крестьянского землевладения, то как этим можно оправдать характеристику аграрного движения VI века как социалистического?

Гораздо существеннее для интересующего нас вопроса второй аргумент Пельмана. Этот аргумент состоит в следующем. Если по своей конечной цели движение и было индивидуалистическим, то обобществление было все же необходимым средством для достижения этой цели. Ведь прежде чем приступить к уравнительному распределению, нужно было экспроприировать землю у ее настоящих владельцев, признав ее *общим* достоянием, на которое все имеют равное право. Разве этот единичный акт не должен, независимо от дальнейшего, быть признан социалистическим?

Приведенный ход мыслей,—в явной или скрытой форме,—можно найти у многих исследователей, включающих уравнительные идеи

¹ Pöhlmann, I. c. I, 201.

в круг идей социалистических. Поэтому на этом рассуждении Пельмана стоит остановиться. Верно в нем только одно: уравниение действительно предполагает—как некий переходный момент между частным владением настоящего и частным владением будущего—более или менее длительный период, когда земля взята уже обществом у настоящих владельцев и еще не распределена между новыми. Можно сказать даже больше. В некоторых уравнительных теориях мы видим длительное, а не только единовременное вмешательство общества в порядок владения. Общество (в лице ли государства или в лице более мелкой организации) мыслится как своего рода верховный владелец всего земельного фонда, государство весьма значительно ограничивает в интересах равенства права индивидуальных владельцев. Но это отнюдь не является достаточным основанием для именованя подобных теорий социалистическими. Временное или длительное ограничение индивидуальных прав может быть произведено во имя самых разнообразных целей,—между прочим, даже во имя цели сохранения буржуазного порядка. Цель эгалитаризма—устранение недостатков индивидуалистического производства при сохранении его индивидуалистического характера. Цель социализма—преодоление этого индивидуализма при помощи общественной организации труда на базе общественных средств производства.

Как я уже указывал, уравнительное движение и уравнительные теории возникают очень рано. Можно отметить два момента их особенно широкого распространения. Это—IV век до нашей эры в Древней Греции и XVIII век в Западной Европе.

Все социальные движения IV века проходят под эгалитарными, а не под социалистическими лозунгами. *Χρεῶν ἀποκοπή καὶ γῆς ἀναδάμιος* (отмена долгов и передел земли)—таков идеал этого движения, не имеющий в себе конечно ничего социалистического. При этом необходимо оговорить, что и уравнительные тенденции отдельных движений чужды универсального характера. Передел всегда предполагается в более или менее узком кругу участников, в лучшем случае совпадающем с кругом полноправных граждан. Одновременно получает развитие и теория, подводящая под эгалитаризм базу общих соображений. Образцом такой теории может служить уже упоминавшаяся нами теория Фалея Халкедонского. Повидимому, очень близко к ней построение Платона в его «Законах». И в той и в другой теории тенденции уравнительные связаны с тенденциями антидемократическими. У Фалея на ряду с уравнительным землевладением мы видим рабство ремесленного населения. У Платона само

землевладение, при равенстве наделов, покоится на рабском труде, а ремесленники исключены из гражданства. Уравнительное движение было движением демократических низов населения. В теории Фалея и Платона мы имеем очевидно преломление уравнительных идей сквозь призму каких-то иных интересов. Выяснение социального генезиса этих теорий вывело бы нас далеко за пределы поставленной нами задачи. Но во всяком случае факт влияния эгалитаристских настроений на общественную теорию можно считать несомненным.

Наибольшей завершенности и демократической последовательности достигает эгалитаристская теория в XVIII веке. Во Франции образцом ее можно считать схему Руссо, данную им в его *Projet pour la Corse*¹. Общественной организации владения и производства мы в этом проекте корсиканской конституции не находим. Частная собственность сохраняется; но она подчинена известной регламентации в целях общественного благополучия, понимаемого как равенство. Руссо исходит из представления о существующем еще на Корсике относительном земельном равенстве и придумывает ряд мер, которые должны это равенство сохранить. Сильнейшим стимулом к развитию общественного неравенства Руссо считает торговлю; поэтому он более всего стремится по возможности консервировать условия натурального хозяйства. Государство должно добиваться того, чтобы каждое хозяйство само удовлетворяло все свои потребности, вовсе не прибегая к обмену. Но Руссо понимает повидимому, что чистое натуральное хозяйство—утопия, не осуществимая в действительности, что совсем исключить обмен практически невозможно. Чтобы этот при всем желании неустранимый обмен не послужил источником частного накопления, Руссо предлагает совершенно запретить частную торговлю, сосредоточив ее всецело в руках государства. Само собою разумеется, что государство, ведущее борьбу против имущественного неравенства, понимаемого как последствие развития денежно-хозяйственных отношений, само должно отказаться от тех методов действия, которые содействуют развитию этих отношений. Государственные налоги заменяются барщиной, жалование чиновникам выдается натурой. Для того, чтобы неравенство не проникло в земельные отношения иными путями, устанавливаются уравнительные аграрные законы и законы о наследовании. С одной стороны, государство вводит *taxation* земельной собственности и обязательный раздел земли при

¹ *Rousseau, Oeuvres inédites, p. par Streckeisen-Moultou, 59—127.*

передаче по наследству; с другой стороны, государство резервирует некоторый земельный фонд для дополнительного наделения многодетных и малоземельных.

Построение Руссо в известных чертах сходно с построением «Законов» Платона. И в том и в другом мы находим стремление к равенству земельных наделов. Платон, как и Руссо, видит главного врага равенства в торговле и торговом накоплении и стремится всячески ограничить возможности этого накопления, предписывая даже высылат из пределов государства торговца, капитал которого достиг определенного размера. Основное отличие теории XVIII века от теории IV века до нашей эры состоит в том, что первой чужды аристократические черты, свойственные платоновской утопии. Платон мечтает о равенстве землевладельцев, пользующихся рабским трудом, Руссо—о своеобразной крестьянской демократии. Вмешательство государства в хозяйственную жизнь идет в его предполагаемой конституции не менее далеко, чем у Платона. Тем не менее, назвать это государство социалистическим невозможно.

Свои корсиканские аграрные законы Руссо не пытается предлагать во Франции—в стране с уже развившимся общественным неравенством. Попытку перенести уравнительные принципы в обстановку современной ему Франции делает перед революцией один из последователей Руссо—Госселен¹. Он стоит перед более сложной задачей: ведь земельное неравенство уже существует, и прежде всего необходимо предложить некоторые мероприятия по уравниванию земельных владений. Госселен достаточно решителен. Он в сущности возвращается к старому лозунгу древне-греческих движений—*γῆς ἀνάδαμῶς*. Необходимо произвести отчуждение земли у ее теперешних владельцев и переделить ее затем заново, выдавая каждому надел по потребительской норме, т. е. в соответствии с тем, какой участок нужен семье для того, чтобы собственным трудом добыть все необходимое для удовлетворения ее потребностей. Прежде всего Госселен предлагает разбить на такие участки земли королевские, церковные и необработанные. Что касается земель частновладельческих, то Госселен высказывается за их выкуп государством, которое должно ежегодно ассигновать на эту цель 10 000 000 ливров. Как и Руссо, Госселен требует сохранения некоторого земельного фонда в руках государства для дополнительного наделения граждан. При этом следует указать, что надел передается гражданину на правах

¹ *Gosselin, Reflexions d'un citoyen, etc. 1787.*

наследственной аренды; верховная собственность на землю должна остаться в руках государства.

Проект Госселена является первым в серии проектов «аграрного закона», волновавших французскую общественную мысль в эпоху революции. Отличаясь от плана Госселена в некоторых деталях, более радикальные иногда в методах осуществления уравнительной системы, они не вносят однако ничего нового в принципиальные основы эгалитаризма.

Почти одновременно эгалитаристские идеи получают распространение в Англии. Среди английских мыслителей этой эпохи очень близок к Госселену Спенс¹. Спенс, как и Госселен, стоит за отчуждение земли у настоящих владельцев и за сдачу ее в долгосрочную аренду равными наделами по потребительской норме. Отличается его план от плана Госселена двумя чертами: верховным собственником земли Спенс провозглашает не государство, а общину, приход; в виду роста численности населения, а следовательно, и спроса на землю, Спенс предлагает периодические переделы земли (каждый 21 год).

Если Госселен передает верховное право собственности на землю государству, а Спенс—общине, то не дает ли это достаточное основание отнести их не к уравнителям, а к социалистам? Мне кажется, что это было бы совершенно неправильно. В конце концов ни государство в первом случае, ни община во втором не пользуются своим правом для вмешательства в самый процесс производства. Производство в области сельского хозяйства остается чисто индивидуалистическим; что касается промышленности, то ни Госселен, ни Спенс не считают нужным уделять ей внимание и предлагать какие-либо меры для ее реорганизации на новых началах. Таким образом, особые права государства и общины устанавливаются в обеих теориях исключительно в целях сохранения земельного равенства.

Мы имели до сих пор дело с эгалитаристами-государственниками. Интересный пример соединения эгалитаристских идей с анархизмом дает нам известный английский мыслитель XVIII века В. Годвин². В своем отношении к государству Годвин представляет прямую противоположность Госселену. Если Госселен не мыслит равенство возможным без передачи государству верховной собственности на землю, то для Годвина именно государство составляет самое мощное препят-

¹ *Spence, The real rights of man (1775); новое издание: The Pioneers of the land reform, with introduction by M. Beer.*

² *Godwin, Enquiry concerning Political Justice 1793; новейшее издание 1926 г. N. Y. Borzoy Books.*

ствие на пути к достижению равенства. Его идеальное общество—анархическое общество независимых работников, связанных друг с другом лишь узами добровольных разумных соглашений.

При всем различии позиций Годвина и других упомянутых нами уравнителей в их учениях о государстве и его роли,—по своим социальным взглядам Годвин должен быть также отнесен к уравнителям. Годвин стремится не к обобществлению средств производства, а к их более правильному, более равномерному распределению. Не только в сельском хозяйстве, но и в промышленности он мечтает о прогрессе от коллективного к индивидуальному хозяйству. Объединение больших групп рабочих вокруг машин, по Годвину, есть зло; будущее развитие техники должно, по его мнению, дать возможность рабочим, связанным сейчас машиной в коллективы, вернуться вновь к чисто индивидуальному производству.

В учении Годвина индивидуалистический идеал производства получает наиболее последовательное выявление. В других рассмотренных нами системах этот индивидуализм в известной мере ограничивается в интересах равенства,—но во всяком случае равенства индивидуальных производителей. Поскольку эти теории не выходят за пределы индивидуального производства, они не должны быть квалифицированы как социалистические. Поскольку они ищут способов такой организации индивидуального производства, которая обеспечивала бы возможное равенство граждан, они должны быть названы уравнительными, эгалитарными.

Соединение двух указанных признаков—индивидуализма и уравнительности—намечает направление, в котором надлежит искать социальную базу рассматриваемых нами теорий. Индивидуалистически-уравнительные настроения составляют характерную черту психологии широких мелкобуржуазных (и мелкокрестьянских) слоев в определенных исторических эпохи. Не менее показательны и некоторые частности: страх Руссо перед торговлей и торгово-капиталистическим накоплением, разрушающим равенство, отражает отношение к торговле мелкой буржуазии, подвергающейся эксплуатации со стороны торгового капитала.

В и IV века до нашей эры в передовых обществах Древней Греции, как и XVIII век в передовых обществах Западной Европы—время широкого развития капиталистических отношений. Это развитие протекало конечно в различных формах и приводило к различным результатам. Не вполне тождественны были последствия этого процесса и для мелкобуржуазных общественных групп. Однако при всем

разнообразии его конкретных форм, капиталистический прогресс и в том и в другом случае одинаково подтачивал устой существования мелкой буржуазии. Капитализм должен был восприниматься ее идеологами как сила чисто разрушительная. Капитализм, сопровождаемый накоплением богатств на одном полюсе, пролетаризацией, ростом эксплуатации, зависимостью от капитала или пауперизацией на другом, есть для крестьянина или ремесленника зло, так как он угрожает его собственности, его привычным условиям производства. Такое настроение должно было конечно оставаться чуждым преуспевающим верхам мелкой буржуазии, для которых капиталистическое накопление означало рост их собственного благополучия. Но оно было широко распространено не только среди бедноты, но и среди основной мелкобуржуазной массы.

Таковы были мотивы, приводившие подчас теоретиков мелкой буржуазии к весьма резкой критике капиталистических отношений. Но мелкобуржуазная критика капитализма не доходит до конца, до отрицания его основ. Ибо мелкая буржуазия, относясь отрицательно к росту богатства и бедности, даже критикуя институт частной собственности, поскольку последняя является необходимой предпосылкой капиталистического накопления, не может допустить полного устранения частной собственности и принципа индивидуального хозяйства, поскольку она чувствует в них предпосылку своего собственного существования. Отсюда всевозможные планы имущественного поравнения, всяческих ограничений и тормозов для экономического прогресса, при сохранении принципа экономического индивидуализма.

Признав эгалитаризм явлением *sui generis*, явлением, отличным от социализма и коммунизма, мы отнюдь не намерены отрицать того бесспорного факта, что развитие того и другого ряда идей, тесно переплетаясь в постоянном взаимодействии, создавало не только чистые, но и смешанные, промежуточные формы. Это особенно важно иметь в виду при изучении социалистических теорий первой половины XIX века. Промышленный пролетариат нашего времени генетически связан с мелкособственническими группами города и деревни. Он далеко не сразу и не легко освобождается от мелкобуржуазных симпатий и вкусов. Целый ряд факторов в его дальнейшем развитии задерживает процесс этого освобождения (сохраняющаяся связь с деревней, выделение рабочей аристократии и т. д.). Уже этого одного достаточно для объяснения того факта, что эгалитаристские идеи и настроения сохраняют известное влияние на рабочий класс. С другой

стороны, попытки теоретического оформления настроений и интересов пролетариата идут из кругов мелкобуржуазной интеллигенции, обычно привносящей в свои настроения, вольно или невольно, сознательно или бессознательно, элементы уравнилельной традиции. Одно влияние теоретически закрепляет другое.

Эти соображения объясняют такие исторические явления, как эволюция отдельных мыслителей от эгалитаризма к коммунизму или как выступление пролетариата в отдельные моменты под эгалитаристскими знаменами. Классический пример первого дает нам Бабеф. Горячий сторонник «аграрного закона», т. е. передела земли, в 1793 г. он становится к 1795 последовательным коммунистом. Для бабувистов этой поры «аграрный закон» — преходящее желание малосознательных групп населения ¹. Эволюция взглядов Бабефа есть как бы параллель в области идеологической происходящему в конкретной жизни общества процессу выделения пролетариата из мелкой буржуазии.

Яркий образец увлечения части пролетариата уравнилельными лозунгами дает нам чартистское движение. Не подлежит сомнению, что чартистское движение было движением не только политическим, но и социальным, чартизм был вопросом «ножа и вилки» прежде всего. Но сознание того, каким собственно способом можно было бы получить в свои руки нож и вилку и как надлежит ими распорядиться, было еще весьма неясным даже у самых передовых элементов английского рабочего класса. Социалистов в строгом смысле этого слова было еще очень мало в его среде. Массы пролетариата легко увлекались всякого рода проектами, обещавшими им возвращение к положению самостоятельных производителей, — проектами в существе уравнилельными, несмотря на наличие в них иногда социалистической аргументации. Самым типичным из них был так называемый аграрный проект о'Коннора. В нем уравнилельные, мелкобуржуазные тенденции выступают совершенно открыто, его основная мысль — возвращение рабочих к земле в качестве индивидуальных сельских хозяев ². Но и более радикальный проект национализации о'Брайена отличается от плана о'Коннора лишь своим политическим радикализмом и своей универсальностью ³. Его конечная цель — создание мощного класса индивидуальных земледельцев-арендаторов — напоминает об идеалах Спенса. Влияние последнего на о'Брайена и других чартистских вождей повидимому не подлежит сомнению.

¹ Buonarotti, Conspiracy pour l'égalité, II, pièce 7.

² Шлютер, Чартистское движение, 189—193.

³ Шлютер, ib. 304—305.

Таким образом, взаимодействие эгалитаристских и социалистических идей бесспорно. Но для того, чтобы уяснить себе социальную основу этого взаимодействия, необходимо отчетливо противопоставить логически эти два круга идей друг другу и понять социальное происхождение каждого из них в отдельности.

В. Волгин.

ЗАМЕТКИ ПО ТЕОРИИ ДЕНЕГ МАРКСА

I.

Изучение какой-либо одной проблемы марксовой политической экономии немислимо изолированно, вне связи с другими непосредственно смежными и соприкасающимися с ней проблемами. Дело не только в том, что отдельные элементы всякой экономической теории должны быть согласованы друг с другом, это относится именно ко всем экономическим системам. По отношению к учению Маркса настоящее требование приобретает совершенно особый смысл, поскольку в теории Маркса каждая категория не просто соприкасается, но логически вытекает из другой, представляется результатом диалектического развития предыдущей.

Для нашей темы из этого вытекает необходимость, хотя бы в общих чертах, выяснить и сформулировать исходное противоречие ценности, определяющее сущность и значение денег. Оставляя в стороне общее противоречие меновой и потребительной ценности, мы берем за исходный пункт дальнейшего изложения противоречивое отношение цены и ценности, т. е. нас интересует конкретно теория обращения денег Маркса, а не его теория денег вообще.

При рассмотрении вопроса об отношении цены и ценности необходимо прежде всего уяснить себе специфическую особенность марксизма в этом вопросе, самым радикальнейшим образом отличающую его от всех современных буржуазных теорий. Это отличие заключается в том, что современная экономическая наука не знает собственно двух категорий—цены и ценности или, точнее говоря, если и знает, то их отношение друг к другу представляется ей совершенно иным, чем Марксу. Речь идет, следовательно, не только о том, что у Маркса ценность определяется трудом, а у буржуазных экономистов другими факторами. Интересующая нас особенность лежит в том направлении, что не-марксистская политическая экономия вообще не признает ценность, как некоторую субстанциональную категорию, на ряду с которой существует цена, выражающая ценность и в то же время отклоняющаяся от нее.

Не останавливаясь на различии отдельных школ—это не входит в нашу задачу,—мы считаем вполне достаточным отметить, что для современных буржуазных экономистов ценность почти всегда адекватна

ее непосредственному меновому отношению, количественно всегда совпадает с ним. Отсюда под определяющими ценностью факторами понимаются факторы, изменяющие отношения и пропорции обмена в любой момент, на каждой ступени хозяйственного процесса. Изменение величины цены для австрийцев, например, должно всегда означать соответствующее изменение в комплексе субъективных оценок данного блага. Правда, у той же австрийской школы мы встречаем две самостоятельные категории: субъективной и объективной ценности, причем цена адекватна последней, в то время, как субъективная ценность имеет самостоятельную закономерность движения, не идентичную с движением объективной ценности. Однако эта самостоятельность не дополняется на деле никакой взаимозависимостью и оба вида ценности практически оказываются не связанными друг с другом. Отсюда для Струве представляется, например, возможным на ряду с принятием теории ценности австрийской школы, как теории «чистого» хозяйства, построение особой «теории» цены, теории исходящей и сводящейся к идиографическому, статистическому описанию и обработке движения конкретных рыночных цен. Теория ценности остается таким образом вне пределов изучения реальных закономерностей хозяйственной жизни.

Если австрийская школа, представляющая собой все же более серьезное направление теоретической экономии, пытающееся охватить и понять хозяйственную жизнь в ее основах, пришла к непримиримому дуализму, то подобная опасность не угрожает большинству современных экономистов, поскольку для них задача сводится к изучению непосредственно рыночных закономерностей, закономерностей, эмпирически обнаруживающихся на поверхности хозяйственной жизни—в сфере обращения. Проблема цены превращается ими в основную и единственную проблему теоретической экономии, причем цена берется во всей ее непосредственной данности.

Исходя из сказанного, не трудно понять, почему у всех критиков Маркса возникает недоуменный вопрос, разрешение которого им представляется абсолютно невозможным, вопрос о том: «как на основании меновой ценности развивается отличная от нее рыночная цена, или правильнее, каким образом закон меновой ценности превращается в свою собственную противоположность?»¹

Вполне понятно далее, что именно из непонимания самой постановки данного вопроса возникают бесчисленные и в той же мере безграмотные обвинения Маркса в дуализме, метафизике и прочих смертных грехах.

Буржуазная наука в некоторой ее части согласна, правда, принять марксову теорию ценности, но только при том условии, если понимать ее, как этическую категорию, как чистое учение о «форме хозяйства», или как вспомогательную научную гипотезу, не имеющую значения для уяснения реальных процессов хозяйственной жизни. Именно в этом направлении пытаются интерпретировать Маркса—

¹ Маркс, К. К критике..., 73.

из старых критиков—Зомбарт, из самоновейших—Петри¹, из наших русских—Франк, отчасти Булгаков и многие другие. Даже у т. Рубина мы находим, под прикрытием качественного единства, единства формы, подчас весьма ощутимый разрыв между величиной ценности и ценой (мы имеем в виду особенно главу из «Очерков»... о цене производства, где аргументация Рубина весьма напоминает зомбартовское понимание ценности, как теоретического выражения факта изменяющейся производительности труда).

Излишне доказывать, что для марксовой теории ни в коем случае не приемлем тот принципиальный антагонизм цены и ценности, который ей пытаются навязать. Для Маркса ценность не этическое отношение, не «философия хозяйства» (в скверном смысле этого слова), не вспомогательная научная гипотеза, а реальная экономическая категория,—закон цен, управляющий действительным хозяйственным процессом. Между величиной ценности и непосредственным меновым отношением не существует с этой точки зрения непроходимой пропасти, последнее не является чем-то случайным и независимым от первой, а наоборот строго определено и обусловлено ею. В соответствии с этим из распределения труда, из сопоставления трудовых затрат в каждой отдельной отрасли даже при нарушении хозяйственного равновесия можно строго математически вывести величину каждой единичной цены и ее движение. Практические трудности на этом пути, само собой разумеется, невероятно велики, но от этого не меняется теоретическая возможность и логическая достоверность данного вывода².

Каким образом, однако, осуществляется указанная роль ценности в определении движения цены? Настоящий вопрос может быть в достаточной мере ясно освещен только в связи с последующим рассмотрением закономерностей общего процесса воспроизводства.

Оговоримся прежде всего, что употребляемая до сих пор терминология не совсем точна. В марксовой теории нет прямого противопоставления цены и ценности, как самостоятельных категорий. Цена,

¹ «Если Маркс блага, рассматриваемые исключительно как продукт абстрактно всеобщего труда, обозначает, как ценность, то с этим понятием ценности связываются лишь некоторые априорные условия, которые указывают направление общественного рассмотрения (Behandlung) проблемы меновой ценности. Но ничего не говорится о количественном отношении, в котором эти ценности обмениваются друг на друга, при данной конкретной общественной организации». F. Petry.—«Der soziale Gehalt der Marxschen Werttheorie», S. 28. Курсив наш. В. Б.

² Наше дальнейшее изложение посвящено в основном анализу движения цены в условиях абстрактного простого товарного хозяйства. В связи с этим закономерность движения цены производства, ее обусловленность стоимостными отношениями не может быть доказана приводимой аргументацией, да это и не должно входить в наш план. Вместе с тем наша аргументация в основном сохраняет силу однако и для капиталистического хозяйства, поскольку дело касается закономерности движения рыночной цены вокруг цены производства. Отличие заключается лишь в том, что уровнем равновесия для капитализма должен явиться не обмен товаров по ценности на золото, что доказывается последующим изложением, а обмен по цене производства, но опять-таки на золото. Золото является таким образом и для капиталистического хозяйства непосредственным материальным выражением уровня равновесия.

как форма выражения, включена в общее понятие ценности. Точнее поэтому будет говорить, пожалуй, о противоположности содержания ценности ее выражению в цене. Суть дела от этого несколько не изменится, ибо для нас важно установить лишь то, что внутренняя противоречивость, двойственность категории ценности безусловно имеет место. Обусловлена она в первую очередь тем, что объектом марксова анализа является не производство, само по себе, и не обращение, а их единство в процессе воспроизводства. В силу этого ценность как категория воспроизводства необходимо включает в себя два ряда отношений, или точнее единый ряд в двух плоскостях его проявления. Действительно, затрата труда, взятая сама по себе, не является непосредственно регулятором распределения труда в современном хозяйстве. Регулирующая роль труда выявляется лишь при посредстве обмена, лишь через выражение ценности одного товара в другом товаре. С другой стороны меновые сделки, т. е. отношения обмена одного товара на другой, взятые вне связи с производством, также не могут дать соответствующих указаний для распределения труда в последующем производственном цикле.

Нормальное функционирование товарного хозяйства мыслимо, таким образом, лишь при том условии, если каждая меновая сделка берется в отношении к производственной затрате. Только через это отношение определяются дальнейшие пропорции воспроизводства и устанавливается закономерность в развитии хозяйства. Иными словами сопоставление производства и обмена, величины ценности и ее выражения в цене, осуществляется только в процессе воспроизводства и вместе с тем только оно и делает возможным самый этот процесс.

Данный элементарный ответ на вопрос о взаимоотношении цены и ценности не снимает, однако, интересующей нас проблемы, он по сути дела лишь ставит ее. Остается еще неизвестным, каким образом изменение в отношениях производства выявляется в обмене или, еще точнее, каким образом при меновой сделке обнаруживается совпадение или расхождение цены и ценности. Единство процесса воспроизводства не устраняет реального отличия отношений обмена от отношений производства в узком смысле слова. Внутри единства сохраняется противоречие и без понимания природы последнего нельзя понять и первого. Вопрос в данной постановке сводится к следующему: если при современном хозяйственном строе величина ценности дана, как затрата труда в производстве, то каким образом возможно сопоставление ее с ценой, отношением, лежащим все же в иной плоскости, в обращении, и главное имеющим своим самостоятельное мерило, каковым не может являться труд в непосредственном своем виде?

У Маркса мы находим по этому поводу следующие замечания: «Относительная ценность означает ценность, выраженную в потребительной ценности другого товара. Это только относительное выражение его ценности, а именно в отношении к товару, в котором она представлена... Ее абсолютным выражением было бы ее выражение в рабочем времени». Вслед за приведенным местом Маркс замечает,

что «само абсолютное выражение ценности есть нечто относительное, но в абсолютном выражении (т. е. взятое в отношении ко всему общественному труду—В. Б.), в котором она является ценностью»¹.

Итак, производство и обращение имеют два самостоятельных и отличных друг от друга мерил: первое труд, второе—потребительную стоимость, на которую обменивается данный товар. Каким образом возможно соизмерение этих двух мерил? Без ответа на этот вопрос невозможно понять механизм и закономерность процесса воспроизводства.

Для еще большей ясности изложения² и для доказательства того, что рассматриваемая трудность не казуистически-формального порядка, что она, наоборот, имеет ближайшее отношение к теории обращения денег, мы постараемся показать, что в определенных исторических условиях указанная выше несоизмеримость двух мерил делает действительно невозможным процесс воспроизводства. Представим себе для этого систему товарного хозяйства в условиях простой меновой торговли. Возможно ли в таких условиях закономерное движение воспроизводственного процесса?

Ответ на этот вопрос может быть дан только отрицательный. В самом деле, предположим, что некоторая отрасль производства «А» связана меновыми отношениями с отраслями «В», «С», «Д» и т. д. Система меновых отношений представится тогда, очевидно, в следующем виде:

$$\begin{aligned} a & \text{---} \times B \\ a_1 & \text{---} \times C \\ a_2 & \text{---} \times D \text{ и т. д.} \end{aligned}$$

В виду того, что мы имеем в данном случае меновые отношения каждый раз только между двумя производителями, связанными в данный момент исключительно друг с другом, каждая единица товара «А» найдет выражение в совершенно различных величинах ценности (ценность здесь собственно следовало бы поставить в кавычки) товаров «В», «С», «Д» и т. д. Первая сделка окажется возможно обменом с плюсом в ценности для производителя товара «А», вторая обменом равных эквивалентов, а третья обменом с минусом в ценности.

Можно ли через эту путаницу меновых отношений установить насколько пропорционально распределен труд в данном обществе?

Очевидно, нет!

Следующий производственный цикл при тех же затратах труда во всех отраслях может дать совершенно иную картину... В силу простого перемещения «В» на место «С», «Д» на место «В», или вступления в уравнения обмена с отраслью «А» какого-нибудь производителя «Z» вместо одного из прежних контрагентов общая сумма ценностей, полученная отраслью «А» и отдельными ее производителями, изменится совершенно.

¹ Маркс, К. Теория прибавочной ценности, т. III, стр. 112—3.

² Мы так подробно разбираем настоящий вопрос, достаточно уже выясненный в основном в марксистской литературе, для того, чтобы были более понятны дальнейшие выводы, которые самым очевидным образом игнорируются многими марксистскими теоретиками.

Излишне в таких условиях ставить вопрос о возможности нормального воспроизводства хозяйства. Поскольку отношения производства здесь не выражаются в обмене и обмен не корректирует производства, постольку совершенно очевидно перераспределение труда не может носить закономерного характера.

Из разобранного примера следует, что производственные отношения для своего выявления требуют особой соответствующей им организации обмена. Только при наличии такой организации мы получаем действительное единство процесса воспроизводства и противоречие между производством и обменом принимает рациональную форму. Первым условием этого, как с очевидностью следует из предыдущего изложения, является такая форма обмена, при которой отдельный товар вступал бы в отношение не с одним товаром, а со всей массой товаров. Только в этом случае отношение труда отдельного производителя ко всему общественному труду нашло бы себе адекватное выражение в обмене, как отношение одного товара ко всему товарному миру. Условием для возникновения подобной формы обмена являются деньги, представляющие собой непосредственное воплощение общественного труда и в то же время некоторую потребительную ценность.

Роль денег в данном случае по сути дела та же, что и при разрешении общего противоречия меновой и потребительной ценности. Отношение цены и ценности под интересующим нас углом зрения представляет собой не что иное, как количественную сторону этого общего противоречия. Отсюда аналогичность как постановки проблемы, так и ее решения. Точно так же, как при разрешении противоречия меновой и потребительной ценности, задача заключается в том, чтобы выразить меновую ценность отдельного товара в такой потребительной ценности, которая носила бы характер чисто общественной потребительной ценности, представляла бы непосредственно своим товарным телом социальную субстанцию,—наша задача заключается в том, чтобы через пропорцию обмена двух товаров найти отношение одного из них ко всему общественному труду, как определенное количественное отношение.

В чем наиболее характерная особенность разрешения Марксом первого противоречия? Напомним прежде всего, что с диалектической точки зрения противоречие вовсе не должно быть уничтожено в корне, напротив оно сохраняется, как необходимое выражение действительной противоречивости хозяйственного процесса. Задача заключается поэтому в том, чтобы ввести всякое противоречие в рациональные рамки, представить его как противоречие внутри единства. В соответствии с этим необходимо вскрыть и развернуть до логического конца скрывающееся в товаре противоречивое отношение меновой и потребительной ценности. По сути дела этого уже достаточно, чтобы воспринять настоящее противоречие, как противоречие рациональное, выражающее противоречивость реальной хозяйственной жизни. Маркс так и делает; он вовсе не пытается уничтожить двойственность определения товара, как потребительной и меновой цен-

ности, напротив он развивает эту двойственность и показывает, каким путем она находит свое выражение в двух отдельных экономических категориях. Дело происходит при этом таким образом, что внутреннее противоречие товара в развернутом виде воспроизводится, как отношение двух объектов, двух «товаров».

«Противоположность между потребительной и меновой ценностью выражается на двух полюсах формулы $T=D$ так, что товар противопоставляется золоту, как потребительная ценность, которая должна лишь реализовать в нем существующую в идее меновую ценность, между тем, как золото противопоставляется товару, как меновая ценность, которая только в товаре осуществляет свою формальную потребительскую ценность»¹.

Противоречие разрешается, следовательно, таким образом, что в меновой сделке одна сторона представляет собой потребительную ценность, другая—меновую. Очевидно, что противоположность цены и ценности должна также проявиться, как две стороны одного и того же менового отношения, причем имманентно-присущее товару—абсолютное его мерило—труд, должно проявиться, как один из полюсов обмена.

Единство двух фаз процесса воспроизводства только тогда предстанет перед нами, как подлинно диалектическое единство, когда специфические особенности этих фаз воспроизведутся в одной плоскости, войдут между собой в непосредственное отношение.

Для установления закономерного движения цены необходимо, таким образом, чтобы в каждой меновой сделке один полюс представлял собой ценность, т. е. чтобы товар, находящийся на этом полюсе, не подвергался всем превращениям судьбы, неизбежным для каждого простого товара, чтобы его ценность не модифицировалась в цену, в то время, как другой полюс в изменение меновых пропорций получил бы точное выражение отклонений своей цены от ценности. Иными словами колебание величины цены должно отражать только индивидуальное расхождение величины цены и ценности отдельного товара (изменение ценности самого золота понятно здесь ничего не меняет).

Проиллюстрируем наше изложение рассмотрением конкретных отношений товарного обращения. Мы уже видели на примере простой меновой торговли, что отношения товаров сами по себе не дают действительного выражения ценности. То же самое мы обнаружим и в современном хозяйстве, если попытаемся вскрыть движение ценности непосредственно в отношениях товара, минуя деньги, как простое посредствующее звено. Действительно современное хозяйство, рассматриваемое с точки зрения перемещения товаров, с точки зрения «обмена веществ» представляет собой простую сумму частных отношений, возникающих лишь между отдельными частными производителями. Отсюда каждый отдельный товар замещается после его реализации в руках своего владельца другим товаром, продуктом

¹ К критике, стр. 98.

частного труда другого производителя. Метаморфоза товарной ценности сводится таким образом к формуле $T-T_1$. Но может ли эта формула служить действительным выражением ценности? Конечно, нет. В самом деле, при наличии денежного хозяйства в акте сравнения двух товаров—проданного и затем купленного, мы имеем в скрытом виде уже совершившееся двоякое превращение ценности в цену: на стороне T и на стороне T_1 , причем для обоих товаров оно могло произойти как с плюсом, так и с минусом в ценности. В непосредственном же сравнении данных товаров этот факт скрывается, и для производителя хотя бы того же товара T возникает неразрешимый ребус—определить рационально ли произведена им затрата труда или нет. Сопоставление ценности своего собственного товара с купленным вновь товаром не дает нашему производителю (пускай он даже ведет учет в трудовых единицах) указаний для последующего воспроизводства, ибо обнаруживающаяся в формуле $T-T_1$ неэквивалентность обмена может явиться, как результатом перепроизводства в первой отрасли, так и недопроизводства во второй. Устанавливающаяся, благодаря посредству денег, единая цена для всех товаров одной отрасли не уничтожает разрозненного характера меновых отношений отдельных производителей, поскольку ими на деньги приобретаются продукты различных отраслей хозяйства, т. е. T вступает в уравнение не только с T_1 , но и с T_2 , T_3 и т. д. Покупает ли фабрикант сапожной ваксы автомобиль или загородную виллу, в зависимости от этого ценность его товара получает различное выражение, если подходить к вопросу с точки зрения отношения товарных эквивалентов, с точки зрения простого «обмена веществ».

Из сказанного с полной очевидностью следует, что моментом, в который выявляется ценность товара, должен явиться первый акт его метаморфозы, а именно обмен на деньги. Выражению ценности должна служить таким образом формула $T-D$, а не $T-T_1$. Вместе с тем становится вполне ясным, что данное D («товар-золото») не может явиться простым товаром, имеющим форму цены, отклоняющейся и отличающейся от ценности, ибо в таком случае мы получим снова то же самое отношение $T-T_1$. Действительно станем снова, для большей наглядности, на точку зрения производителя, строго соблюдающего правила трудового учета. Получит ли он представление о величине общественного спроса на свой товар и, в соответствии с этим, о рациональности своего производства, если его товар, содержащий 5 часов труда, обменивается на золото, содержащее 6 часов, причем неизвестно, лежит ли причина указанной неэквивалентности на стороне товара или на стороне денег? Очевидно, нет!

Последний вывод, логически вытекающий из всего сказанного выше, мы подчеркиваем с особой настойчивостью, ибо он имеет решающее значение для дальнейшего изложения.

Обобщая все изложенное до сих пор, мы можем сказать, что деньги являются совершенно специфическим товаром, товаром, выражающим в себе непосредственное бытие ценности. Своеобразие товара денег заключается в том, что для них не существуют противоречия меновой

и потребительной ценности с одной стороны, цены и ценности с другой. Деньги в обращении выступают всегда, как ценность, как некоторая неизменная величина, не претерпевающая в процессе обмена одновременно с товаром превращения в особую категорию цены. Именно поэтому они придают закономерность движению цен отдельных товаров. Далее именно потому, что деньги, являясь товаром, продуктом определенной затраты труда, следовательно ценностью, и одновременно как таковая количественно строго определенная величина ценности непосредственно вступают в обращение, как средство определения и выражения цен всех других товаров, производство и обращение не оказываются двумя независимыми и несвязанными между собой областями со своими совершенно самостоятельными и особыми закономерностями. Производство и обращение—две плоскости, имеющие одну общую точку, в которой они пересекаются и в которой снимается, собственно, противоположность их обоих. Этой точкой являются деньги и производство денежного материала.

II.

Нашей задачей является теперь доказательство того, что необходимые формы движения ценности представляют собой действительные формы движения реальной хозяйственной жизни, т. е. что закон ценности действительно управляет процессом воспроизводства. В отношении денег задача сводится к анализу обращения денег, к уяснению марксовой теории обращения.

Основное положение, подлежащее здесь доказательству, заключается в том, что деньги всегда выступают в обмене, как полюс ценности, причем под последней следует понимать «абсолютную» ценность денежного материала, независимо от возможных отклонений относительного ее выражения. Необходимо доказать, что цена каждого отдельного товара, т. е. вполне реальное количество золота, представленное в цене, остается единственной регулирующей категорией воспроизводственного процесса, вне зависимости от последующих уравнений обмена, устанавливающихся между деньгами и покупаемыми на них товарами.

С общим утверждением о том, что цена является регулятором производства, едва ли кто-нибудь станет спорить, по крайней мере, среди марксистов, но логически вытекающий отсюда вывод, что расхождение абсолютной ценности золота с ее относительным выражением не имеет никакого значения для воспроизводственного процесса, оспаривается с очевидной непоследовательностью.

Под относительной ценностью денег, по Марксу, нужно понимать перевернутый ряд уравнений обмена бесконечного ряда товаров с всеобщим эквивалентом—деньгами¹. Это отношение в современной

¹ «Развернутое относительное выражение стоимости или бесконечный ряд относительных выражений стоимости становится специфически относительной формой стоимости денежного товара. Но этот ряд теперь уже общественно дан в товарных ценах. Читайте справа налево отметки любого преискуранта—и вы

буржуазной политической экономии фигурирует под названием покупательной силы и является ее излюбленной категорией. Нам представляется поэтому необходимым, как в целях более четкого размежевания с не-марксистскими теориями денег, так и в целях борьбы с извращениями марксовой теории, исходящими от самих марксистов, заняться в настоящей главе указанным расхождением между абсолютной ценностью денег и их покупательной силой.

Выше мы показали, что формула $T—T_1$, т. е. отношение ценностей двух товаров, взятое само по себе, не выражает общественного движения ценности, и является по сути дела актом простой меновой торговли. Вмешательство денег расширяет эту форму обмена, превращая частную обособленную сделку в момент общественного воспроизводства, в выражение общественного разделения труда. Регулирующее значение имеют в данном случае деньги, как такой товар, уравнение которого с любым другим товаром не обусловлено его конкретной потребительной ценностью, как это имеет место в отношении простых товаров. В то время, как непосредственная обмениваемость последних ограничена узким кругом товаропроизводителей, золото не знает таких границ. Деньги благодаря этому выражают собой связь между отдельными изолированными товаропроизводителями, которые в порядке простого обмена веществ может быть никогда не смогли бы войти в непосредственное соприкосновение друг с другом, например, между производителями хлопчато-бумажной пряжи и производителями химических удобрений.

Но, спрашивается, если деньги устанавливают связь и единство между всеми агентами товарного производства, то не осуществляется ли тем самым действительная возможность из сопоставления самих товаров, но уже не двух отдельных конкретных товарных видов, а всей товарной массы с одним каким-либо товаром вынести суждение о величине ценности и ее движении. Иными словами, не служит ли выражению ценности сопоставление труда, заключенного в отдельном товаре, с трудом, воплощенным во всем многообразии товаров, поскольку такие во всей своей массе уже приравнены деньгам¹.

Утвердительный ответ означает, что в качестве окончательного выражения ценности мы должны брать не формулу $T—D$, как та-

найдете выражение величины стоимости денег во всех возможных товарах». («Капитал», т. 1, стр. 51).

Из того, что Маркс употребляет по отношению к деньгам термин «относительная форма стоимости» еще не следует, конечно, что он наделяет ее всеми особенностями относительной формы стоимости товара.

¹ Здесь и ниже мы везде имеем в виду чисто металлическое обращение. Подобное допущение необходимо не только в целях упрощения анализа, но также и потому, что критика теоретиков покупательной силы и количественников вообще в области бумажно-денежного обращения затруднена неясностью исходного положения критики. Недостаточно аргументировать против количественников ссылкой на зависимость бумажных денег от металлических, если не выяснена специфическая особенность последних, как товара с совершенно своеобразной формой движения его ценности. Слабость критики количественников, хотя бы того же Трахтенберга, его капитуляция на деле перед количественной теорией—лучшее тому доказательство.

ковую, а формулу Т—Д ($T_1 + T_2 + T_3 + \dots T_n$), где деньги выступают не как самостоятельная ценность, не как непосредственное бытие абстрактного труда, а лишь как представитель ценности всех остальных товаров. Не трудно понять, что именно в данном случае деньги должны рассматриваться исключительно, как определенная величина покупательной силы, и не больше.

Здесь прежде всего возникает вопрос о самом факте расхождения ценности золота с его покупательной силой—имеет ли место такое расхождение в действительности? По нашему мнению, даже отрицательный ответ на поставленный вопрос не снимает, однако, разбираемой проблемы.

В самом деле, с точки зрения сторонников теории покупательной силы, золото, как и всякий другой товар, выступает в обращении с относительным выражением своей ценности и только через таковое оказывается регулирующим началом в воспроизводственном процессе. Если, благодаря какой-либо хитрой механике, относительное выражение через погашение взаимно противоположных отклонений от эквивалентности обмена на отдельные товары в конечном счете совпадает с абсолютной ценностью, то это остается лишь случайной случайностью не больше. Деньги теоретически являются здесь, как и во всяком ином случае, представителем ценности, только через относительное выражение собственной ценности в обмене, через превращенную форму ценности. С нашей точки зрения, наоборот, деньги выступают, как представитель ценности и регулятор производства, благодаря своей собственной ценности, независимо от того, совпадает ли она в каждый данный момент с покупательной силой или нет.

Само собой разумеется, однако, что вся сумма разногласий в данном вопросе наиболее широко разворачивается именно в случае признания количественного отклонения покупательной силы от ценности денег. Что касается наличия в реальной действительности подобного отклонения, то нам представляется необходимым, чтобы заранее устранить возможные недоразумения, сразу привести совершенно недвусмысленные высказывания Маркса на этот счет, вполне определенно признающего факт расхождения относительной и абсолютной ценности золота. Так, в 1-м томе «Капитала», в главе о деньгах Маркс пишет:

«Если мы предположим, что масса товаров дана, то масса денег, находящихся в обращении, будет увеличиваться и уменьшаться вместе с колебаниями в ту или другую сторону товарных цен. Они растут и падают в зависимости от того, падает или повышается сумма цен товаров вследствие изменения величины цен. Повышения известных главенствующих на рынке товаров в одном случае, понижения их цен в другом случае, достаточно для того, чтобы заметно повысить или понизить подлежащую реализации сумму цен всех обращающихся товаров, а следовательно, и для того, чтобы, привлечь в сферу обращения больше или меньше денег. *Отражает ли изменение цен товаров действительное изменение стоимости их, или представляет*

*просто колебания рыночных цен, влияние на массу средств обращения в обоих случаях одинаково*¹.

Маркс, таким образом, полностью допускает возможность изменения (повышения или понижения) общей суммы цен в качестве простого результата конъюнктурно-рыночных соотношений, при неизменной ценности товаров и денег. Во втором томе «Капитала» Маркс, описывая общую обстановку подъема, прямо указывает на подобное же изменение уровня цен, как на необходимый спутник и необходимую форму движения промышленного цикла.

«Происходит стеснение в производственном капитале, которым располагает общество,—пишет он,—так как постоянно берутся с рынка элементы производственного капитала и вместо них вносятся только их денежный эквивалент, то спрос со стороны лиц, способных платить, повышается, между тем как сами они не доставляют со своей стороны каких бы то ни было элементов предложения, ни средств производства, ни средств существования. Поэтому повышаются цены как средств существования, так и материалов производства»².

Итак совершенно ясно, что не только отдельная цена, но и сумма цен, по мнению Маркса, может изменяться, вследствие специфических конъюнктурных закономерностей без изменения общей суммы товарных ценностей. Отсюда логически следует неизбежность расхождения ценности золота и его покупательной силы.

Данное расхождение не дает, однако, никаких козырей в руки сторонников покупательной силы. Это становится ясным уже из рассмотрения факторов, вызывающих отклонение покупательной силы от ценности. Как мы увидим дальше, рациональное значение покупательной силы, как регулирующей категории, самым тесным образом связано с количественной теорией, объясняющей изменение суммы цен при постоянстве товарной массы простым увеличением при уменьшенном количестве денег. Поэтому всякое иное объяснение, связывающее колебания покупательной силы не с количеством денег, а с другими факторами, лишает покупательную силу всякого теоретико-познавательного значения.

Каковы же эти факторы?

Прежде всего их органическая обусловленность всей структурой товарного хозяйства, как она представляется Марксу, настолько очевидна, что было бы величайшей нелепостью приписывать Марксу отождествление величин ценности и покупательной силы. Действительно, отвлекаясь даже от условий воспроизводства золота, предполагая существование предустановленной гармонии между производством денежного материала и всеми другими отраслями народного хозяйства, отклонение покупательной силы явится необходимым логическим выводом из того простого факта, что деньги, помимо орудия обращения, выполняют также функцию сокровища. Обратно, равенство покупательной силы и ценности денег могло бы иметь

¹ Капитал, том I, стр. 71. Курсив наш.

² Капитал, т. II, стр. 221. Ряд аналогичных мест можно найти также в III томе в главах о кредите.

место и то лишь при условии отмеченного выше согласованного развития золотопроизводства и других отраслей—только в том случае, если бы за каждой продажей немедленно следовала бы покупка. Действительно, разрыв единства купли и продажи, переход определенного количества денег из обращения в сокровище необходимо означает выпадение некоторой суммы спроса. В таком положении мы не имеем никаких оснований предполагать, что в соответствии с сокращением спроса на одном участке, увеличится спрос на другом, или соответствующая масса товаров останется непроданной, сохраняя при этом для всей массы проданных товаров, взятой как целое равенство ее ценности, ценности денег. Обратное, при расширении спроса, возможность которого дана наличием сокровища, совершенно необходимо, чтобы пропорционально увеличившемуся спросу немедленно возросло предложение, так что общий баланс между ними дал бы нам равновесие на уровне эквивалентного обмена между всей массой товаров и деньгами.

Подобное метафизическое представление о постоянном равенстве спроса и предложения, исключающее возможность общего перепроизводства и общих пертурбационных сдвигов в капиталистическом производстве, вытекает по сути дела из теоретических воззрений Сэя и Милля и ничего общего с марксизмом не имеет. В свое время Маркс писал по поводу построений сих корифеев экономической мысли:

«Товар обменивается на товар, потребительная ценность на потребительную ценность и превращение товара в деньги служит только средством этого обмена веществ. Заключать из того, что процесс обращения исчерпывается в $T-T_2$ и поэтому как-будто представляется меновой торговлей, совершающейся при посредстве денег, или из того, что вообще $T-D-T$ не только распадается на два отдельных процесса, но вместе с тем является и их действительным единством,— заключать отсюда, что существует только единство между покупкой и продажей и не существует их разделения—это такой способ мышления, который подлежит критике логики, а не экономии. Отделение покупки от продажи в процессе обмена... является формой, в которой осуществляется возможность торговых кризисов, но, однако, потому только, что противопоставление товара и денег служит абстрактной и всеобщей формой всех противоречий, заключенных в буржуазном труде»¹.

Таким образом равенство покупок и продаж или лучше спроса и предложения осуществляется лишь как некоторое высшее единство, реализующееся через движение «противоречий буржуазного труда», иначе говоря, через последовательное чередование случаев превышения суммы спроса над суммой предложения и случаев обратного превышения предложения над спросом. В капиталистическом хозяйстве это равенство мы имеем, вероятно, для отрезка времени, охватываемого промышленным циклом. В каждый же данный момент, в тот

¹ «К критике...», стр. 103—4.

или иной период обращения, в течение которого происходит образование и уравнение цен, совершенно очевидно наличию имеется некоторая величина спроса, не зависящая от одновременного предложения, не являющаяся обратной стороной последнего, и, напротив, не все предложение обязательно должно воспроизвестись тотчас же на стороне спроса. Из сказанного вытекает, что благодаря расхождению общих размеров спроса и предложения дана возможность и для расхождения общей суммы цен товаров с общей суммой ценностей, заключенных в них. В «Теориях прибавочной ценности» и Маркс замечает на этот счет:

«Фраза, что только *отдельный* товар, но не *все* товары могут создать переполнение рынка и поэтому перепроизводство может быть лишь частичное, является жалкой вылазкой. Прежде всего, когда речь идет лишь о природе товара, ничто не препятствует тому, что *все товары* имеются на рынке в избытке и потому все они падают ниже своих цен... Именно все товары [могут иметься в избытке], кроме *денег*. Необходимость выражения товара в деньгах означает лишь: необходимость выражения *всех* товаров. И так же, как отдельному товару трудно продать этот метаморфоз, это может быть трудно и для *всех* товаров»¹.

Итак, расхождение суммы цен с суммой ценностей для каждого отдельного взятого момента движения является необходимостью именно в той мере, в какой товарное хозяйство есть хозяйство денежное. Вместе с тем, из сказанного выше следует, что как единичная цена, так и сумма цен зависят от специфических условий конъюнктуры и движения конкуренции и не находятся в прямом отношении к общему количеству денег, имеющихся в данном народном хозяйстве, ибо падение цен может сопровождаться оседанием денег в сокровище без уменьшения их общего количества.

Для критики марксистских теоретиков покупательной силы должно отметить, что величина спроса, определяющая цену, не тождественна также и с теми деньгами, которые действительно входят в обращение. Предположим, что ряд производителей одной или нескольких отраслей намереваются приобрести какой-либо необходимый им товар, для чего они собираются истратить некоторую сумму денег. Допустим одновременно, что в данный момент налично значительное перепроизводство спрашиваемого товара. В таких условиях вполне вероятно, что конкуренция между продавцами будет настолько сильна, что снизится не только цена на единицу товара, но произойдет падение суммы цен всех проданных товаров, причем, возможно, окажется еще некоторый остаток нереализованных товаров. Предназначенные на покупку данного товара деньги могут, таким образом, сохраниться на руках покупателей без того, чтобы это вызвало перебои в их производстве. Обратное, в дальнейшем, при другом сочетании спроса и предложения может возникнуть необходимость расходования дополнительных денег из резервных фондов, при этом мы также не имеем никаких оснований предполагать, что нереализованные в первом

¹ Теории прибавочной ценности, т. II, ч. 2, стр. 184. Курсив Маркса.

случае денежные суммы будут обязательно тотчас же израсходованы на покупку других товаров, благодаря чему окажется невозможным и второй случай расходования резервных фондов, поскольку все деньги вообще представляют собой исключительно фонд обращения. Последнее было бы верно лишь при той предпосылке, что все вырученные от продажи деньги всегда немедленно обращаются на приобретение новых товаров, т. е. если бы было правильно следующее утверждение Рикардо: «Каждый человек продает с целью купить какой-нибудь другой товар, который мог бы быть ему непосредственно полезен или мог бы способствовать дальнейшему производству»¹.

Однако, приводя именно этот отрывок из Рикардо, замечает: «Какое милое изображение буржуазных отношений! Рикардо забывает даже то, что кто-нибудь может продавать, чтобы заплатить, и эти вынужденные продажи играют очень важную роль в кризисах. При продаже капиталист прежде всего имеет в виду обратное превращение своего товара или—лучше—своего капитала, представленного в товарах, в денежный капитал, чтобы таким образом реализовать свою прибыль. Потребление—доход—поэтому не является определяющей целью этого процесса, чем оно во всяком случае является для того, кто продает товары только с целью превратить их в жизненные средства. Но это не капиталистическое производство, для которого доход является результатом, а не определяющей целью. Каждый продает прежде всего для того, чтобы продать, то-есть чтобы превратить товар в деньги... Целью капиталистического производства прежде всего является не «владение другими товарами», а присвоение ценности, денег, абстрактного богатства»².

Из сказанного во всяком случае очевидно одно: величина цены, как и общая сумма цен, в качестве определяющих факторов имеют спрос и предложение, но как спрос не тождественен с какой-либо строго определенной суммой денег—ни с деньгами вообще имеющимися в народном хозяйстве, ни с деньгами, поступающими в обращение, так и предложение не равно количеству товаров действительно проданных на рынке. Будучи обусловлена общим движением конъюнктуры, цена в свою очередь является определяющей для количества денег и количества товаров, реально поступающих в обращение. В соответствии с этим неверно понимать положение Маркса об автоматичности механизма движения денег из сокровища в обращение³; в том

¹ Рикардо—Начала, русск. пер., стр. 142.

² Теории прибавочной ценности, т. II, ч. 2, стр. 175.

³ Здесь нам представляется необходимым точнее определить—какие деньги мы называем сокровищем. Дело в том, что количественники понимают сокровище, как фактор, выражающийся в замедлении быстроты обращения денег. В данном пункте действительно возникает трудность отличить простое замедление обращения денег от их превращения из средства обращения в сокровище. Преодолевается эта трудность, по нашему мнению, следующим образом: возьмем воспроизводственный процесс в двух его моментах—периоде производства и периоде обращения. В таком случае деньги, задерживающиеся у производителя во время обращения, лишь замедляют быстроту своего движения. Их расходование необходимо для

смысле, что количество обращающихся денег определяется изменением суммы товарных *ценностей*. Маркс всегда говорит лишь о сумме *цен*, а таковая, как мы видим, совершенно необязательно должна совпадать с суммой ценностей. В порядке предварительной пока что формулировки мы можем сказать, что ценность, как таковая, играет в механизме образования цен ту роль, что она ставит конечные пределы как для спроса, поскольку таковой всегда должен быть платежеспособен, т. е. должен иметь за своей спиной определенную величину ценности в форме денег, превысить которую он не может, так и для предложения, поскольку не может быть реализовано больше ценностей, чем произведено.

Каковы же факторы, определяющие в свою очередь движение спроса и предложения? Их рассмотрение не входит сейчас в нашу задачу. Напомним лишь, что Маркс на вопрос о том: «Как на основании меновой ценности, развивается отличная от нее рыночная цена?»,—отвечает: «Этот вопрос решается в учении о конкуренции»¹.

Для нас существенно важно, не вдаваясь в теорию конкуренции, отметить здесь лишь то, что деньги дают форму для движения спроса, осуществляют возможность развития противоречия купли-продажи, спроса-предложения, их роль в данном случае примерно та же, что и при кризисах. Деньги не имеют какой-либо собственной закономерности в смысле хотя бы наличия какой-то строго определенной пропорции между сокровищем и обращением, нарушение которой должно привести к кризису. Деньги не являются непосредственной причиной пертурбационных сдвигов в хозяйственной жизни, отсюда неверно рассматривать их в применении к кризисам, как фактор, вполне самостоятельно вызывающий последний. Однако, являясь общей и необходимой формой движения всех хозяйственных процессов, деньги не могут быть просто элиминированы из учения о цене и учения о конкуренции.

Вернемся теперь к покупательной силе. Установленные выше причины расхождения покупательной силы и ценности денег опровергают в самой основе количественное понимание этого расхождения. Изменение количества денег, как мы видели, никакого отношения к движению общего уровня цен не имеет. Но вместе с тем обнаруживается полная иллюзорность самой этой покупательной силы в качестве регулирующей экономической категории. В самом деле, теоретическое значение покупательной силы в том и заключается, что она должна представлять собой некоторый исходный общий уровень, благодаря наличию которого всякое единичное отклонение

того, чтобы начался производственный процесс. Иначе обстоит дело с деньгами, которые находятся у владельца на протяжении всего периода производства и будут возможно использованы ими лишь при наступлении нового цикла обращения. Здесь производство совершается независимо от того, что определенная сумма покупательных средств остается неиспользованной. В последнем случае мы и имеем сокровище. Реальное переплетение периодов производства и периодов обращения для всего народного хозяйства не изменяет теоретического существа вопроса.

¹ К критике, стр. 73.

цен на одном участке хозяйства должно вызывать обратное изменение их на другом участке. Взаимообусловленность отдельных цен, понимаемая в смысле их непосредственного соотношения и зависимости исключительно друг от друга, логически предполагает данный а priori общий уровень цен. Последний же в свою очередь может быть сконструирован в качестве исходного и определяющего для отдельных цен уровня только при том предположении, что существует некоторое самостоятельное уравнение между всей товарной массой и строго определенным количеством денег. Следующий отрывок из работы крупнейшего представителя современной количественной теории Ирв. Фишера освобождает нас от необходимости более подробно доказывать связь между покупательной силой и количеством денег.

«Уровень цен не определяется индивидуальными ценами, наоборот, всякая индивидуальная цена предполагает существование данного уровня цен. Полного и единственного объяснения уровня цен следует искать в факторах уравнения обмена и во всех предшествующих причинах, влияющих на эти факторы. Выражения «спрос и предложение» в применении к отдельным ценам не имеют какого бы то ни было значения в объяснении повышения или падения уровней цен... Уравнение обмена (здесь подразумевается уравнение всей товарной массы и всех денег, как самостоятельное отношение—В. Б.) необходимо в каждом случае в дополнение к уравнениям спроса и предложения... Индивидуальные цены не могут быть вполне определены посредством спроса и предложения, денежными издержками производства и т. д. без скрытого введения в это определение уровня цен. Если в силу особых причин, влияющих на данный товар, кривые спроса и предложения этого товара и точка их пересечения повысится или понизится, тогда кривые спроса и предложения других товаров должны измениться в обратном направлении. Это значит, что если один товар повышается в цене, то другие товары должны упасть в цене. Излишнее количество денег для покупки первого товара будет взято от других покупок. Отсюда следует, что всякое увеличение одного из многих слагаемых правой части уравнения (т. е. суммы цен—В. Б.), происходящее от увеличения какой-либо индивидуальной цены, должно сопровождаться уменьшением остальных слагаемых правой части уравнения»¹.

Но из изложенного выше мы знаем, что прямое сопоставление товарной массы и золотой горы, взятое само по себе, не определяет ни в малейшей степени того реального уровня цен, который получится впоследствии, после завершения всех актов обмена. При неизменной совокупной ценности всех товаров и при неизменном количестве денег, имеющихся в стране, общая сумма цен может весьма значительно колебаться вследствие специфических конъюнктурных закономерностей. Повышение индивидуальной цены может, таким образом, не привести к обратному падению цен какого-либо другого товара,

¹ Фишер, Ирв. Покупательная сила денег, стр. 128—132.

хотя бы количество всех товаров и сумма всех денег оставались прежними. Отсюда, повторяем, неизбежно вытекает мнимость покупательной силы, как уровня, к которому соотносится движение отдельных цен,—последние не имеют покупательную силу в качестве своей предпосылки. Вместе с тем теоретики покупательной силы неизбежно попадают в следующий порочный круг: покупательная сила, которая должна быть исходным пунктом для образования цен, сама оказывается простой математической средней от этих цен. Единственное средство разорвать данный порочный круг и спасти покупательную силу—выведение ее из количества денег, как мы видим, не выдерживает критики. Точно также беспомощна попытка связать покупательную силу с количеством денег, действительно находящихся в обращении, ибо это количество в свою очередь обусловлено суммой цен, а не дано заранее, как определяющий фактор.

Именно здесь и вскрывается теснейшая связь между покупательной силой и количественной теорией во всех ее вариациях вплоть до марксистской. Опровержение количественной теории одновременно означает поэтому развенчание теоретического значения покупательной силы.

Наше предыдущее изложение показало, что покупательская сила не определяет со стороны денег величину цены. Последняя оказалась производной от движения спроса и предложения. Но в таком случае возникает вопрос, какое отношение имеет ценность денег, именно абсолютная их ценность, к этим определяющим цену факторам. Не приходим ли мы, таким образом, к вульгарной теории спроса и предложения и не устраним ли мы вообще деньги из механизма регулирования товарного хозяйства? Частичный ответ на поставленный вопрос уже дан выше, а именно: спрос и предложение не самостоятельные, а производные категории, поскольку спрос всегда должен быть платежеспособным, т. е. должен иметь всегда за своей спиной деньги, а размеры предложения ограничены всегда объемом производства.

Однако этим не исчерпывается искомая зависимость. Нам необходимо найти причины, обуславливающие как сами колебания, так и степень колебания спроса и предложения внутри общих границ, определяемых товаром и деньгами. Необходимо показать, что и в указанных пределах спрос и предложение не самостоятельны, а подчинены общему движению ценности.

Общий ответ на разбираемый вопрос сводится к следующему: спрос и предложение, взятые изолированно, в каждый данный момент в своем соотношении действительно представляются как будто величинами самостоятельными и от отношения ценности в известной мере независимыми. Иначе обстоит дело, если мы подойдем к ним с точки зрения механизма воспроизводства в целом. То же самое увеличение предложения явится тогда реакцией на предшествующее нарушение эквивалентности обмена в сторону благоприятную для данного товара, а сокращение предложения окажется результатом имевшего место ранее падения цены. В общем и целом всякое движение спроса и пред-

ложения явится производным от нарушения хозяйственного равновесия, имевшего место в предыдущем цикле.

Все сказанное достаточно элементарно и в дальнейших доказательствах не нуждается. Основным здесь является понимание ценности, как уровня равновесия, согласно которому равновесие в хозяйстве мы имеем в случае обмена по ценности, и обратно всякое нарушение равновесия выражается в отклонении от эквивалентности обмена, в расхождении цены и ценности индивидуального товара, и как таковое, ведет к новому распределению труда. Интерес представляет здесь лишь вопрос о масштабе измерения ценности и ее отклонений, т. е. вопрос о роли денег в осуществлении механизма воспроизводства. Являются ли деньги, как определенная самостоятельная ценность, выражением ценности товара в случае отклонения цены? Этот вопрос подводит нас снова к покупательной силе и ее значению¹. Категория покупательной силы могла бы претендовать на определенное место в системе марксовской политической экономии², только в том случае, если бы было доказано, что расширение и сокращение производства определяются исключительно расхождением индивидуальной цены с общим уровнем цен. Покупательная сила оказалась бы тогда действительным представителем уровня равновесия, и перераспределение труда определялось бы движением цены относительно уровню покупательной силы.

Однако если мы захотим расхождение индивидуальной цены с общим уровнем цен сделать фактором, определяющим изменение размеров и пропорций дальнейшего производства, то мы сразу попадем в новую репродукцию упомянутого выше порочного круга. В самом деле, каждый отдельный производитель в качестве определяющего момента для дальнейшего производства должен иметь уже данный общий уровень цен. Но каким образом это возможно, если общий уровень цен предполагает завершение всех актов обмена, следовательно, он реально сложится лишь после того, как наш производитель

¹ Между прочим, необходимость отнесения цены именно к абсолютной ценности золота и фиксации за последней роли материального представителя и выражения уровня равновесия очень легко доказывается здесь по методу доказательства от противного. В самом деле, если ни ценность денег, ни их количество не влияют на цену, то деньги оказываются совершенно неопределенным элементом образования цены и последняя становится функцией лишь одной переменной, что, очевидно, нелепо, поскольку необходимо выяснить конкретные пропорции, в которых товары уравниваются с деньгами. Вполне понятно, что при таких условиях невозможно построение ни теории денег, ни теории цены.

² Наша дальнейшая полемика направлена исключительно против попыток альянса количественной теории с марксизмом. Сама по себе количественная теория не является объектом критики, поскольку ее опровержение с точки зрения закономерности воспроизводства заставило бы нас углубиться в рассмотрение общей теории ценности, на которую опираются количественники, что не входит в нашу задачу, тем более, что понимание механизма регулирования хозяйства у разных количественников различно. Необходимо, однако, заметить, что полная беспомощность количественной теории особенно ярко обнаруживается, если подойти к ней именно с точки зрения осуществления закономерностей воспроизводства. Стоит лишь указать на порочный круг издержек производства, который мы находим у Ирв. Фишера.

не только продаст свой собственный товар, но и закупит необходимые ему орудия, сырье и т. д., т. е. тогда когда размеры его производства и сфера вложения его труда будут уже predeterminedены. Совершенно очевидно мы здесь снова сталкиваемся с концепцией, построенной на основе *petitio principii*.

Еще более значительную осечку дает механизм воспроизводства, если мы попытаемся в данном контексте привлечь к рассмотрению сокровище и движение денег из сокровища в обращение, так же как и обратный процесс движения из обращения в сокровище. Как мы знаем, прилив денег в обращение является результатом увеличения спроса и вызванного последним повышения цен. Является ли подобное возрастание спроса и повышение не только индивидуальной цены, но в известной степени и общей суммы цен фактором последующего расширения производства или нет? С точки зрения теории покупательной силы, существенную роль в данном случае будет играть лишь изменение внутреннего соотношения отдельных цен, изменение же их суммы никакого влияния на ход производственного процесса не окажет. Определяющим для производства явится лишь рост цен, превышающий по своему темпу общее повышение их среднего уровня. Но отсюда следует, во-первых, что сокровище с общехозяйственной точки зрения вообще лишено всякого значения, во-вторых, что флюктуация не является движением реальной ценности, хотя как раз в этом моменте флюктуации обнаруживается по Марксу характер денег, как непосредственного бытия ценности, и, наконец, в третьих, что происходящее в указанном случае расширение или сокращение спроса чисто фиктивно, ибо оно не ведет к каким-либо изменениям производства. Логическим завершением всей концепции должно явиться утверждение о постоянном равенстве действительного спроса и действительного предложения, иначе говоря, утверждение о том, что товары покупаются на товары.

Мы не думаем, чтобы сами сторонники покупательной силы приняли все указанные выводы из их положений, настолько они противоречат основам марксизма. Однако, если признать, что разобранный случай увеличения спроса, повышения общей суммы цен и прилива денег в обращении не лишен общехозяйственного значения и что он необходимо должен повлечь за собой некоторое расширение общего объема производства, то логическим следствием отсюда явится отрицание за покупательной силой, как таковой, всякого регулирующего значения. Действительно, общий механизм воспроизводства представится нам тогда в следующем виде: движение цены отдельного товара всегда является регулирующим фактором воспроизводственного процесса, независимо от того, сопровождается ли это движение изменением общего уровня цен или нет. В соответствии с этим, изменение суммы цен при неизменной ценности товаров необходимо вызовет общее расширение или сокращение производства, как результат большего числа случаев расширения в отдельных отраслях, где цены повышались, против меньшего числа случаев сокращения, где цены понизились, или, наоборот, преобладания сокращений над расшире-

ниями¹. Совершенно очевидно, что под ценой мы должны здесь всегда подразумевать реальную денежную цену, или скрывающееся за ней сопоставление количества труда, заключенного в товаре, с трудом, действительно представленным деньгами. Уровень равновесия будет выражаться, таким образом, деньгами в их собственной ценности и тенденция к равновесию выразится в стремлении к эквивалентному обмену товара именно на золото², хотя бы абсолютная ценность последнего ни в один момент движения хозяйственной жизни не совпала с его относительной ценностью.

Как конкретно осуществляется данный процесс и к каким последующим результатам в смысле нового сочетания спроса и предложения и нового уровня цен он приводит—может показать лишь теория конкуренции. Для нас сейчас достаточно указать лишь на то, что покупательная сила не является необходимым звеном в осуществлении взаимной связи и обусловленности хозяйственных процессов.

Общая роль в процессе производства специального механизма денежного обращения, механизма флюктуации, как показано выше, целиком подчиняется основной закономерности движения ценности. Правда, наличие сокровища, его расширение и сокращение не представляет собой всегда простого рефлекса изменения ценности обращающихся товаров. Прилив денег в обращение, так же как и обратный отлив, не вызывается исключительно увеличением или уменьшением ценности реализуемых товаров. Он может иметь место и при неизменной общей ценности товарной массы—в таком случае мы получим общее превышение суммы цен над суммой ценностями и расхождение покупательной силы с абсолютной ценностью денег. Однако именно постольку, поскольку мы имеем здесь отклонение суммы цен от суммы ценности, оно необходимо повлечет за собой соответствующее изменение объема производства. Исходным моментом и здесь окажется собственная ценность золота, ибо в противном случае само понятие несовпадения суммы ценностей с таковой же суммой цен лишено вообще всякого смысла.

Нам представляется целесообразным остановиться теперь на общем понятии равновесия, поскольку таковое является необходимым логическим звеном в теории ценности. В стихийном и саморегулирующемся товарном хозяйстве равновесие в основном дано конечно отношениями отдельных отраслей производства друг к другу, и золото-

¹ Оговоримся, между прочим, что возможное указание на регулирующее значение покупательной силы, которое как-будто выражается в том, что за повышением покупательной силы следует общее расширение производства и обратно—является по меньшей мере бессодержательным. С равным правом можно было бы сказать, что отклонение всякой индивидуальной цены не является следствием нарушения пропорции производства, а представляет собой результат специфического движения покупательной силы денег, но не их общей покупательной силы, а покупательной силы по отношению именно к данному товару.

² В тексте речь идет понятно не обязательно о золоте, непосредственно отдаваемом за товар, последний может продаваться за бумажные деньги. В таком случае достаточно, однако, перевести бумажные деньги на золото по существующему в данный момент их курсу, чтобы получить реальную цену в ее отношении к ценности.

промышленность в данном случае выступает лишь как одна из отраслей—не больше. Однако, являясь правильным в общем и целом, подобное понимание равновесия не дает оснований для отождествления внутреннего соотношения динамики частей хозяйства с непосредственным отношением товарных масс, реализующихся в каждый данный момент на рынке. Различие между этими двумя отношениями обнаруживается прежде всего именно на примере золотопромышленности. В то время, как, с одной стороны, добыча золота требует совершенно определенного количества средств производства, рабочей силы и т. д., с другой стороны, сбыт ее продуктов не находится в какой-либо строгой технической обусловленной пропорции с другими товарами. Товары, теоретически рассуждая, могут обмениваться при помощи любого количества денег. Далее, продукты всех отраслей хозяйства выходят из обращения после реализации и перестают интересовать нас с точки зрения закономерностей ценностного порядка. Золото, наоборот, продолжает функционировать в сфере обращения после того, как совершилась первая метаморфоза обмена у истоков его производства. Таким образом непосредственное отношение товаров, взятое в каждый данный момент не адекватно одновременным пропорциям производства, поскольку в обращении находится «товар», не являющийся продуктом одновременного производства.

Помимо сказанного мы имеем, однако, еще другой и к тому же более существенный момент, вытекающий из предыдущего и обуславливающий неадекватность пропорций производства и рыночного соотношения товаров. Мы имеем здесь в виду тот факт, что проданный товар именно благодаря наличию сокровища не обязательно совершает тотчас же вторую метаморфозу своей ценности. Отсюда в каждый новый цикл обращения мы находим на рынке, с одной стороны, деньги, не имеющие за собой одновременной продажи и, с другой,—товары, за продажей которых не следует немедленно купля. Поэтому, если даже все товары, предлагаемые на рынке, будут проданы, движение товарных ценностей не закончится, полного уравнивания их друг с другом не произойдет¹. Конечно, возникающее в данном случае сокровище не является самоцелью товарного хозяйства, оно составляет лишь момент в движении воспроизводственного процесса, отсюда деньги необходимо должны когда-либо войти в обращение и, таким образом, завершить метаморфозу представленной им товарной ценности.

Однако подобное замыкание движения ценности товаров не происходит равномерно, и в различные моменты отличается различной интенсивностью. Верно, что за всякой продажей следует купля, но для процесса воспроизводства далеко не безразлично, через какое время

¹ «Что отчуждается при обычной продаже? Не стоимость проданного товара, так как она только меняет свою форму. Она существует идеально в товаре, как цена; прежде чем перейти реально в форме денег в руки продавца, она и та же стоимость изменяет здесь только свою форму. В данном случае она существует в товарной форме, в другом случае в денежной форме. То, что действительно отчуждается от продавца, а потому переходит в сферу индивидуального или производительного потребления покупателя, это потребительная стоимость товара, товар, как потребительная стоимость». («Капитал», III, стр. 336).

последует эта купля. В данном расхождении во времени купли и продажи как раз и обнаруживается источник всевозможных сдвигов и потрясений хозяйственной жизни.

Движение ценности не сводится, таким образом, к простому сопоставлению и обмену товаров, оно необходимо включает в себя деньги и только при их посредстве сообщает воспроизводственному процессу характер единства во всех его моментах. В каждый данный отрезок времени именно деньги выступают, как непосредственный представитель уровня равновесия и регулятор распределения труда. Здесь, между прочим, проявляется специфическая особенность всех закономерностей товарного хозяйства, их необходимая фетишизация. Равновесие невозможно, как чистое отношение, взятое само по себе, отношение отдельных отраслей производства друг к другу. Оно должно быть овеществлено, материализовано и именно этой материализацией и фетишизацией, как фактом реальной действительности, являются деньги.

III

В предыдущей главе было показано, что движение покупательной силы денег не играет никакой роли в общем механизме воспроизводства. Теперь необходимо разобрать другую сторону того же вопроса о значении покупательной силы, а именно ее роль в воспроизводстве самого денежного материала. Уже заранее можно сказать, что специфическая роль товара, именуемого деньгами в движении ценности должна выражаться и в совершенно особом механизме движения золотопромышленности, в совершенно, или, во всяком случае, значительно отличных законах ее регулирования, по сравнению с законами регулирования остальных отраслей хозяйства.

Тем не менее существует широко распространенное даже в среде марксистов представление, будто для осуществления закономерностей воспроизводства в золотопромышленности необходимо для ее продукта—золота, как и для всякого другого товара, сконструировать совершенно аналогичную и тождественную категорию цены, как формы движения ценности. Подобная точка зрения может быть сформулирована и действительно формулируется, примерно, следующим образом: золотопромышленность, как и все остальные отрасли хозяйства, при господстве товарно-капиталистического способа производства только стихийно может приспосабливаться к потребностям и нуждам хозяйства в целом. Формой для такого стихийного приспособления, прощупывания необходимых пропорций вообще является движение цены. Отсюда непосредственно делается тот вывод, что поскольку золотопромышленность не регулируется сознательно, постольку и для нее необходимо должна существовать категория, в ее функциональном значении аналогичная цене. Добыча золота должна, таким образом, определяться тем отношением, в котором деньги уравниваются с товарами, иначе говоря, изменением уровня цен. Перепроизводство золота поведет в таком случае к всеобщему повышению цен, вследствие чего дальнейшее производство в увеличенных размерах для золото-

промышленности окажется нерентабельным и добыча сократится; обратное произойдет при недопроизводстве золота, в этом случае производство в следующем цикле увеличится, так что в конечном итоге установится некоторая последовательность в периодических конъюнктурных колебаниях вокруг определенного уровня равновесия.

Подобное понимание механизма регулирования золотопромышленности прежде всего опрокидывает все положения, развитые нами во второй главе. В самом деле, если общее повышение и падение цен вызывается перепроизводством или недопроизводством золота, то очевидно теряет силу все сказанное нами о сокровище, как о необходимой предпосылке противоречивого движения спроса и предложения. Движение цен ставит благодаря этому в зависимость не от общехозяйственных процессов, а от случайного в известной степени, расхождения спроса и предложения на продукты одной отрасли, причем данное расхождение тождественно по своей природе таковому же расхождению в любой другой отрасли, здесь оно лишь выражается в изменении не только индивидуальной цены, но и общего уровня цен, что с общехозяйственной точки зрения, оказывается, однако, несущественным. Нетрудно понять, что подобная концепция в своей основе также исходит из признания регулирующего воздействия на процесс воспроизводства не за реальной денежной ценой, а за внутренним отношением отдельных цен, их относительной высотой по сравнению с общим уровнем цен, ибо иначе непонятно каким образом могут выпрямляться частичные отклонения от нормальных пропорций производства в золотопромышленности без изменений в совокупном воспроизводстве всего хозяйства.

В силу сказанного нам представляется, что вопрос о механизме воспроизводства золота, несмотря на его сугубую конкретность, имеет чрезвычайно большое значение для всей теории денег и входит в нее как крайне существенный и необходимый момент. Попытаемся разбраться в нем по существу. Прежде всего необходимо отметить, что в форме покупательной силы мы действительно имеем категорию, формально до некоторой степени аналогичную цене товара. Так же как цена для каждого индивидуального товара представляет собой его общественную оценку, т. е. ставит отдельный товар в отношение ко всему миру товаров, покупательная сила выражает ценность золота во всем многообразии отдельных товарных видов, означает как бы его оценку с точки зрения всего хозяйства в целом. Весь вопрос заключается, однако, в том, является ли эта покупательная сила основой и регулятором производства золота, т. е. выполняет ли она ту же роль, что и цена для простого товара. Здесь в первую очередь следует остановиться на основном отличии денежного товара от других товаров, а именно на специфической форме обращения золота. В то время как простой товар вступает в обращение только один раз и затем выходит из него, поступая в сферу потребления, золото не является продуктом частного потребления, его бытие как ценности не прекращается после реализации у истоков производства. Благодаря этому в каждый данный момент в народном хозяйстве имеется значительная

масса ранее произведенного золота, по отношению к которому новая добыча ничтожна. Отсюда общее уравнение цен в определенный промежуток времени никаким образом не может полностью отразить происшедших в тот же самый отрезок времени изменений в размерах текущего производства золота. История денежного обращения достаточно убедительно показывает, насколько длителен и сложен процесс общей перестройки цен при изменении ценности вновь добываемого золота. Этот процесс совершается ступенчатым образом, охватывая лишь постепенно одни участки хозяйства за другими, и дает изменение цен всех товаров только через значительный отрезок времени. Нетрудно понять, что в случае увеличения или падения в размерах текущего производства, происходящего к тому же при неизменности издержек, а именно этот случай представляет для нас интерес, повышение цен будет необходимо носить локальный характер, заключающийся в себе лишь потенциально возможностью в будущем, если нарушение пропорции в золотопромышленности останется длительным, изменить величину цены всех товаров. Степень повышения или понижения цен на ближайших к золотопромышленности участках в первый период будет неодинакова по степени с изменением общей покупательной силы денег. Акт обмена у истоков производства не совпадет, следовательно, с выражением относительной ценности золота, с реальным изменением уровня цен. Между тем совершенно очевидно, что как раз первый акт обмена—обмен золота у истоков производства—является решающим для воспроизводства денежного материала. Последний, однако, не тождественен, как уже сказано, с изменением общей покупательной силы денег. Таким образом вполне возможен, например, такой случай, когда расширившееся производство золота, сопровождающееся где-нибудь на противоположном участке хозяйства падением спроса и отливом денег из обращения, приведет к повышению цен в смежных с золотопромышленностью отраслях, которое, однако, будет парализовано обратным падением цен в других отраслях, так что общий уровень цен и покупательная сила останутся прежними. Конечно, мы не имеем оснований утверждать, что в каждом случае расширившегося предложения золота золотопромышленностью, количественно равная этому новому предложению масса золота должна уйти из обращения и поступить в сокровище. Тем не менее для нас существенно важно установить, что меновое отношение, регулирующее воспроизводство золота, принципиально отлично от «общего уравнения товаров и денег», выражающегося в покупательной силе, и именно это положение с исчерпывающей ясностью обнаруживается в разбираемом примере неизменности общего уровня цен, при котором, однако, произойдет все-таки сокращение добычи денежного материала.

Из сказанного следует, что отношения между производителями золота и других товаров самым радикальным образом отличаются от отношений между последними. Это отличие в основном сводится к тому, что регулирующее воздействие на золотопромышленность оказывает не общественная оценка ее продукта, не отношение его по всему товарному миру, а частное отношение золота к непосред-

ственно вымениваемому на него товару. Общественное выражение ценности золота, аналогичное такому же выражению ценности любого товара, было бы возможно в том случае, если бы товар, покупаемый золотопроизводителем, сам являлся представителем всего товарного мира; непосредственным носителем ценности. Но это означало бы, что именно данный товар выполняет функцию денег. Исходя как раз из подобных соображений, Маркс самым решительным образом возражал против употребления термина «цена золота».

Так, в «Критике» он писал:

«Золото там, где оно служит элементом определения цены, а потому счетными деньгами, не имеет не только *постоянной*, но вообще *никакой* цены. Для того, чтобы оно приобрело цену, т. е. чтобы оно могло выразиться в каком-нибудь *специфическом* товаре, как всеобщем эквиваленте, этот другой товар должен играть такую же исключительную роль в процессе обращения; как и золото, однако, оба товара, исключаящие все другие товары, исключают взаимно друг друга ¹.

В другом месте «Критики» Маркс еще более определенно формулирует принципиальное отличие всякого акта обращения от первоначального движения золота из истоков его производства. Он пишет:

«Если мы не будем рассматривать Д в Т—Д, как совершившуюся уже метаморфозу другого товара, то мы этим самым выбрасываем акт обмена из процесса обращения. Вне последующего, однако, исчезает формула Т—Д, и друг против друга стоят два различных Т. Например, железо и золото, обмен которых не представляется определенным актом из сферы обращения, но составляет лишь акт простой меновой торговли. Золото у истоков его производства такой же товар, как и всякий другой, относительная ценность его и железа, или каждого другого товара, выражается в количествах, в которых они взаимно вымениваются, но в процессе обращения эта операция составляет уже предположенное условие, в товарных ценах уже дана собственная ценность золота. Следовательно, нет ничего более ошибочного, как представление, будто золото и товар вступают в области процесса обращения в таком же отношении между собой, как в непосредственной меновой торговле, и будто, благодаря этому, их относительная ценность вытекает из их обмена, как простых товаров» ².

Изложенное в приведенных отрывках понимание Марксом характера первичного движения денег от истоков производства, понимание, согласно которому мы в этом движении имеем отношение простой меновой торговли, в противоположность процессу обращения, где золото уже не выступает в качестве простого товара, только в обмене получающего выражение своей собственной ценности, является решающим для разбираемого вопроса о механизме воспроизводства золота. Из него прежде всего вытекает, что употребляемые по отношению ко всем остальным отраслям промышленности понятия недо-

¹ К критике, стр. 85. Курсив Маркса.

² К критике, стр. 99.

производства и перепроизводства неприменимы в строгом смысле слова к производству золота, так как недопроизводство и перепроизводство предполагают некоторый данный уровень равновесия, отклонения от которого выражаются в движении цены. Меновые отношения, возникающие у истоков производства денежного материала, тем и отличаются от уравнений обмена в сфере обращения, что данное меновое отношение не дает цены, как категории специфически присущей обращению, и регулирует производство иначе, чем это выполняется ценой. Дело в том, что, если мы попытаемся сконструировать понятие спроса на деньги, то таковой будет представлен общей суммой товарных цен, необходимостью осуществления метаморфоз всех товаров. Однако именно этот спрос не входит в непосредственное уравнение с предложением золота, во всяком случае, их соотношение эмпирически несущественно для золотопромышленника, оно не воспринимается им. Для него (золотопромышленника) определяющее значение имеет частное уравнение обмена с близлежащими сферами производства, которые вовсе не идентичны со всем хозяйством, и «спрос» которых на золото не идентичен со всем «спросом» в целом.

Таким образом, как категория цены, так и определяющие ее факторы спроса и предложения не входят необходимым звеном в осуществление закономерности воспроизводства золота. Вместе с тем для золотопромышленности отпадает и общий механизм саморегулирования хозяйства, который сводится к постоянным колебаниям вокруг некоторого уровня равновесия. Этот уровень равновесия, а только по отношению к нему можно говорить о перепроизводстве и недопроизводстве, не существует, строго говоря, как определяющий для золотопроизводства. Моменты сокращения и расширения добычи должны быть объяснены, следовательно, из каких-то иных отношений. Мы знаем, что подобными отношениями являются меновые сделки у истоков производства в своего рода коридоре, соединяющем золотопромышленность со всем хозяйством. Здесь, однако, возникает существенное затруднение, обусловленное различием конкретных потребительных ценностей, на которые обменивается золото. Каким образом золотопромышленник определяет степень рентабельности своего производства, если его продукт выражается в постоянно меняющихся конкретных товарах, на которые он обменивается?

Обнаруживающееся в данном случае затруднение было бы совершенно непреодолимо, если бы налицо не имелось другого мерила, которым унифицируется или вернее элиминируется вовсе различие потребительных ценностей. Мы находим такое мерило в форме потребительной ценности самого золота. Непосредственное сравнение первоначальных затрат с продуктом, в его конкретном материальном виде, еще до реализации позволяет золотопромышленнику определить рентабельность его производства и рациональность произведенной им затраты труда.

Во втором томе «Капитала» мы находим на этот счет чрезвычайно интересное замечание. Анализируя кругооборот денежного капитала, Маркс пишет: «Товарный капитал, как непосредственный продукт

капиталистического производства, хранит воспоминание о своем происхождении из производственного процесса и поэтому по своей форме более рационален, не столь не достигаем для понятия, как денежный капитал, в котором изглажен всякий след производственного процесса, как и вообще в деньгах угасает всякая особенность потребительной формы товара. Поэтому такое своеобразие денежной формы капитала исчезает только там, где само «D» функционирует как товарный капитал, где оно является непосредственным продуктом производственного процесса, а не превращенной формой этого продукта—следовательно в производстве самого денежного материала. Для производства золота,

напр., формула должна быть такова: $D - T < \frac{P}{C_p} \dots P \dots D^1 (D+d)$, где D^1

фигурирует как товарный продукт потому, что p доставляет золота больше чем было авансировано в первом «D» денежном капитале на элементы производства золота. Следовательно, здесь исчезает иррациональность, выражения $D \dots D^1 (D+d)$, где одна часть денежной суммы является матерью другой части той же самой денежной суммы»¹.

Каков же конкретно механизм воспроизводства золотопромышленности?

На наш взгляд дело рисуется здесь следующим образом: так называемое перепроизводство или недопроизводство золота ведет к нарушению старых пропорций обмена золота на необходимые для дальнейшей добычи элементы производства. В случае перепроизводства цена этих элементов повысится, при недопроизводстве обратно понизится. Результатом этих отклонений окажется, что в конце следующего цикла производства непосредственное натуральное сравнение затрат, произведенных в золоте, с вновь добываемым золотом обнаружит соответствующую степень рентабельности или нерентабельности затрат труда в золотопромышленности. На основании данного сравнения последует затем необходимое перераспределение труда, прилив или отлив капитала и т. д. Через взаимное перекрещивание подобных колебаний в общем и целом мы получаем необходимую согласованность в динамике золотопромышленности и всего народного хозяйства, некоторое состояние равновесия между ними. Совершенно очевидно, что изменение общего уровня цен не явится в таком случае необходимым звеном в осуществлении указанной закономерности регулирования золотопроизводства². Сказанным до сих пор освещается лишь одна сторона дела,

¹ «Капитал», II, стр. 25.

² Мы не собираемся сейчас полемизировать с О. Бауэром, Каутским и др. в объяснении механизма воспроизводства золота, их построения, особенно построения Бауэра, на этот счет представляют собой скорее плод досужей математической эквилибристики, чем теоретического остробумия. Мы не согласны с Бауэром в самой основе, в его условном принятии утверждения Гильфердинга в том, что все вновь добытое золото поступает целиком в подвалы банка, непосредственно не оказывает влияния на образование цен. Данная предпосылка неверна просто потому, что в обмен на золото производитель последнего получает банковые билеты и предъявляет спрос на определенные средства производства и предметы потребления, следовательно, с экономической точки зрения, с точки зрения движения ценности, банковская деятельность ничего по сути дела не изменяет. Если же

а именно, влияние нарушений нормальных пропорций производства золота на последующие размеры этого производства. Остается тем не менее невыясненным еще вопрос о том, как влияет подобное нарушение «равновесия» на все хозяйство в целом, к каким последствиям оно ведет. Прежде всего, исходя из совершенно необходимой здесь предпосылки неизменности пропорций, в которых все количество денег распадается на сокровище и обращение, т. е. предполагая, что вновь произведенное золото не уходит целиком в сокровище, необходимо признать, что результатом расширения добычи явится некоторая волна повышения цен, охватывающая, правда, только смежные с золотопромышленностью отрасли, но вызывающая тем самым все же известное повышение общего уровня цен. Спрашивается, как это явление отразится на закономерностях воспроизводства? Известно, что в аналогичных случаях перепроизводства в какой-либо другой отрасли промышленности уровень равновесия всего хозяйства от этого не изменится и перепроизводство на одном участке компенсируется недопроизводством на другом. Если в золотопромышленности дело обстоит таким же образом, и волны повышения цен, вызванные усилением добычи, не вносят никаких изменений в закономерность общего воспроизводства, если, следовательно, тенденции к равновесию выражаются в стремлении к достижению пропорциональности на прежнем уровне, то мы получим довольно странное положение. Повышение цен, связанное с притоком денег из сокровища в обращение, является фактором общего расширения производства, в то время как аналогичное повышение цен, обусловленное расширением производства золота, лишено этого влияния. Этот факт тем более непонятен, что для отдельного производителя абсолютно безразлично, продает ли он свой товар за старое или за новое золото.

Выход из настоящего затруднения заключается по нашему мнению в том, что рост цен на определенных участках хозяйства, вызванный усиленным производством золота и не компенсирующийся нигде одновременным падением, должен быть приравнен ко всякому другому повышению цен. Таким образом, усиление добычи золота выразится в том, что в ряде отраслей хозяйства возникнет тенденция к расширению производства пропорционально расширению золотопромышленности. Потенциально в этом явлении скрыта тенденция к расширению производства во всем хозяйстве, иначе говоря, изменение самого количественного уровня равновесия, к которому тяготеют отдельные от-

понимать Гильфердинга таким образом, что расширение производства золота совершенно не влияет на хозяйство, поскольку производитель такового не пускает в обращение ни золота, ни полученных в обмен на него банкнот, то данная предпосылка просто нелепа. С таким же правом можно было бы поставить для любителей подобных гипотез вопрос о том, каким образом определялась бы ценность обращающегося золота, если бы новое его производство прекратилось абсолютно. Ответ на этот вопрос вообще крайне прост: золото перестало бы быть деньгами, поскольку оно потеряло бы свой характер свободно воспроизводимого товара. Примерно так же нужно полемизировать с Гильфердингом. Бауэр же и другие приняли его исходное изложение и тем самым заранее свели на-нет теоретическое значение своих возражений.

расли. Конечно, осуществление этой тенденции полностью невозможно, и она сведется лишь к возникновению небольшой ряби на поверхности товарного производства в силу того, что в ближайший же период налицо будет падение добычи золота и обратная тенденция к сокращению общего производства, которая при столкновении с первой парализует ее реализацию. Тем не менее определенное своеобразие в отношении золотопромышленности по всему общественному производству несомненно.

Мы не собираемся по примеру Каутского гипертрофировать роль золота в хозяйственной жизни. Однако мы не видим достаточных оснований ни теоретических, ни эмпирических для опровержения нашего утверждения, тем более, что своеобразие в развитии золотопромышленности, очевидное само собой, эмпирически нам дано хотя бы в факте отличного движения цикла в золотопромышленности, который осуществляется в ней в направлении, обратном общему движению конъюнктуры.

Теперь мы можем еще более определенно сформулировать возражения против безоговорочного применения к золотопромышленности терминов перепроизводства и недопроизводства. Последние логически предполагают некоторый общий, извне данный, уровень, по отношению к которому размеры производства той или другой отрасли превышают необходимые или оказываются недостаточными. Для золотопромышленности не дано подобного уровня равновесия, наоборот, она сама представляет собой этот уровень, вследствие чего расширение или сокращение ее производства означают не расхождение с данными существующими объективными пропорциями, а напротив, активное изменение последних. Общий вывод, к которому мы приходим, следующий: отношения обмена у истоков производства золота нужно рассматривать с двух сторон: под углом зрения производителя золота мы имеем здесь отношения простой меновой торговли, с точки же зрения производителя товаров, обменивающегося с золотопромышленником, здесь налицо несомненный акт обращения. Для золотопромышленника формула обмена его продукта является следовательно не $T-D$ и не $D-T$, а $3-T$. Наоборот для товаровладельца, вступающего в связь с производителем благородного металла, формула обмена будет та же, что и в любой другой сделке, т. е. $T-D$. Таким образом, частный в известном смысле характер труда золотопроизводителя не исключает того, что с точки зрения общественного воспроизводства его продукт является непосредственным представителем ценности, материальным воплощением абстрактного труда. Общее противоречие производства и обращения, противоречие двух мерил ценности (относительного—потребительная ценность получаемого в обмен товара и абсолютного—труд) разрешается, следовательно, оставаясь в то же время в снятом виде в форме двухстороннего рассмотрения продукта труда золотопромышленника со стороны самого производителя и со стороны общества.

В заключение нам представляется необходимым сделать еще одно замечание. Разобранные выше случаи так называемого перепроизвод-

ства или недопроизводства золота рассматривались нами абстрактно, при предположении, что одновременно не происходит флюктуации денег из сокровища в обращение или обратно, с соответствующими ей сдвигами в соотношении спроса и предложения и перемещениями уровня хозяйственного равновесия. Мы показали, что всеобщее повышение цен не является необходимой предпосылкой регулирования добычи золота и что не это изменение всеобщего уровня цен служит барьером, мешающим безграничному росту золотопромышленности. Из сказанного, однако, отнюдь не следует, что подобное повышение цен не имеет вовсе места в действительности. Наоборот, все изложенное во второй главе говорит о том, что подобные колебания цен не только возможны, но и необходимы.

Спрашивается, однако, в каком взаимном отношении находятся волны частичного повышения и понижения цен, идущие от золотопромышленности с аналогичными, но более значительными волнами, обусловленными изменениями общей конъюнктуры, движением конкуренции и т. д. Прежде всего было бы неправильно рассматривать их как два совершенно независимых и самостоятельных потока. Колебания золотопромышленности приобрели бы в таком случае совершенно случайный и произвольный характер. В действительности же между общей динамикой хозяйства и динамикой производства благородных металлов существует несомненно определенное отношение соподчинения. В первую очередь эта взаимозависимость особенно ярко обнаруживается в условиях капиталистического способа производства со свойственными последнему закономерностями циклического развития. Промышленный цикл с его фазами депрессии, подъема и кризиса, выражаясь в сопутствующих ему сдвигах уровня цен и распределения денег между сокровищем и обращением, оказывает, конечно, определенное влияние и на производство нового золота; так, стадия подъема, характеризующаяся повышением цен, стимулирует несомненно отлив капиталов из золотопромышленности, депрессия, наоборот, создает благоприятные условия для новых вложений в производство золота. Правда, решающим здесь является не изменение общей покупательной силы денег, а изменение цен в ближайших к золотопромышленности областях. Тем не менее, поскольку та же самая закономерность промышленного цикла определяет соотношение в росте отдельных отраслей, постольку она необходимо охватывает и золотопромышленность.

Не пускаясь в детальные исследования конкретных форм, в которые выражается взаимозависимость производства золота и других отраслей, отметим лишь следующие существенные моменты: 1) производство золота регулируется, как уже сказано, не общим движением цен, а изменением их в смежных отраслях, т. е. различная динамика отдельных отраслей, а не изменение общего «спроса» на деньги определяет размеры и динамику производства золотых рудников и 2) движение общего уровня цен не может быть выведено от простого отношения золотопромышленности ко всем другим отраслям хозяйства, как определяющего в каждый данный момент отношения.

Последнее замечание требует некоторых дополнений. Ошибочность рассмотрения золотопромышленности, как однородной со всеми остальными отраслями, и ее продукта, как подчиняющегося обычным законам товарного обращения, с исчерпывающей ясностью обнаруживается при анализе движения цен в ходе промышленного цикла. Из соотношения производства золота и производства всех прочих товаров абсолютно невозможно, например, объяснить катастрофическое падение цен в момент кризиса. Происходящее в этом случае конвульсивное сжатие денежного обращения помимо кредита мыслимо только благодаря наличию сокровища, как резервуара, куда притекают деньги при падении цен. Излишне, однако, доказывать, что флюктуация денег между сокровищем и обращением или совсем не зависит, или зависит в чрезвычайно незначительной степени от динамики золотопромышленности. Здесь действуют более существенные и более сложные закономерности, которые не имеют ничего общего с грубыми и примитивными представлениями количественников, согласно которым величина цены—это результат простого соотношения объема производства золота и товаров (при чисто металлическом обращении), ничего, кроме этого частного отношения золотопромышленности к совокупному товарному производству, не выражающий.

IV

Для более полного и отчетливого понимания теории денег Маркса мы считаем необходимым остановиться теперь на довольно распространенных в среде марксистов взглядах, являющихся по нашему мнению явным извращением марксова учения. Мы имеем в виду главным образом новейшие откровения наших русских марксистов—т. т. Трахтенберга и Лившица¹. Дело не в том, что они единственные. Без большого труда можно было бы показать, что непонимание самой сущности теории денег Маркса в той или другой мере свойственно многим весьма почтенным марксистским теоретикам, не говоря уже о бесчисленных авторах, бесчисленных начальных, кратких, элементарных и полных учебников политической экономии².

Мы выбираем работы т. т. Трахтенберга и Лившица, потому что они, во-первых, специально посвящены теории денег и, во-вторых, представляют собой не сумму разрозненных замечаний, а целую си-

¹ См. их работы. *Трахтенберг*, Бумажные деньги, 3-е изд.—и его же статью в журнале «Социалистическое хозяйство» за 1924 г. № 2: *Лившиц*, К постановке денежной проблемы, «Под знаменем марксизма», 1924 г., № 8—9.

² Недавно вышедший курс т. А. Копа не составляет исключения. Наоборот, в нем почти целиком воспроизводится без особой оригинальности вся концепция т. т. Трахтенберга и Лившица. Это тем более печально, что автор имел, повидимому, намерение дать действительно хороший и серьезный учебник. Отдавая должное скромности т. Копа, мы не можем иначе понимать ссылку его на недостаток учебной литературы по полит. экономии, как на причину, заставляющую его выпустить свою работу. Речь идет, очевидно, именно о серьезном учебнике, ибо вообще всевозможных курсов у нас имеется слишком достаточно. Что же делать, благими намерениями,—как говорят,—ад вымощен.

стему взглядов, составляющих определенную, последовательно проведенную и своеобразную интерпретацию учения Маркса о деньгах в целом.

В чем же суть взглядов гг. Трахтенберга и Лившица?

Мы не будем разбирать специально построения каждого из обоих авторов в отдельности. Они вместе образуют целое «направление», и именно как о направлении будет главным образом идти о них речь ниже.

Первое основное положение, которое выдвигают критикуемые авторы, сводится к отрицанию идентичности, равенства категорий покупательной силы и ценности денег. Тов. Лившиц на этот счет пишет следующее:

«Обычно понимают покупательную способность денег, как их ценность, аргументируя тем, что покупательная способность денежного знака дается его отношением к золоту. Но в данном случае упускается из виду, что это отношение к золоту выявляется механизмом спроса и предложения, благодаря чему покупательная способность денежного знака представляет ценность золота не механически, а органически—функционально, под влиянием действия соответствующих тенденций, т. е. так же, как цена товара вообще представляет его стоимость»¹.

Тов. Трахтенберг идет еще дальше, он превращает покупательную силу в особый вид ценности денег, расходящийся с ценностью денег, как мерила:

«Когда мы говорим о ценности денег вообще,—пишет он,—мы разумеем исполнителей всех свойственных деньгам функций. Но с другой стороны, так как возможны различные формы проявления денег, то можно и должно говорить о ценности различных этих форм. Можно говорить о ценности денег вообще, но можно и должно говорить также отдельно о ценности денег, как мерила ценностей, о ценности денег, как орудия обращения и т. д., и т. д.

Факторы, определяющие ценность денег, как мерила ценностей, не могут быть теми же, что и факторы, определяющие ценность денег, как орудия обращения и т. д., ибо хотя все это формы проявления одной и той же экономической категории—денег, но все же различные формы, в которых находят свое выражение различные и по своему содержанию, и по своему смыслу социальные отношения»².

В нашем предыдущем изложении мы достаточно определенно показали, что с марксистской точки зрения нельзя сводить ценность денег к их покупательной силе. В данном утверждении, взятом само по себе, мы не находим, следовательно, оснований для расхождения с гг. Трахтенбергом и Лившицем. То, что ценность денег и их покупательная сила—категории не только качественно различные, но и количественно не совпадающие друг с другом, об этом не может быть спора.

Существеннейшее значение имеет, однако, вопрос о понимании этой покупательной силы, об оценке ее роли в развитии категорий

¹ Лившиц. Цитир. статья, стр. 232.

² Бумажные деньги, стр. 90—91.

марксовой политической экономии и в движении реального хозяйственного процесса. И именно здесь начинаются наши разногласия. Прежде всего, согласно утверждениям разбираемых авторов, покупательная сила, или по Трахтенбергу ценность денег, в процессе обращения является категорией аналогичной цене товара, т. е. должна, повидимому, представлять собой превращенную форму трудовой ценности золота. В приведенной выше цитате т. Лившиц прямо указывает на спрос и предложение, как на факторы, действующие по отношению к золоту так же, как и по отношению ко всякому другому товару. В другом месте он повторяет то же утверждение еще более категорично.

«Как вообще в процессе обращения формой проявления ценности является цена (денежное выражение стоимости товара), так и в отношении денег в роли орудия обращения конструируется категория, экономически аналогичная цене—знак ценности («товарное выражение стоимости денег»). И именно поэтому сумма этих «товарных цен денег», т. е. орудий обращения, должна быть равна сумме стоимости, т. е. сумме золота, необходимого в качестве измерителя стоимости всего товарного обращения, принимая быстроту обращения за единицу, и именно поэтому ценность всех циркулирующих бумажных денег равна ценности того количества золота, которое они замещают, «товарная же цена» каждой единицы этих орудий обращения будет колебаться под влиянием соотношения между спросом на них («ценность обращения») и их предложением»¹.

Дело не ограничивается, однако, бумажными деньгами. Те же самые закономерности обнаруживаются, по мнению тов. Лившица, и при чисто металлическом обращении.

«Поскольку мы под категорией цены понимаем функцию двух аргументов: стоимости и соотношения спроса и предложения, постольку так же как курс денег (вексельный курс), так и покупательная способность каждой денежной единицы должно рассматривать как категорию цены денег...

Это явление (расхождение цены и ценности денег—В. Б.) может иметь место не только в отношении бумажных денег, но и золотых монет. Возможно отклонение, хотя бы и временное, покупательной силы золотых монет (под влиянием изменения их количества в обращении) от их стоимости, как мерила, в результате чего происходит перелив золотых монет в слитки и обратно (при свободной чеканке), подтверждающий необходимость разграничения этих двух понятий стоимости денег и покупательной способности каждого денежного знака»².

Примерно аналогичную аргументацию развивает и тов. Трахтенберг, полемизируя с А. Соколовым; он в своей статье пишет:

«Относительно же превышения покупательной силы над ценой (?) денежного материала ограничимся только указанием на то, что цена вообще может превышать ценность»³.

¹ Цит. статья, стр. 233.

² Цит. статья, стр. 334.

³ «Соц. хоз.» № 2, стр. 66.

Смысл этого утверждения, по сути дела, тот же, что и соответствующих высказываний тов. Лившица. Денежный материал так же, как и всякий другой товар, может, по мнению т. Трахтенберга, отклоняться в своей цене от ценности и это для него сильнейший аргумент в защиту марксовой теории денег.

Для большего уяснения точки зрения тов. Трахтенберга приведем еще одну довольно пространную цитату:

«Вся циркулирующая масса орудий обращения является представителем того количества золота-денег, которое соответствует в каждый данный момент требованиям товарооборота; ценность же этого количества определяет ценность всей массы циркулирующих орудий обмена. Если количество фактически обращающихся денежных знаков совпадает с количеством необходимых обороту единиц денег, ценность каждой единицы орудия обращения будет равна ценности денежной единицы; если же этого совпадения нет, ценность первой неизбежно будет отклоняться от ценности второй.

Совпадение обоих количеств необходимо только в случаях золотого обращения со свободной чеканкой металла... Количество орудий обращения в этом случае совпадает с количеством вызываемым потребностями оборота денег, и, следовательно, в этом случае ценность единицы орудия обращения и единицы мерил ценностей совпадают не только по своему наименованию, но и по своей ценности.

Впрочем надо заметить, что и это совпадение является только тенденцией, в тот же или иной момент оно может и не наблюдаться. И при свободной чеканке возможны случаи, когда денежных знаков выпущено меньше, чем это требует товарооборот. В этом случае ценность денежных знаков обнаружит тенденцию к повышению, сравнительно с ценностью единицы мерил ценностей, т. е. и золото в монете будет расцениваться выше того же количества золота в слитках. Это обстоятельство вызовет приток металла на монетный двор, пока ценность денежного знака сравняется с ценностью заключенного в нем металла, т. е. ценность орудия обращения сравняется с ценностью мерил ценностей... Таким образом, при свободной чеканке металла возможно отклонение ценности единицы орудия обращения от ценности единицы мерил ценностей, но общим правилом является их равенство, отклонение же является исключением»¹.

Мы не собираемся давать подробную критику изложенной точки зрения, для этого нам пришлось бы повторить все сказанное раньше относительно покупательной силы и ее роли как в отношении регулирования общехозяйственного процесса, так и в отношении механизма воспроизводства самого золота. Подобная критика имела бы весьма малый смысл еще и потому, что наше предыдущее изложение в значительной своей части было направлено и заострено именно против построений тт. Трахтенберга и Лившица.

В силу сказанного нам представляется необходимым лишь более точно сформулировать пункты нашего расхождения с указанными то-

¹ Трахтенберг. Цитир. статья; стр. 71—72.

варищами и проследить те выводы, которые логически вытекают из их концепции.

Прежде всего в противоположность нашей точке зрения, критикуемые авторы в факте расхождения покупательной силы и ценности денег видят не результат действия специфических закономерностей совокупного воспроизводственного процесса, выражающегося в своеобразном движении спроса и предложения на товары, а простое следствие изменения количества денег, причем это в одинаковой мере относится и к бумажным деньгам, и к металлическим. Что касается последнего пункта, то здесь нужно заметить, что указания наших противников на случайный и временный характер расхождения ценности денег и их покупательной силы при золотой валюте с открытой чеканкой лишены собственно всякого принципиального значения. Действительно, если величина «предложения» денег не регулируется автоматически товарооборотом, то, совершенно очевидно, колебание их покупательной способности будет постоянным явлением. Наличие золотого обращения послужит в данном случае лишь основанием для меньшего размаха этих колебаний. Но заключать отсюда, что ценность денег, как правило, совпадает с их «ценой» так же не логично, как, например, утверждать, что товары почти всегда, за редкими исключениями, продаются по ценности, ибо колебания цен в какую-либо одну сторону необходимо приводят к изменениям пропорций производства и к падению цен, если они ранее превышали ценности, или к их повышению, если они стояли ниже ценности.

Самым существенным в построениях тт. Трахтенберга и Лившица остается утверждение о том, что изменение покупательной силы или ценности денег в обращении обусловлено нарушением общественно необходимого минимума средств обращения. Именно это утверждение представляется нам заслуживающим наибольшей критики, как сдача основной позиции марксистской теории и капитуляция перед количественниками. Мы снова повторяем, что самый факт колебаний покупательной силы совершенно бесспорен. Дискуссионным же является вопрос об их причинах. Выше мы объясняли расхождение покупательной силы и ценности денег внутренней механикой воспроизводственного процесса, расхождением общей суммы спроса на товары с их предложением, которое никакого отношения к количеству денег не имеет и предполагает в качестве общего регулятора именно абсолютную ценность денег, как реально проявляющуюся в конкретном образовании цен. Критикуемые же товарищи, напротив, предполагают повидимому, что с точки зрения процесса воспроизводства случаи несовпадения покупательной силы с ценностью совсем не являются необходимыми и что объяснены они могут быть только усиленным предложением денег, увеличением их количества, каковое представляется по отношению к имманентной закономерности воспроизводства независимым внешним фактором. С нашей точки зрения и, смеем надеяться, с точки зрения Маркса, падение или повышение покупательной силы при неизменной ценности денег вызывается специфическими законами конкуренции и имеет своим результатом увеличение

или сокращение количества обращающихся денег, которое тем не менее всегда строго соответствует при золотой валюте потребностям товарооборота. По мнению же наших противников, наоборот, изменение количества обращающихся денег определяется причинами, лежащими на стороне самих денег, и является не результатом, а предпосылкой образования единичных цен.

Излишне доказывать, что подобное понимание имеет значительно больше общего с количественной теорией, чем с марксизмом. Достаточно для этого напомнить многочисленные и настойчивые указания Маркса на то, что количество орудий обращения определяется непосредственно ценами товаров, а поэтому «цены выскоки или низки не потому, что в обращении большее или меньшее количество денег, а наоборот, в обращении находится больше или меньше денег потому, что цены выше или ниже» («К критике», 112).

Не спасает наших противников между прочим и ссылка на сокровище, которое они признают и которое не признают количественники. Подробно о соотношении отдельных функций денег мы будем говорить ниже, сейчас же отметим, что в концепции тт. Трахтенберга и Лившица сокровище по сути дела является совершенно неопределенной категорией, поскольку флюктуация денег из сокровища в обращение и обратно лишена у них какой-либо экономической детерминации. Действительно, если деньги могут самопроизвольно входить в обращение и выходить из него, то почему в обращение не вовлекается все количество денег, имеющееся в данном народном хозяйстве, — иначе говоря, чем определяется пропорция, в которой деньги распадаются на сокровище и обращение в каждый данный момент.

У критикуемых авторов имеется, правда, попытка объяснить флюктуацию необходимостью поддержания, хотя бы и через последовательные колебания, равенства покупательной силы и ценности денег. Однако, допуская даже, что изобретенный тт. Трахтенбергом и Лившицем механизм может выполнить приписываемые ему функции, неверно представлять себе сокровище исключительно как вспомогательный инструмент денежного обращения. Сокровище прежде всего форма сохранения ценности товара в ее золотой оболочке, оно является определенным звеном всего механизма воспроизводства. Но именно этой-то связи между сокровищем и общим движением хозяйственного процесса не понимают критикуемые авторы, вследствие чего сокровище у них оказывается какой-то пустой дырой, куда время от времени скрываются деньги, панически бегущие из обращения вследствие понижения покупательной силы.

Еще более отчетливо отрыв и обособление внутренних закономерностей денежного обращения от общих законов, регулирующих процесс воспроизводства, обнаруживается в следующем отрывке из статьи т. Лившица:

«Против приравнивания покупательной силы денег к категории цены было выставлено то возражение, что в нашем построении неправомерно дважды использован механизм спроса и предложения, кото-

рый уже оказал свое влияние на уровень цен товаров при взаимодействии их ценности с ценностью денежного материала. Но это возражение отпадает, если мы примем во внимание, что на уровень цен товаров оказало свое воздействие соотношение между предложением каждого данного товарного вида и спросом на него со стороны тех отраслей производства, которые являются его потребителями, в то время как соотношение между спросом и предложением на деньги означает соотношение между ценностью всего товарного мира (принимая скорость обращения за единицу) и предложением орудий обращения»¹.

Приведенная цитата самым наглядным образом демонстрирует чисто количественный характер построений т. Лившица. Уравнение товарной кучи и золотой горы, как самостоятельное уравнение, предлагается нам в качестве последнего слова марксистской науки. При таком пассаже остается лишь предположить, что у т. Лившица абсолютно отсутствует чувство юмора.

Не выдерживает далее никакой критики усиленное подчеркивание того обстоятельства, что в данном случае речь идет о соотношении «между ценностью всего товарного мира и предложением орудий обращения», а не просто о массе товаров и массе денег. В самом деле, хорошо известно, что и Гильфердинг в своей теории денег выводит ценность обращающихся денег не из товаров, самих по себе, а из их совокупной ценности. Тем не менее т. Лившиц критикует Гильфердинга, как несомненного ревизиониста. Чтобы говорить о ценности товаров как о данной величине необходимо предположить, что таковая уже выражена в деньгах, следовательно, ни в какое новое уравнение с деньгами вступить не может. У товарища же Лившица получается, что, с одной стороны, товары, каждый в отдельности, вступают в уравнение с конкретным спросом на них, а с другой стороны, все товары en masse приравниваются деньгам, причем оба уравнения даны, как самостоятельные отношения. Подобная точка зрения отличается от количественной теории только своей непоследовательностью и путанностью.

Подойдем, однако, к вопросу несколько конкретней. Спрашивается прежде всего, если изменение покупательной силы денег, т. е. повышение или понижение цен, является всегда результатом специфического сочетания спроса и предложения на деньги, то каким образом возможно общее расхождение суммы спроса и суммы предложения по отношению к товарам? Действительно, если спрос и предложение товаров не всегда равны между собой, то очевидно сумма цен этих товаров будет, в силу именно этого и никакого иного обстоятельства, расходиться с суммой ценностей. Для особого уравнения спроса и предложения на деньги и для четырех факторов, определяющих по т. Лившицу величину цены, при таких условиях места не останется. Если же тем не менее уравнение спроса и предложения по отношению к деньгам выделяется, как самостоятельное уравнение, то очевидно спрос и предложение на товары оказываются всегда равными между собой,

¹ Лившиц. Цит. статья, стр. 233.

т. е. предложение во всех случаях имеет на другой стороне спрос, купля всегда равна продаже, словом Маркс совершенно напрасно полемизировал, и к тому же весьма несдержанно полемизировал, на этот счет с Сэем, Миллем и другими.

Принятие последнего положения, а оно фактически принимается и т. Трахтенбергом, и т. Лившицем, поскольку они оба в факте расхождения покупательной силы с ценностью видят следствие усиленного или ослабленного предложения денег, неизбежно выхолащивает реальное содержание закономерности воспроизводственного процесса и делает совершенно непонятными и необъяснимыми такие всеобщие и резкие сдвиги в капиталистическом производстве, как, например, кризисы, ибо последние никогда не могут возникнуть при равенстве спроса и предложения.

Конечным звеном, логически завершающим всю аргументацию (мы имеем, конечно, в виду внутреннюю логику, а не словесный ход рассуждений) тт. Трахтенберга и Лившица, является фактическое отрицание ими за абсолютной ценностью золота функции мерил ценности. Как исходный пункт доказательства этого положения возьмем следующее место из статьи т. Лившица:

«Невозможность ни на один момент существования менового хозяйства без наличия действительного мерил стоимости вытекает из следующего: если, как указано выше, при помощи мерил стоимости выявляется степень соответствия в распределении общественного труда между различными отраслями производства, то, следовательно, оно должно явиться и измерителем отклонений от этого соответствия, т. е. от равновесия, так как разность между рыночной ценой и стоимостью есть выражение разности между количеством общественного труда, подлежащего затрате в данной отрасли, и количеством действительно затраченного, а эта разность, постоянно изменяющаяся, может быть установлена лишь при наличии постоянного измерителя стоимости»¹.

Сверх обыкновения, мы целиком согласны в этом пункте с товарищем Лившицем. С особенным удовлетворением мы отмечаем, что т. Лившиц под функцией денег, как мерил ценностей, понимает и их функцию измерения отклонения от ценности, от пропорционального распределения труда. Все это, конечно, совершенно правильно и бесспорно.

Но каким образом мерило ценности может измерять отклонения от необходимых пропорций производства в отдельных отраслях?

Очевидно через изменение величины цены каждого конкретного товара, ибо именно эта цена и выражает собой отношение товара к деньгам². Иного пути нет. Как же, однако, конкретная денежная

¹ Цит. статья, стр. 230.

² Речь идет в тексте, само собой разумеется о золотой цене. Колебание цен, выраженных в бумажных деньгах, не имеет, понятно того же значения. Однако, и при бумажно-денежном обращении регулятором оказывается та же золотая цена, поскольку в каждый данный момент реально существует определенное приравнение бумажных денег металлическим. Цена и здесь остается реальной и «видимой»

цена может служить выражением отклонений от уровня равновесия в том случае, когда исходным уровнем для образования единичных цен, а, следовательно, и выражением уровня равновесия в каждый данный момент является не ценность золота, а его «цена». Ведь совершенно очевидно, что если произвольное увеличение количества орудий обращения, допускаемое критикуемыми авторами, влияет на образование уровня цен и ведет в одних случаях к более или менее всеобщему его повышению, в других к равному же понижению при неизменной ценности золота, то цена каждого товара ставится тем самым в прямую зависимость не от ценности денег, а от их количества. Между ценностью денег и ценностью товаров вклинивается, таким образом, новый элемент, дающий искривленную проекцию всей системы распределения труда на плоскость меновых соотношений. Повышение цены индивидуального товара может явиться при таких условиях не результатом нарушения пропорций воспроизводства, а простым следствием притока дополнительных денег в обращение, никакими внутренними закономерностями воспроизводства не обусловленного.

Само собой разумеющимся выводом отсюда является замена денежной цены в ее роли выразителя отклонений от ценности другой, товарной ценой. Но вместе с тем, товарная масса превращается в товарную кашу, в лишенную ценностной формы массу разнородных и несравнимых потребительных ценностей. От этого вывода тт. Трахтенберг и Лившиц не смогли бы уйти никаким образом, если бы они последовательно развивали свою концепцию. К сожалению последовательность не принадлежит к числу их научных добродетелей.

Итак, исходя из правильного положения о необходимости расхождения покупательной силы и ценности денег, критикуемые авторы не поняли и не объяснили того значения, которое данное расхождение имеет в свете общей теории Маркса. Приписывая покупательной силе совершенно несвойственную ей роль в обращении денег, рассматривая эту покупательную силу как превращенную форму ценности золота и наделяя последнее ценой (под разными псевдонимами), они пришли к ревизии самих основ марксова учения о деньгах и о ценности.

Объективным результатом, к которому приводит вся аргументация тт. Трахтенберга и Лившица, является разрыв производства и обращения, разрыв цены и ценности, при котором первая получает самостоятельное и независимое движение. Единство товара и денег, как двух полюсов, между которыми движется ценность, превращается тем самым в абсолютную и непримиримую их противоположность, как совершенно чуждых и обособленных категорий. Конечно, критикуемые товарищи всячески стараются избежать прямого признания данной метафизической трактовки взаимоотношения товара и денег,

величиной, хотя ее определение и включает посредствующее звено—обмен бумажных денег на золото, который бывает необходим, например, при накоплении ценностей. Если же подобного приравнивания не происходит, если золото совершенно исчезает с валютного рынка, то оно вообще перестает быть мерилом ценности и должно быть заменено каким-либо другим товаром, не только воображаемым и мыслимым, но и имеющимся в реальной действительности в сфере рынка.

особенно ярко проявляющейся в фактическом признании ими независимости конкретных цен от мерила ценностей, но все их попытки в этом направлении ведут лишь к тому, что вместо разрыва товара и денег мы получаем отрыв отдельных функций денег друг от друга, о чем речь будет еще итти ниже.

Сейчас для нас представляется особенно интересным найти логический корень ошибок тт. Трахтенберга и Лившица. Этот корень, по нашему мнению, заключается в непонимании диалектического развития категории марксовой политической экономии, в непонимании того, что ценность в своем развитии не останавливается на товаре, а необходимо включает деньги в качестве последнего заключительного звена. Основным органическим пороком теоретических построений наших противников является забвение того, что «трудность состоит не в том, чтобы понять, что деньги—товар, а в том, чтобы выяснить, как и почему товар становится деньгами» («Капитал», т. I, стр. 50).

С точки зрения Маркса недостаточно показать, что деньги должны быть товаром, чем исключительно ограничивается, например, т. Трахтенберг в своей критике количественников, необходимо выяснить одновременно специфическую роль денег и их отличие от простого товара. Это основное требование, предъявляемое Марксом к теории денег и блестяще им выполненное в трактовке денег, как непосредственного бытия ценности, не понято и не усвоено критикуемыми авторами. Их исходное положение—отождествление денег с простым товаром, навязывание деньгам необходимых метаморфоз превращения ценности, которые должен проделать всякий товар, проходящий через сферу обращения—основано на игнорировании того, что деньги, в отличие от простого товара, являются непосредственным представителем абстрактного труда, следовательно, в подобных превращениях формы не нуждаются. Если мы вспомним далее, что Маркс объяснял ошибки Рикардо в теории денег его непониманием специфического характера абстрактного труда, то совершенно очевидно, что и обратно неправильная интерпретация сущности денег неизбежно должна привести наших противников к ошибочной трактовке абстрактного труда. Поскольку они не видят в деньгах высшей ступени развития категории ценности, постольку эта ценность и создающий ее труд остаются незаконченными и незавершенными в их развитии.

Между прочим общая концепция тт. Трахтенберга и Лившица вообще чрезвычайно близко сходится с теорией денег Рикардо, ибо именно Рикардо не видел, на что как раз и указывает Маркс, различия между товаром и деньгами. Идеологическое родство наших противников с Рикардо подтверждается кроме того еще более ярко тем фактом, что как Рикардо, так и наши марксистские теоретики неорикардианского толка вместе проделывают путь от трудовой теории ценности к количественникам. Правда, Рикардо прямо формулирует свои выводы в духе количественной теории, наши же противники, давая в основном те же определения, что и количественники, прикрыв-

вают их марксистской фразеологией. Однако подобный прогресс за столетний период развития экономической мысли никак не может быть признан достаточным.

* * *

Прежде чем перейти к вопросу о соотношении отдельных функций денег, мы разберем еще одно общеметодологическое положение, выдвигаемое критикуемыми авторами. Это положение сводится к тому, что поскольку Маркс в своем анализе исходил из состояния равновесия, предполагая, что ценность всегда совпадает с ценой, постольку установленные им закономерности относятся без ограничения лишь к этому состоянию равновесия, по отношению же к случаям нарушенного равновесия они должны быть соответственно модифицированы и видоизменены.

В применении к непосредственно интересующему нас вопросу это означает, что совпадение количества орудий обращения с потребностью товарооборота имеет место только в состоянии равновесия всего хозяйства, в случаях же нарушения такового между обеими величинами необходимо образуется диспропорция, которая выражается в отклонении покупательной силы денег от их ценности, в изменении уровня цен и т. д. Элементы подобного толкования марксовой теории денег имеются и у т. Трахтенберга, и у т. Лившица, и у многих других сторонников того же направления. Совершенно категорически высказывания Маркса в «Капитале» и в «Критике», относительно автоматичности движения денег между сокровищем и обращением и о постоянном совпадении количества орудий обращения с потребностью в них, указанные авторы склонны объяснять исключительно тем, что и в «Капитале», и в «Критике» Маркс исходит из предположения, что все товары также продаются по ценности.

Если бы Маркс ввел в анализ конкретную цену, постоянно отклоняющуюся от ценности, — говорят они, — то он необходимо произвел бы соответствующую модификацию и на стороне денег, причем состояние нормальной «загрузки» каналов обращения деньгами явилось бы лишь идеальным случаем, к которому только в тенденции стремится денежное обращение.

Против подобной точки зрения нужно в первую очередь возразить, что неверно, будто бы Маркс в главах, посвященных деньгам, говорит только о состоянии равновесия, исключая колебания цен вокруг ценности. И в «Капитале» и в «Критике» параллельно с анализом денег идет речь о цене, причем цену Маркс рассматривает, как форму движения ценности, т. е. им предполагается не только случай количественного совпадения первой со второй, но и их расхождение.

«Величина стоимости товара, — говорит Маркс, — выражает таким образом необходимое, имманентное данному процессу созидания товара отношение его к общественному рабочему времени. С превращением величины стоимости в цену это необходимое отношение проявляется, как меновое отношение данного товара к находящемуся вне его денежному товару. Но в этом меновом отношении может выразиться

как величина стоимости, так и тот плюс или минус по сравнению с ней, которым сопровождается отчуждение товара при данных условиях. Следовательно возможность количественного несовпадения между ценой и величиной стоимости или возможность отклонения цены от величины стоимости заключена уже в самой форме цены»¹.

В «Критике» Маркс пишет:

«Количество золота, на которое обменивается товар, в процессе обращения определяется не этим обменом, но напротив, этот обмен обуславливается ценой товара, т. е. его меновой ценностью, выраженной в золоте», — и делает к этому месту следующее примечание:

«Конечно, это не мешает тому, чтобы рыночная цена товаров стояла выше или ниже их ценности»².

Таким образом Маркс и для случаев нарушенного равновесия совершенно определенно признает необходимым сохранение того же механизма денежного обращения, который действует при совпадении цены с ценностью; и там и здесь не количество обращающихся денег определяет цену, а, наоборот, цена и ее движение являются фактором обуславливающим, лимитирующим размеры денежного обращения.

Если мы вспомним далее с какой иронией Маркс вообще относился к экономистам, оперирующим при объяснении случаев нарушения хозяйственного равновесия, напр., кризисов, с понятиями избытка и недостатка денег, доказывая одновременно теоретическую бессодержательность и обывательскую сущность их воззрений³, то нетрудно будет убедиться в том, как мало общего с марксизмом имеет утверждение критикуемых авторов о возможности излишнего переполнения или обратного недостаточного насыщения каналов обращения при нарушенном равновесии.

Помимо всего сказанного необходимо, однако, отметить, что, если бы мы даже не имели прямых указаний Маркса на сохранение автоматического характера движения денег между сокровищем и обращением при нарушенном равновесии, даже в этом случае предлагаемая интерпретация марксовой теории логически насковозь противоречива и не выдерживает ни малейшей критики. В самом деле, в своем изложении Маркс не только устанавливает факт совпадения количества орудий обращения с размерами товарооборота, но одновременно бесконечное множество раз подчеркивает специфические причины, обуславливающие это совпадение, а именно, зависимость денег в их функции орудия обращения от ранее определенных и вне их воздействия установленных цен. Для Маркса решающее значение имело, следовательно, не только указанное совпадение, но и выражающаяся в нем закономерность денежного обращения.

¹ Капитал, т. I, стр. 57.

² К критике, стр. 99.

³ «Обыденное представление, замечая, что с замедлением денежного оборота деньги все реже появляются и исчезают во всех пунктах периферии обращения, естественно приходит к выводу, что самый этот факт объясняется недостаточным количеством средств обращения» (Капитал, I, стр. 72).

Отсюда вытекает, что становясь на точку зрения наших противников, мы должны для случаев нарушенного равновесия сконструировать специальный механизм регулирования денежного обращения, отличный от механизма, действующего при наличии общехозяйственного равновесия. Однако подобное двойное экономическое законов, с одной стороны, по своему содержанию совершенно иррационально, а с другой, методологически недопустимо. Что касается первого, то теоретически предполагая, что хозяйство последовательно проходит состояния равновесия и его нарушения, мы не сможем вообще выделить в ходе этого движения момент действия специфических законов равновесия. Флюктуация денег в ее экономической обусловленности, сама по себе, предполагает два смежных отрезка времени и ни к одному из них приноровлена быть не может. Допустим, что хозяйство, находящееся в некоторый данный момент в состоянии нарушенного равновесия, затем достигает требуемой пропорциональности всех своих частей. Необходимым спутником этого процесса явится, очевидно, движение денег из сокровища в обращение или обратно. Но спрашивается в таком случае, какой механизм будет управлять этой флюктуацией? Почему в обращении не войдет денег больше или меньше, чем нужно, как это происходит в любой другой момент?

Исходя из существования специфического механизма регулирования денежного обращения, как он мыслится гг. Трахтенбергу и Лившицу, совершенно необходимо притти к тому выводу, что общехозяйственное равновесие будет налицо лишь тогда, когда оно совпадет с прекращением колебательных движений самих денег, с установлением нормального соотношения в их распределении между сокровищем и обращением. Поскольку флюктуация денег представляется им самостоятельным процессом, а не частью общего движения воспроизводственного процесса, постольку иной вывод невозможен. Но тогда, очевидно, состояние равновесия и совпадение количества орудий обращения с размерами товарооборота само явится результатом движения денег, определяющим фактором, и здесь окажется их количество, хотя и ставшее в данном случае нормальным, но именно в этом «становлении» зависящее от собственной закономерности денежного обращения. Иного ответа на сформулированный выше вопрос мы себе не мыслим, исходя из концепции гг. Трахтенберга и Лившица. Однако этот ответ сводится непосредственно к отрицанию автоматического регулирования денежного обращения как при нарушении равновесия, так и при наличии такового, т. е. означает полный отказ от установленных Марксом законов движения денег. Реально представить себе двойкую закономерность, различно проявляющуюся в различных стадиях воспроизводства, оказывается, таким образом, совершенно невозможным. Остается или признать автоматический характер флюктуации, полную зависимость ее от движения цен на всех этапах хозяйственного процесса, или, наоборот, исходить из самостоятельного влияния количества обращающихся денег на величину цен, но в таком случае объявить и равновесие результатом изменения количества денег, как основного фактора, лежащего на стороне денег.

Вместе с тем удвоение экономических законов и с общеметодологической стороны общего с марксизмом не имеет. Действительно, марксизм рассматривает равновесие, как момент движения (Энгельс), иначе говоря, факторы, действующие в любой момент, берутся в том положении, когда они приходят в некоторое взаимное уравнение, не уничтожаясь однако сами по себе. С этой точки зрения равновесие является своего рода моделью, фотографией воспроизводственного процесса в его целом со всеми свойственными ему закономерностями. Цена, совпадающая, например, с ценностью при наличии общехозяйственного равновесия, оказывается тем не менее отличной от нее категорией, включающей в себе возможность отклонения. Далее то же состояние равновесия предполагает, а не исключает спрос и предложение, которые хотя и даны в своем равенстве, но пропускают последующее неравенство. Равновесие включает, следовательно, и цену, и спрос, и предложение, и прочие факторы, действующие в реальном движении воспроизводства. Последнее не вносит, таким образом, каких-либо новых, совершенно не свойственных равновесию, элементов, которые не были, хотя бы в потенции, заключены уже в самом этом равновесии.

Плодотворность и теоретическая ценность марксовской абстракции в том и выражается, что гипотетически сконструированное им соотношение экономических факторов даст нам ключ к пониманию законов реальной хозяйственной жизни.

Критикуемые же авторы, приписывая нарушенному равновесию собственные закономерности, не вытекающие из равновесия и принципиально им исключаемые, самым вопиющим образом извращают роль и значение марксовской абстракции, сводят их к произвольной и по сути дела бесплодной игре фантазии.

V.

Нашей последней задачей является рассмотрение взаимоотношения отдельных функций денег. Критикуемая нами интерпретация марксовской теории дает следующее освещение этого вопроса: различные функции денег выражают собой, по мнению Трахтенберга, различные производственные отношения, различные виды связей между производителями. Отсюда для денег в каждой функции вытекает их относительная самостоятельность. Деньги в каждой из определенных форм (Formbestimmtheiten) выражают собой различные закономерности товарного хозяйства. Единство же денежной формы, как таковой, дается качественным единством денег во всех функциях, их единством, в качестве представителя абстрактного труда¹.

Приведенные определения обще-методологического порядка не следует однако делать непосредственным объектом критики, хотя они таковую уже в данной форме вполне заслуживают, например, в понимании единства денег, как только качественного единства.

¹ См. Трахтенберг, стр. 86—90.

Подобные рассуждения в нашей современной марксистской литературе являются своего рода признаком хорошего научного тона, и вместе с тем, в большинстве случаев, представляют собой простую дань порока добродетели. Мы перейдем поэтому прямо к положительному изложению тт. Трахтенбергом и Лившицем вопроса о взаимосвязи и зависимости отдельных функций денег. За основу мы возьмем т. Трахтенберга, так как его взгляды изложены более последовательно и полно. Прежде всего, согласно построению т. Трахтенберга, деньги в каждой из своих функций имеют, как уже было отмечено выше, свою собственную ценность. Так, в функции мерила ценности и сокровища, мы имеем ценность, определяемую товарной природой денег¹, что касается орудия обращения, то ценность денег в этой функции зависит от их собственного количества. Эти различные ценности являются, следовательно, не только особыми определенностями форм, но и количественно не совпадающими величинами. Правда, в конечном счете они тяготеют друг к другу, имеют тенденцию постоянно выравниваться. Но для выравнивания обнаруживающихся неравенств оказывается необходимым специальный механизм, который действует таким образом, что при превышении ценности денег в сокровище над деньгами в обращении усиливается чеканка новых монет и размеры сокровища снижаются; напротив, при падении ценности денег в обращении наступает отлив их в сокровище. Таким образом регулирование общего движения денег осуществляется только благодаря реально обнаруживающейся разнице в их ценности. Специально по отношению к деньгам, находящимся в обращении, тт. Трахтенбергом и Лившицем выставляется положение, согласно которому общее количество обращающихся денег как металлических, так и бумажных имеет некоторую общую ценность, определяемую золотом в количестве мерила ценности, но каждая отдельная денежная единица получает свою ценность от деления общей ценности представляемой на их количество. Таков в наиболее схематических чертах интересующий нас ход мыслей т. Трахтенберга и др.

Настоящая концепция настолько противоречива в своих основных изложениях, что, приступая к ее критике, не знаешь даже с какого конца следует начать. Попробуем, однако, разобраться сначала во взаимоотношениях функций мерила ценности и орудия обращения. Здесь прежде всего возникает следующий недоуменный вопрос: если металлические полноценные деньги, находясь в обращении, подчиняются общим законам, действующим в условиях бумажно-денежного обращения, то какая вообще существует принципиальная разница между устойчивой и неустойчивой валютой. В самом деле, с одной стороны, и при инфляции мерилем ценности остается, как известно, золото, с другой стороны, и в условиях металлического обращения ценность отдельной денежной единицы не зависит от ее собственной ценности, а опре-

¹ На вопрос—«чем же определяется ценность денег, как мерила ценностей, или ценность денег, как средства сохранения ценностей»,—ответ может быть дан только один: «ценность их определяется ценностью заключенного в них материала». Бумажные деньги, стр. 32—3. Курсив Трахтенберга.

деляется через деление совокупности ценности обращающихся денег на их количество. Оба признака, характеризующие деньги в их движении, в одинаковой степени присущи и устойчивой, и падающей валюте. Решающий момент, действительно определяющий устойчивость денежной системы, а именно размен бумажных денег по их номиналу на золото, перестает быть значимым, ибо по отношению к идеальному золоту, служащему мерилom ценности, обращающиеся золотые деньги могут обесцениться в одинаковой степени с бумажными. Принципиально не меняет дело и то обстоятельство, что расхождение ценности обращающихся металлических денег с ценностью мерилa, в качестве которого выступает идеальное золото, является сравнительно незначительным. Для нас не важна в данном случае степень расхождения ценности денег в их различных функциях, существеннейшее значение имеет тот факт, что это расхождение является следствием специфических законов обращения, которые, якобы, самостоятельно определяют ценность каждой денежной единицы. Заметим, кстати, что в этом пункте т. Лившиц и т. Трахтенберг вполне солидарны друг с другом. Правда, т. Лившиц, вместо ценности денег в обращении, говорит о покупательной силе денежного знака, тем не менее законы, определяющие величины той и другой, мыслятся ими совершенно одинаково. Как с точки зрения т. Трахтенберга, так и с точки зрения т. Лившица, не существует никакого принципиального различия между металлической и бумажной валютой.

В чем же их ошибка по существу?

В основном она сводится к тому, что золото, как мерилo ценности, изымается из реального процесса образования цены и становится потусторонней категорией по отношению к действующему движению товарных ценностей.

Это обнаруживается в первую очередь в утверждении критикуемых авторов о том, что цены зависят от количества обращающихся денег. Можно было бы привести бесчисленное множество цитат, свидетельствующих о том, что по Марксу определение цены и именно конкретной цены, по которой отчуждается товар, предшествует акту действительного обмена товара на золото, что цена относительна, следовательно, деньгам не в их функции орудия обращения, а в их роли мерилa ценности. Только этот смысл может вообще иметь положение Маркса о том, что товары вступают в обращение уже с ценой. Это основа марксовской теории денег, и здесь нельзя толковать Маркса в том смысле, что он говорит лишь о состоянии равновесия. Мы уже приводили выше цитату из «Критики», где Маркс пишет, что расхождение рыночной цены с ценностью не мешает тому, что «количество золота, на которое обменивается товар в процессе обращения, определяется не этим обменом, но, напротив, этот обмен обуславливается ценой товара, то есть его меновой ценностью, выраженной в золоте».

Функция мерилa ценности связана, таким образом, с реальным движением товаров в процессе обращения, именно тем, что она устанавливает конкретные пропорции, в которых товар обменивается на золото. Кроме того, подходя к вопросу о мериле ценности с точки зрения

его регулирующей роли в процессе воспроизводства, мы не можем представить себе, как золото будет выполнять эту роль, если конкретные меновые отношения, иначе говоря—цена, то есть материальное выражение акта общественной оценки индивидуального товара, не обуславливается непосредственно мерилom ценности. Последнее целиком превращается тогда в какую-то трансцендентную категорию, не находящую себе материального воплощения в мире вещей. Правда, у Маркса функция мерилa ценности так же идеальна, но у него она, повторяем, предвосхищает и определяет последующее реальное отношение обмена, у наших же противников за «словом» не следует «дело». «Реальная» цена получает самостоятельную форму движения, отличную от движения «идеальной» цены. Но какое значение имеет тогда эта самая идеальная цена и вместе с ней функция мерилa ценности, если она не выявляется в действительном процессе рыночного ценообразования, если между миром действительности и миром идей не существует никакого моста. Для отдельного товаровладельца исключается тем самым всякая возможность сведения конкретного количества ценностей, полученных им в форме денег, к идеальному золоту¹. Деньги становятся для него в таком случае лишь определенной суммой покупательных средств, которую он может расценивать только в качестве орудия для приобретения известного количества других товаров и не больше. Но тогда денежный знак оказывается представителем товаров, а не золота, т.е. мы приходим к теории денег Гильфердинга.

Если мы попытаемся теперь соединить марксово понимание роли мерилa ценности с концепцией тт. Трахтенберга и Лившица, то окажется, что определенное количество золота в самом процессе перехода его в обращение может терять часть своего веса и четырехфунтовый слиток может, к примеру, полегчать до 3 фунтов, причем на весах указанных товарищей ни одна чашка не перевесит другую. Подлинным чудеса черной и белой магии, шедевры алхимического искусства XX века!

Не менее виртуозны оказываются критикуемые товарищи и в объяснении механизма образования ценности отдельной единицы орудия обращения. Маркс утверждает, что ценность бумажных денег в обращении определяется их количеством. Это количество представляет собой знаменатель некоторой дроби, числителем которой является известная величина действительной ценности. Какую ценность, однако, имел в виду Маркс? Он говорит «ценность заменяемых в обращении металлических денег». Критикуемые же товарищи вместо ценности, которую имели бы металлические деньги, если бы они обращались, подставляют ценность золота, как мерилa, причем обе ценности у них количественно не совпадают. Если, таким образом, у Маркса выведение ценности единицы бумажных денег носит двухступенный характер: сначала устанавливаются цены, выраженные в золотых деньгах,

¹ При бумажном денежном обращении, как мы уже отмечали, возможность подобного сведения дана тем, что бумажные деньги всегда имеют определенный курс, т. е. реально приравнены золоту.

а затем общее количество бумажных денег приравнивается тому золоту, которое необходимо было бы для реализации этих цен, то у тт. Трахтенберга и Лившица указанные два процесса превращаются в один, и металлические деньги так же, как и бумажные в их роли орудия обращения противопоставляются идеальному золоту, как его символы¹.

Но каким образом золото может символизировать самого себя и находиться в отношении неравенства к самому себе? Нам это неизвестно. Невежеством, относительно подобных интересных явлений, отличался, повидимому, и Маркс, поскольку он утверждал, что золото не может быть своим собственным символом.

Для обоснования разбираемого понимания механизма образования ценности единицы обращающихся денег, служат далее ссылки критикующих авторов на утверждение Маркса, согласно которому природа обращения противоречит тому, чтобы обращались металлические деньги. Однако здесь мы сталкиваемся с не менее очевидной логической передержкой. В самом деле, по Марксу, металлические деньги вытесняются из обращения бумажными потому, что, находясь в состоянии постоянного движения, полноценная монета стирается, теряет часть своего веса, вследствие чего оказывается невозможным, например, выполнение ею функции сокровища. Единственной причиной обнаруживающегося в данном случае расхождения между собственной ценностью металлической монеты и ее наименованием является, по Марксу, таким образом не какая-то самостоятельная закономерность образования ценности обращающейся монеты, а ее чисто физическое обесценение. Предположим, что благодаря химическому открытию, металлические деньги потеряют способность снашиваться, т. е. вес монеты всегда будет совпадать с нормой чеканки. Будем ли мы тогда иметь указанное расхождение? Согласно общему пониманию Маркса, на этот вопрос можно ответить только отрицательно. Для наших же противников отклонение ценности металличе-

¹ Принципиальное отличие законов обращения бумажных и металлических денег и недопустимость их смешения подтверждается хотя бы следующими цитатами:

«В обращении знаков ценности все законы действительного обращения денег кажутся перевернутыми, поставленными на-голову. Если золото обращается потому, что оно имеет ценность, то бумага имеет ценность потому, что она обращается. В то время, как количество обращающегося золота повышается или падает с возрастанием или падением цен товаров, цены товаров возрастают или падают вместе с изменением количества бумажных знаков, находящихся в обращении. Тогда как обращение товаров может поглотить только определенное количество золотых монет, бумажные деньги, повидимому, входят в обращение во всякой пропорции» (К критике, стр. 126).

От произвола эмиссионных банков не зависит увеличение числа обращающихся банкнот, раз должен быть всегда обеспечен размен их на деньги (о неразменных бумажных деньгах здесь вообще нет речи, неразменные банкноты лишь в том случае могут стать всеобщим средством обращения, если они обеспечиваются государственным кредитом... Они подпадают, таким образом, под власть указанных выше (книга 1, гл. III, 2, е. Монета, знак стоимости) знаков, управляющих движением неразменных государственных бумажных денег—Ф. Э). (Капитал, III, 2, стр. 63). Курсив наш.

ского орудия обращения от ценности золота в слитках явится и в данном случае совершенно неизбежным. Если для Маркса противоречие денежной формы сводится к тому, что металлическая монета, которая должна быть во всех случаях равна самой себе, в действительности по чисто физическим причинам не оказывается таковой, то для тт. Трахтенберга и Лившица расхождение ценности денег в различных функциях является выражением определенной экономической закономерности, причем исходным моментом данного расхождения оказывается не изменение собственной ценности денежной единицы, а специфический механизм, регулирующий образование «ценности» знака ценности, примененный к металлическим деньгам.

Искуственность всей концепции тт. Трахтенберга и Лившица еще более отчетливо обнаруживается далее в том, что с их точки зрения невозможно вообще определить количество денег, необходимых для обслуживания товарного обращения. Действительно, мы знаем, что по Марксу исходным моментом, определяющим потребность товарооборота в орудиях обращения, является не ценность, а цена товаров. Вместе с тем мы уже говорили, что в функции мерила ценности золото измеряет не только ценность, но и отклонения от нее, с чем, между прочим, целиком солидаризируется и сам т. Лившиц. Но в таком случае возникает следующий вопрос: если количество орудий обращения, необходимых в данный момент, определяется ценами товаров, а последние в свою очередь зависят от количества орудий обращения, то каким образом в обращение может войти больше денег, чем это требуется товарооборотом? Ведь совершенно очевидно, что между ценами и суммой обращающихся денег всегда должно быть равенство, поскольку цена проданного товара всегда равна количеству полученных за него денег. Но тогда, сколько бы денег ни вошло в обращение, они всегда будут удовлетворять реально имеющуюся потребность в них, и марксова формула благополучно может быть заменена фишеровским уравнением обмена, т. е. вместо экономического закона мы получим ученый трюизм.

Перейдем теперь к взаимоотношению функций орудия обращения и сокровища. В этом пункте мы сталкиваемся с наиболее оригинальной и самобытной частью построения тт. Трахтенберга и Лившица¹.

Их понимание механизма флюктуации действительно принадлежит им одним и едва ли даже кто-нибудь из количественников смог бы до-

¹ Относительно точки зрения т. Лившица надо сказать, что его понимание не отличается здесь особенной ясностью. Он пишет следующее: «Возможны отклонения, хотя бы и временные, покупательной силы золотых монет от их стоимости как мерила, в результате чего происходит перелив золотых монет в слитки и обратно. Нам могут возразить, что золотая инфляция немыслима, ибо золотая монета не остается в обращении, если она излишня, в то время, как бумажные деньги должны там остаться. Но ведь именно потому золотая монета и уходит из обращения в соответствующие моменты, что, если бы она осталась, то ее покупательная сила должна была бы уменьшиться по сравнению с ценой золота (233—4). Итак, с одной стороны, разница между ценностью и покупательной силой является причиной флюктуации, а с другой стороны, этой разницы вообще не имеется, поскольку существует флюктуация. Вот здесь и разберись! Однако, общий контекст дает нам основания понимать т. Лившица именно в первом смысле.

думаться до подобного откровения. Однако, вместе с оригинальностью возрастает и теоретическая иррациональность аргументов критикуемых авторов. В самом деле, каким образом может реально обнаружиться различие ценности обращающихся денег и денег, находящихся в сокровище, которое является якобы причиной движения денег между сокровищем и обращением. Если имеется металлическое обращение, то подобная разница в уровнях ценностей должна привести к тому, что обращающаяся монета, застряв на некоторое время в кармане капиталиста, в тот же самый момент может упасть или подняться в ценности. Нам подобный случай, так же как и расхождение ценности мерил и орудия обращения, представляется чистой нелепостью. Правда, наши противники могут указать на то, что под сокровищем следует подразумевать всегда золото в отличной форме, в слитках, но, во-первых, чеканка слитков в монету является чисто технической операцией,—это много раз подчеркивал Маркс, и во-вторых, формой сокровища вполне свободно может быть и золото в монете. Ведь недаром Маркс сокровище определяет как остановившуюся монету. Но в таком случае разница в ценности между деньгами в обращении и деньгами в сокровище означает, что одна пятирублевая монета стоит больше другой такой же пятирублевой монеты, т. е. мы приходим к очевидному абсурду. В действительности, расхождение ценности, обращающихся денег и сокровища, при металлической валюте невозможно ни на одну минуту, таковое может иметь место, как и вообще всякое расхождение ценности денег, только в том случае, когда налицо имеется, по меньшей мере, два вида денег. Но отсюда следует, что обесценение металлических денег, если оно действительно происходит, необходимо захватывает и деньги в сокровище, т. е. то, что характерно для обращающихся денег—в противоположность сокровищу, оказывается их общим признаком. Никакой разницы между концепцией тт. Трахтенберга и Лившица и количественниками на данной стадии изложения обнаружить невозможно, даже при помощи самого точного оптического инструмента.

Нас интересует теперь еще один момент в аргументации критикуемых авторов, характерный со стороны, так сказать, общего их мировоззрения. Их представление о регулирующей роли сокровища логически имеет своим основанием существование каких-то специфических закономерностей, устанавливающих ценность денег в сокровище. Каковы же эти закономерности? Совершенно очевидно, что под такими можно понимать лишь факторы, определяющие цену золота, как определенного товара, удовлетворяющего известным конкретным потребностям, именно потребностям в предметах роскоши. У т. Трахтенберга это положение выступает особенно ясно, поскольку он выводит ценность золота в сокровище из того простого факта, что золото—товар, следовательно, некоторая субстанциональная ценность. Нам представляется излишним сколько-нибудь подробно останавливаться на доказательстве неправильности этого утверждения. Если ценность денег определяется для сокровища, а через него и для обращения их бытием, как простого товара, удовлетворяющего конкрет-

ным потребностям, то к золоту применимо все, что относится и к другим товарам, т. е. в первую очередь оказывается необходимым, в качестве нормального явления расхождения его цены с ценностью. Но в таком случае постоянное отклонение от трудовой ценности обязательно для денег во всех их функциях. «Цена денег» становится таким образом категорией, относящейся не только к деньгам в обращении, но и к деньгам в сокровище и, очевидно, к деньгам в качестве мерил ценности. В аргументации т. Трахтенберга особенно любопытно в данном случае то, что она целиком опирается на металлистическое понимание сущности денег.

* * *

Резюмируя все изложенное, мы можем сказать, что разобранная нами система взглядов представляет собой самое причудливое переплетение отдельных элементов различных экономических школ. Три ценности денег, открытые т. Трахтенбергом и молчаливо лежащие в основе концепции т. Лившица, выражают собой не особые виды производственных отношений, а просто-напросто элементы трех главных течений в буржуазной науке о деньгах. Действительно, понимание мерил ценности, как категории, лежащей вне реальных хозяйственных отношений и не связанной с процессами ценообразования, составляет наиболее характерную особенность современного номинализма (Кнапп), отождествление обращения бумажных денег с обращением полноценного золота прямой дорогой ведет к количественникам и, наконец, понимание ценности денег в сокровище, как ценности простого товара, объединяет критикуемых авторов с металлистами.

Понять причину подобного казуса психологически весьма не трудно. Система Маркса является органическим синтезом, блестящим образцом диалектического «снятия» всех предшествующих теорий денег (меркантилисты, Юм, Рикардо); элементы всех трех школ имеются несомненно у Маркса, недаром столько невероятного труда затрачивают буржуазные экономисты в своих попытках «заклассифицировать» Маркса, уместить его целиком на какую-нибудь одну полочку, но из такого характера марксовой теории следует, что достаточно взять отдельные ее части в их раздельном виде, как это делают тт. Трахтенберг и Лившиц, чтобы распалось все здание и вместо гениального синтеза получилась груда обломков, механическое соединение которых никогда не даст органического целого, а всегда лишь некоторую дробь.

В. Богданов

«НОВЕЙШИЕ ОТКРОВЕНИЯ КАРЛА КАУТСКОГО»

(Философские основы книги «Материалистическое понимание истории») ¹

I. Пролог: о синтезе с.-д. теории и практики

В своей известной работе: «Пролетарская революция и ренегат Каутский» Ленин писал:

«Каутский—истинный социалист. Не смейте заподозривать искренность этого почтеннейшего отца семейства, этого честнейшего гражданина. Он горячий и убежденный сторонник победы рабочих, пролетарской революции. Он только желал бы, чтобы сладенькие интеллигентки-мещане и филистеры в ночном колпаке *сначала, до движения масс, до их бешеной борьбы с эксплуататорами и непременно без гражданской войны составили умеренный и аккуратный устав развития революции*» ².

Этот, предсказанный Лениным, «умеренный и аккуратный устав», наконец, составлен. Историческая схема пути, по которому *должно* протекать развитие пролетарской революции, так как этот путь представляется «мещанам-интеллигентам»,—эта схема начертана самим Каутским. К стыду нашему, она названа им «Материалистическое понимание истории».

Книга Каутского несомненно представляет собой значительное явление на теоретическом фронте марксизма. Не потому, конечно, чтобы эта книга правильно разрешала—то есть в соответствии с ортодоксальным марксистским воззрением—важнейшие вопросы исторического понимания. И не потому также, чтобы она давала этим проблемам какое-либо новое освещение, которое двинуло бы вперед развитие нашей марксистской теоретической мысли. Нужно сказать заранее, что почти во всех существенных пунктах, во всех основных вопросах «новизна» у Каутского весьма сомнительного свойства, притом сильно отдающая *столь же сомнительной «старинной»*.

Интерес, вызываемый книгой Каутского, совершенно в другом. Она является прекрасным *показателем общего идеологического уровня* и теоретических устремлений наиболее талантливых, наиболее крупных

представителей современной социал-демократии. С другой стороны, эта книга представляет собой замечательный человеческий документ. Каутский в ней встает перед нами во весь свой рост: и как личность, и как ученый,—как совершенно сложившийся, определенный *тип мелкобуржуазного мыслителя*. Многие становятся понятным из того, что казалось просто недоговоренным, недостаточно ясно сказанным в его прежних, более ранних работах.

Сам Каутский также считает нужным отметить это обстоятельство. Он открыто говорит, что его книга представляет, так сказать, «квинт-эссенцию работы всей его жизни»¹. Он умышленно включает в состав своей книги целый ряд более ранних своих теоретических работ, которые или вовсе не были им опубликованы, или были опубликованы очень давно. И действительно, эти произведения Каутского, равно как и последующие известные его работы об «Этике» и «Размножении и развитии в природе и обществе» и другие,—все эти *звенья* в своей последовательности образуют некоторую единую цепь. Все это—предварительные, подготовительные ступени к заключительному звену, к огромному двухтомнику «Материалистического понимания истории».

Не менее откровенен Каутский и в изложении тех практических, *политических* задач, которые преследует его академический, «чисто теоретический» труд. Мы читаем по этому поводу в предисловии к книге примерно следующее. Мировая война и революция в Германии и в России вызвали стремление к социализму «у миллионов новых пролетарских и полупролетарских масс». Но эти массы лишены «общественных знаний, социалистической традиции». В своем невежестве они требовали «немедленного осуществления земного рая»... «Напряжение между *возможностями и желаниями* все возрастало». Обнаружилось, по словам Каутского, пренебрежение не только к с.-д. партии, «но и к тому учению, на котором покоится ее практика—к материалистическому пониманию истории». Те революционеры, которые остались приверженцами материалистического понимания истории, по мнению Каутского, «придали ему в существенных пунктах такой смысл, который превратил это понимание в свою противоположность». А между тем война привела к тому, что «пролетаризуются огромные массы *мелкой буржуазии*». Эти массы мелкой буржуазии должны быть организованы, должны быть воспитаны, должны вступить в ряды социал-демократии. «Усвоение исторического материализма,—говорит Каутский,—поэтому, менее, чем когда-либо, чисто академическая задача. Распространение этого понимания становится важным *практическим условием успеха социализма*» ².

К этому надо прибавить, что Каутский совершенно не скрывает здесь и своей бешеной ненависти к коммунистам, к коммунистической партии, к революционному марксизму. В целом ряде мест своего «теоретического» труда он пользуется каждым удобным и неудобным

¹ Статья представляет собою литературную обработку стенограммы доклада, прочитанного в заседании Коммунистической академии от 4 октября с. г.

² Ленин, Пролетарская революция и ренегат Каутский, т. XV, стр. 487. Подчеркнуто нами.

¹ Die materialistische Geschichtsauffassung, B. I, 9. XII, Vorwort.

² Там же, Vorwort, S. XIV, XV. Здесь и далее подчеркнуто нами.

случаем, чтобы иронизировать по поводу «большевистских методов», по поводу «забвения» коммунистами материалистического понимания истории и т. п.

Очевидно, что «теоретическая» работа Каутского, в сущности, представляет определенный *политический* документ. Это не значит, конечно, что книга Каутского вовсе лишена *всяких* теоретических достоинств. В лице Каутского мы недаром имеем крупнейшего теоретика с.-д., ученого со значительным марксистским прошлым. Несомненно, что он на несколько голов выше Г. Кунова, М. Адлера, К. Форлендера и других своих собратий по партии. Огромная эрудиция Каутского, широкая разносторонность его интересов—все эти качества несомненно не могли не сказаться и на содержании данной книги. Ленин писал о Каутском, что в некоторых случаях Каутский «умел быть марксистским историком». Действительно, пожалуй, наиболее интересны в этой книге отдельные культурно-исторические экскурсы. В них Каутский затрагивает ряд любопытных проблем истории культуры, истории техники, истории развития общественных форм, выдвигает порой небезытересные гипотезы. Наконец, та теоретическая полемика, которую он удачно ведет с буржуазными учеными и с еще более оппортунистическими представителями социал-демократического марксизма,—с Куновым и другими,—несомненно, также представляет известный теоретический интерес.

Но вся беда в том, что Каутский не хочет оставаться «просто» скромным марксистским исследователем в области истории культуры. Он хочет быть философом и методологом; задача, которую он себе ставит,—дать *теорию исторического процесса*. Причем эта теория, как мы видели, должна быть по своим революционным симпатиям настолько «умеренной», марксизм в ней должен выглядеть настолько «подстриженным», чтобы он мог целиком удовлетворить вкусам и потребностям новых мелкобуржуазных масс, на которые сейчас рассчитывает социал-демократия. Отсюда и все методологические «качества» книги Каутского.

II. Мировоззрение и метод у Каутского

Ленин в свое время уделил немало внимания тем *приемам*, при помощи которых Каутский делает марксизм «приемлемым для либералов, для буржуазии»: когда при чисто словесном «признании» марксизма, из него «явными софизмами выхолощивают его революционную живую душу», когда «в марксизме признают *все, кроме* революционных средств борьбы, проповеди и подготовки их, воспитания масс именно в этом направлении». Ленин справедливо заклеил это «утонченное лакейство», эту «цивилизованную манеру ползать на брюхе перед капиталистами».

Не в бровь, а в глаз автору «Материалистического понимания истории» попадает и замечание Ленина о либеральной «болтовне» Каутского, о том, что Каутский «пускает рабочим ученый песок в глаза. Невероятно утомительный и тусклый характер изложения

Каутского, невероятный его педантизм, самоуверенность оракула, который изрекает, вещает, невольно будят в памяти ленинское сравнение Каутского с «учителем гимназии, засохшим на повторении учебников истории», который пишет, «точно во сне мочалку жуёт»¹.

Наконец, бесполезно напомнить и прямые указания Ленина по поводу характерных черт *методологии* этого «начетчика в марксизме». «Если говорить о *философских основах* данного явления,—говорит Ленин,—то дело сводится к *подмене диалектики эклектизмом и софистикой*; Каутский—великий мастер такой подмены. В теории он, по словам Ленина, не умеет даже *ставить* вопросов, «и потому оперирует знаменитым: «с одной стороны, нельзя не сознаться, с другой стороны, надо признаться». Он ставит *рядом различные решения*»².

Подмена диалектики эклектизмом и софистикой, ведущая к теоретическому оппортунизму, эта основная черта философских предпосылок каутскианства выступает в новой книге Каутского с особенной выпуклостью и остротой. И сказывается она, прежде всего, на постановке им самой *проблемы философии*, на выяснении ее значения в марксизме.

Как известно, отношение к философии, самая постановка проблемы философии, является пробным камнем для оценки любой теоретической точки зрения. Марксизм отличается от всякого рода буржуазных теорий своим отчетливым выявлением того *особого* «предмета» философии, который в то же время является *общим* и для целого ряда специальных научных областей. Понимание значения марксистской философии как учения о законах мышления, как общей *методологии* познания, как *логики* и *диалектики*, является совершенно необходимым для того, чтобы стать на *правильный* путь дальнейшего исследования явлений природы и общества. Только такое понимание ведет к тому *единству мировоззрения и метода*, которым отличается революционный марксизм.

Что же говорит о задачах философии Каутский? Он, разумеется (вспомните знаменитое: «нельзя не признаться») не отрицает некоторого значения за философией. Он признает, что «*была* совершенно определенная философия, исходя из которой Маркс и Энгельс проводили свои исторические и экономические исследования». Он согласен даже сохранить за этой философией, которая, по его словам, вовсе не является каким-то преодоленным этапом, *тем* *материалистической философии*. Но Каутский сводит эту философию марксизма к одному только материалистическому *методу*, отрицающему всякую связь последнего с *мировоззрением*, как с чем-то «метафизическим», «выходящим за пределы опыта». Исследователь должен, по его словам, оставаться «в пределах опыта», должен отказаться от абсолюта, от метафизического об'яснения всех явлений «механикой материи» (!) «Рядом с выходящим за пределы опыта метафизическим материализмом,—говорит он,—существует материалистический *метод*. В их

¹ Ленин, Собр. сочин., т. XV, стр. 445, 748, 757, 759.

² Там же, стр. 517, 779.

методе и состоял материализм Маркса и Энгельса». О каком «метафизическом материализме»,—метафизическом притом отнюдь «не в смысле Гегеля», то есть не в смысле противоположном *диалектическому* материализму,—идет речь у Каутского? Это становится понятным, когда мы узнаем от него, что его собственный «критический материализм может быть хорошо согласован с кантовским различием вещей в себе и явлений», что Кант, останься он только при своей мысли о непознаваемости вещей в себе, мог бы стать вождем новейшего материализма и т. д. Какая беда от того, что кантово «различение» явно противоречит материалистической теории познания!... Ведя полемику с Кантом, Каутский в то же время, естественно, *не может не сделать* весьма существенных «уступочек» кантианству!

К чему же сводится, в этом случае, вся «философия» метода? Каждый исследователь в своей области должен, по словам Каутского, свои познания «привести в некоторую всеобщую связь, а эта последняя должна быть такова, чтобы она могла быть об'единена с совокупностью связей в других науках. Таков метод, лежавший в основе того, что Маркс и Энгельс обозначали как диалектический материализм»¹... И это все, что может сказать Каутский об основной проблеме, проблеме философии!

Неудивительно после этого, что Каутский повторяет в своей книге свою старую мысль, высказанную им некогда в письме к Плеханову от 1898 г.: о *независимости* исторической теории Маркса от его философских предпосылок, о возможности соединения этой исторической теории, например, с неокантианством². Вот что читаем мы у него сейчас по этому поводу:

«Можно сказать, что материалистическое понимание истории *не связано с материалистической философией*: оно соединимо со всяким мировоззрением, которое или пользуется методом диалектического материализма, или по меньшей мере не стоит по отношению к этому методу в непримиримом противоречии».

По мнению Каутского, такими философскими мировоззрениями, которые вполне соединимы с исторической точкой зрения Маркса, являются и материализм, и монизм, и сенсуализм, и эмпириокритицизм, и т. д. Единственное, против чего он считает нужным восставать,—это против «соединения» марксизма с совершенно неприкрытой никаким фиговым листком идеалистической философией. Итак, с материалистической философией как целостным мировоззрением все счеты покончены: «философия занимает нас здесь лишь постольку, поскольку она имеет дело с материалистическим пониманием истории, а последнее представляется нам соединимым не только с Махом и Авенариусом, но и с кой-какой другой философией»³.

¹ Каутский, цит. соч. стр. 22, 27, 53, 54.

² См. сборник «Группа освобождения труда».

³ Каутский, там же, т. I, стр. 28.

Спрашивается, чем же об'ясняется такое разногласие Каутского с основными положениями Маркса и Энгельса об единстве материалистического мировоззрения и метода: когда мировоззрение раскрывается для нас в методе, а применение и систематизация метода ведет к мировоззрению? Все дело в том, что Каутский видит в себе отнюдь не просто комментатора положений, выдвинутых Марксом и Энгельсом. «Все то, что я даю в дальнейшем в настоящей книге,—говорит он в предисловии,—представляет собой обоснование *моей собственной* исторической точки зрения... Раз я излагаю здесь свою собственную точку зрения, то отпадают заранее всякие споры о том, правильно или неправильно я понимаю то или иное положение Маркса». Говоря об отправных пунктах своей методологии, Каутский поэтому вовсе не следует известной мысли Маркса, согласно которой пролетариат является «наследником классической немецкой философии». «Мой отправной пункт,—говорит он,—был совершенно иной. Маркс и Энгельс отталкивались от *Гегеля*, я шел от *Дарвина*»¹.

В других местах книги Каутского можно встретить указание, что в области философии все мы (социал-демократы.—И. Р.) были *эклектиками*. Он признает, наконец, что «все мы» в свое время «исходили из *демократии*»².

Уже здесь можно подвести некоторые предварительные итоги. Каковы—в самом деле те исходные предпосылки, из которых формировалось мировоззрение Каутского? По его собственному признанию, в качестве такой предпосылки мы имеем, во-первых, дарвинизм, «философской» основой которого является, как известно, *естественно-научный позитивизм*. С этим соединяется юридический кретицизм демократа, который с особенной силой выступает у Каутского в вопросах общества и государства. А все вместе взятое создает философский *эклектизм!*

Чтобы понять характер философского эклектизма Каутского, не мешало бы вспомнить то, что говорил и писал недавно Д. Б. Рязанов по поводу громадного влияния *дюрингианства* в эпоху, когда складывались воззрения Каутского. Интересно, что на всем протяжении своей огромной книги Каутский не полемизирует с Дюрингом. Наоборот, он косвенно защищает Дюринга, выступая против точки зрения Энгельса во всех тех случаях, когда Энгельс критикует Дюринга. Для учета остальных «ингредиентов» философского эклектизма Каутского, небезынтересно и то обстоятельство, что Канту Каутский посвящает огромную главу, где на ряду с разбором и критикой недостатков его философии все время подчеркиваются и достоинства философии Канта. Гегелю же вовсе не уделяется особого места. Гегелевская «философия истории» цитируется, правда, неоднократно Каутским. Но, как выяснится далее, из Гегеля Каутским приемлется главным образом *идеалистическая* сторона его философии и в то же время ведется ожесточенная полемика против *диалектического метода* Гегеля.

¹ Там же, стр. 16, 17.

² Там же, т. I, стр. 641; т. II, стр. 724.

При таком эклектическом, сильно окрашенном позитивизмом мировоззрении Каутского что же в сущности может представлять собою методологическая точка зрения Каутского, его исторический метод? Конечно, в основном его историческая методология, в особенности в применении к частным проблемам истории культуры, продолжает оставаться материалистической, несмотря на многочисленные идеалистические уклоны Каутского. Но если в основном в методе исторического исследования Каутский еще стремится сохранить материалистическую традицию, то материализм его весьма своеобразный: это *механический* материализм естествоиспытателей-дюрингианцев, материализм именно в тех *пределах*, поскольку он приемлетя и допускается позитивизмом¹.

В самом деле к чему *сводится* весь материализм Каутского? Чтобы использовать чрезвычайно образное, по другому поводу сказанное, сравнение Ленина, «Каутский, подобно слепому шенку, который случайно тычет носом то в одну, то в другую сторону, нечаянно наткнулся... на одну верную мысль»². Мысль эта в данном случае заключается в том, что наше сознание и состояние каждого отдельного индивида, каждого отдельного организма зависит от условий окружающей среды, зависит, стало быть, от материальных условий.

Мысль эта, конечно, вполне материалистическая. Но нельзя сказать, чтобы она была чрезвычайно нова, и нельзя сказать, чтобы она была достаточна для понимания новейшей формы материализма, *диалектического* материализма. Она была высказана довольно давно еще тем самым «метафизическим» или «механическим» материализмом — метафизическим «в смысле Гегеля», конечно! — от которого так неудачно пытается сейчас отгораживаться Каутский. Она была повторена Бюхнером, — Фохтом и Дюрингом, его духовными отцами. Против *такого* материализма не хватит духу возражать ни у одного естествоиспытателя-позитивиста!

И вот, выступая со столь убогими теоретическими ресурсами, Каутский повторяет эту простую мысль буквально на каждой странице: это — единственная идея, под которую он подгоняет все свои рассуждения.

III. Метаморфоза диалектики: Каутский против Энгельса

Явно выраженный отпечаток механистического воззрения лежит на всем мышлении Каутского, сказывается в его понимании чуть ли не всех основных категорий философии.

¹ Крайне характерно, что именно в таком смысле оценила книгу Каутского и социал-демократическая печать. Некоторое недоумение выражается по поводу того, что Каутский говорит о материализме для обозначения «философского направления, которое обычно обозначают именем позитивизма» (Soltán Ranai: Kautsky's Materialistische Geschichtsauffassung, «Der Kampf», juni 1928, S. 234). Говорится это, конечно, не в упрек Каутскому. Напротив того, такое понимание материализма всячески приветствуется как чуждый «догматизму «живой» марксизм!»

² Ленин, Собр. соч., т. XV, стр. 451.

Так обстоит, например, дело с категорией *случайности*. Как известно, марксизм рассматривает случайность в ее отношении к необходимости отнюдь не как нечто суб'ективное, проистекающее из нашего незнания причин явлений, но придает ей *об'ективное* значение. Случайность с точки зрения диалектического материализма есть особая, *специфическая форма проявления* той же всеобщей закономерности, той же необходимости¹. Вот этого представления о случайности, как об об'ективном явлении, у Каутского, видимо, нет. Он исходит из представления о всеобщей закономерной связи явлений. «Согласно этому убеждению (т. е. представлению о всеобщей закономерной связи явлений. — И. Р.), — говорит Каутский, — в природе нет случайности. Противоположность между случайностью и необходимостью существует *не вне нас, но в нас*», т. е., иными словами, она существует лишь как нечто суб'ективное. «Случайностью нам представляется все, причина коего нам неизвестна, или то, одиночные проявления чего мы еще не сумели без остатка разложить на повторяющиеся, и потому проявляющие закономерный характер, элементы».

Правда, Каутский сам чувствует всю шаткость такой точки зрения и спешит оговориться. Так как наше познание ограничено, так как мы никогда не сможем исчерпать до дна всей сферы человеческого познания, то *едва ли нам удастся* свести все единичное и случайное к закономерному и необходимому². Только исходя из указанных соображений, Каутский соглашается условно говорить о случайности. Здесь совершенно отчетливо выступает характер теоретической позиции Каутского, позиции *механического* материализма.

Такое же механическое понимание проявляется Каутским в вопросе о причинной связи явлений, о понятии *причинности*. Как известно, марксизм кладет в основу диалектического понимания причинности *единство мирового движения*, которое переносится с одного тела на другое, *переходит* из одной формы в другую форму. Причина с этой точки зрения есть абстрагированное из всеобщей связи, *активное, переносящееся движение*. Только при таком понимании причинности мы имеем возможность выявить переходы одних специфических форм движения в другие формы движения, учесть *качественную* сторону, формальные особенности в этой причинной связи явлений³.

Каутский и в этом случае, как и в вопросе о случайности, ухитряется немедленно забыть о замечаниях Энгельса в «Диалектике природы», хотя цитирует Энгельса по менее важному поводу. Он совершенно справедливо полемизирует против понимания Э. Махом причинной связи как функциональной зависимости. Но на помощь себе он призывает не Энгельса, а соображения от механики. Понятие причинности, по мнению Каутского, связано не только с понятием необходимости, но также и с понятием *толчка* (des Anstosses). Простейшая

¹ Энгельс, Диалектика природы, Архив Маркса и Энгельса, т. II.

² Каутский, там же, т. I, стр. 86.

³ Ср. Энгельс, Анти-Дюринг, Диалектика природы.

форма «причинения» имеет, согласно Каутскому, место там, «где одно тело приводится в движение при помощи движения другого толкающего тела. Или, точнее говоря, так как ни одно тело не может рассматриваться в абсолютном покое, то каждое новое движение возникает из *столкновения двух движущихся в разных направлениях тел*. Или, выражаясь несколько грубо-материалистически, каждое новое движение возникает из столкновения противоположностей. Понятие причины поэтому весьма родственно понятию борьбы противоположностей, этого отца всех вещей»¹.

Легко заметить, что, несмотря на громкие, внешне «диалектические» фразы о борьбе противоположностей, Каутский крайне *упрощает* понимание причинной связи явлений. Он сводит его к *чисто механической* причинности, к реакции на механический толчок. Именно, к такому чисто механическому столкновению «тел» он сводит и диалектическую борьбу противоположностей.

И здесь, мы, наконец, приходим к центральному вопросу, выяснение которого позволит бросить свет и на всю историческую теорию Каутского, — к его пониманию *диалектики*.

Уже в более ранних работах Каутского, притом в работах его наиболее выдающихся, — как, например, работа, посвященная защите марксизма от оппортунизма Бернштейна («Анти-Бернштейн»), — проглядывала чрезвычайная слабость и неуверенность в себе Каутского, как только он переходил к защите диалектики. Немногие бледные страницы, посвященные им этому вопросу, говорили скорее об оборонительной позиции. Когда, например, в полемике с Бернштейном он рассматривает анализ положения Германии, данный в «Коммунистическом манифесте», то единственным доводом в «защиту» Маркса против обвинений в «гегельянстве» оказывается то, что Каутский в этом анализе не находит «ни малейшего следа диалектики»... Раз Маркс в своем анализе не пользовался диалектикой, то собственно почему же его в этой гегелевской диалектике обвиняют!²

Для Каутского такая «неотразимая» аргументация совершенно естественна. Ведь для него в качестве средства научного исследования на первом плане выдвигается мышление *формально-логическое*. Это определенно вытекает из его понимания взаимоотношений между формально-логическим мышлением и мышлением диалектическим. С точки зрения диалектического материализма подобно тому, как покой есть частный случай движения, так и формально-логическое мышление представляет собой частный случай — «момент» мышления диалектического. Другими словами, в исследовании уже потому нельзя *начать* с формально-логического мышления, а *потом переходить* к мышлению диалектическому, что формально-логическая постановка вопросов мыслится марксизмом лишь как определенный этап, как определенный момент в развитии мышления диалектического³.

По Каутскому же получается нечто совершенно обратное: «Метод рассмотрения вещей в связи, в их функционировании, в восстановлении и исчезновении есть необходимое *продолжение* метода рассмотрения вещей изолированно в покое»... Мы имеем здесь «*две следующие одна за другой стадии* процесса познания мира»¹.

И на ряде примеров Каутский доказывает, что в процессе исследования мы пользуемся лишь анализом и абстракцией, потом дедукцией и т. д. И только в дальнейшем — для большего углубления нашего познания, мы дополнительно прибегаем еще к диалектике... Известные мысли Маркса о характере *конкретного* анализа, высказанные им в введении к критике политической экономии, остались очевидно книгой за семью печатями для Каутского!

Как же представляет себе Каутский *об'ективный* диалектический процесс, как мыслит он диалектическое *развитие* природы и общества? Здесь необходимо предварительно напомнить известные положения, лежащие в основе понимания процесса развития материалистической диалектики. Марксизм исходит, прежде всего, из признания того, что движущие действительность *противоречия об'ективны*. Эти противоречия существуют не только в нашей голове, но и в самой об'ективной действительности. Каждое противоречие есть развитая противоположность. Развивающееся явление мы должны рассматривать как явление противоречивое, как *единство противоположностей*. Но единство противоположностей вовсе не следует понимать механически: как *механическое столкновение* двух тел или двух сил, направленных в разные стороны. Единство противоположностей есть их *взаимное проникновение*. Так что, выражаясь словами Маркса, каждая противоположность предполагает свое «другое», каждая противоположность, создаваясь, в то же время создает свое «другое».

Если, скажем, мы говорим о внутреннем противоречии в буржуазном обществе, о том, что буржуазное общество есть поэтому единство противоположностей — буржуазии и пролетариата, — мы при этом имеем в виду не только то обстоятельство, что буржуазия и пролетариат суть силы, направленные противоположно. Мы имеем в виду и другое, — что каждая из этих категорий предполагает другую категорию, ее обуславливает, с ней связана, ее «взаимно проникает». Без буржуазии нет пролетариата как класса, без пролетариата нет буржуазии, как таковой. Одна противоположность исторически вызывает и поддерживает существование другой противоположности.

Наконец, еще один важный момент, характеризующий материалистическую диалектику и целиком вытекающий из предшествующих моментов, заключается в том, что мы рассматриваем всякое развитие, как *самодвижение*. Идея «самодвижения» или спонтанного развития была отчетливо выдвинута Лениным в его известном недавно опубликованном отрывке о диалектике²... Не следует, разумеется, понимать

¹ Каутский, цит. соч., стр. 126.

² Каутский, К., Анти-Бернштейн.

³ К. Каутский. Material. Geschichtsauffassung, B. I., S. 24, 25.

¹ Ср. Маркс, Введение к критике пол. экономии.

² Ленин, К вопросу о диалектике (См. журн. «Большевик» и «Под зн. марксизма», 1925 г.).

это самодвижение в каком-либо идеалистическом смысле,—так, что явление развивается «само по себе», без всяких на то причин. Разумеется, в развитии всегда действуют определенные причины. Но когда марксисты говорят о самодвижении, о спонтаннейшем развитии, они хотя и этим только подчеркивают, что всякое явление развивается как единство заложенных в нем самом противоположностей, согласно законам *своего* качества. Влияния и воздействия, которые, несомненно, оказывает окружающая среда на данное явление, эти воздействия преломляются сквозь призму закономерностей, собственных для данного явления,—так, что воздействия отражаются на предмете уже не прямо, а косвенно: *определенно-направленным* образом, через посредство закономерностей, развивающихся в самом явлении.

Эти важнейшие, взаимно-обуславливающие одна другую категории диалектики составляют основу всех более частных законов диалектического развития. Закон единства противоположностей поэтому является *основным* законом диалектики: называемые наиболее часто закон перехода количества в качество и обратно и закон отрицания—представляют собой лишь специфические случаи, лишь особое выражение все того же основного закона диалектики.

Всех этих «гегельянских» тонкостей, разумеется, не существует в упрощенной схеме развития Каутского. Для Каутского диалектический процесс,—это, прежде всего, процесс, протекающий лишь в органическом мире. Это, далее, процесс, который протекает между индивидуумом, организмом,—сокращенно обозначенным, как «я»,—между этим «я» и окружающей «средой».

«Разрешение противоположности между «я» и внешним миром,—говорит Каутский,—состоит *во взаимном приспособлении между «я» и этим внешним миром*». Где этого приспособления нет, там организм хиреет и погибает. Этот процесс приспособления Каутский и обозначает как диалектический, то есть «процесс, который *начинается с утверждения, продолжается с помощью отрицания и заканчивается отрицанием отрицания*, то есть, утверждением». «Я»,—например, организм—это исходный пункт, тезис, окружающая среда—антитезис, преодоление противоположности в процессе приспособления—это синтез. Правда, Каутский считает «сомнительным, чтобы развитие всего мира и органического и неорганического укладывалось в данную схему». Во всяком случае, глубокомысленно замечает он, «и в неорганическом мире каждое новое движение происходит из противоположности или столкновения противоположных элементов»¹.

Развивая вышеуказанную точку зрения, Каутский резко выступает *против гегелевского понимания* диалектики, воспринятого марксизмом. В чем же обвиняет Каутский Гегеля? У Гегеля, по словам Каутского, тезис и антитезис—это «не две отличные одна от другой вещи»,—как у Каутского среда и организм,—«это не две отличные друг от друга вещи, воздействующие одна на другую, но у него (у Гегеля) уже *в тезисе содержится противоречие с самим собой*, содер-

¹ Каутский, К., там же, т. I, стр. 129, 130.

жится самоотрицание». Гегель говорил о «самодвижении духа». К сожалению, Маркс и Энгельс восприняли это гегелевское представление о развитии и лишь ограничились тем, что поставили его на ноги, «*только перевернули*» его. Между тем нужно было изменить и само *направление* движения и отыскать его подлинные движущие силы. Понятие «самодвижения», с точки зрения Каутского, оказывается совершенно недостаточным и негодным для материалистического понимания диалектики.

Каутский выступает поэтому и против тех примеров, которые приводит в защиту своего материалистического понимания Энгельс в «Анти-Дюринге». Он берет знаменитый пример Энгельса с ячменным зерном. Как известно, в примере Энгельса колос является отрицанием зерна, этот колос порождает новое зерно и последнее является отрицанием отрицания, отрицанием колоса. По мнению Каутского, пример с ячменным зерном неудачен, потому что здесь имеет место простое органическое изменение. Энгельс видит лишь смену оболочки, смену форм; между тем содержание зерна меняется своим собственным путем, путем органическим, причем это изменение содержания колоса не носит никаких внешних признаков диалектического отрицания, которое относилось бы к первоначальному зерну. Не приходится, по мнению Каутского, говорить здесь также о синтезе, об отрицании отрицания. Когда нарождается новое зерно, рассуждает Каутский, породивший его колос еще не погибает. Получается, что *разновременны* имеют место отрицание колоса и появление нового зерна, которое должно было бы знаменовать собою синтез. А раз это разновременные явления, то, стало быть, мы не имеем здесь и никакого отрицания отрицания.

Столь же «уничтожающе» разбирает Каутский пример Энгельса с развитием частной собственности. Здесь Каутский не может отказать себе в удовольствии с иронизировать по поводу того, что и Маркс в «Капитале» и Энгельс в «Анти-Дюринге»—оба говорят о диалектическом развитии частной собственности, но у обоих получаются совершенно различные пути развития. У Энгельса мы имеем схему: первобытный коммунизм, частная собственность, будущее коммунистическое общество. Маркс же начинает с индивидуальной собственности, прослеживает превращение ее в собственность капиталистическую, и, наконец, восстановление в будущем на новой основе этой индивидуальной собственности. Попробуем, говорит Каутский, соединить обе схемы, далее включить еще и другие этапы, например, феодальную собственность и т. д. Что же тогда получится из отрицания отрицания?!

И Каутский педантически поучает Маркса и Энгельса той истине, что ведь не сами общественные формы изменяются и сменяют друг друга, а изменяют их те люди, которые живут при данных общественных формах. Стало быть, умозаключает Каутский, мы имеем в этом развитии вовсе не один фактор, не «самодвижение», но имеем отношение между двумя факторами,—между людьми и окружающей их средой.

Короче говоря, Каутский приходит к следующим общим выводам. Описанный им самим триадический процесс он принимает только для

мира органического, но «ни в коем случае,—замечает он,—не принимаю я его в том виде, как иллюстрирует это Энгельс, т. е. когда движение и развития рассматриваются не как взаимодействие двух факторов—индивида и среды,—но как *движение из самого себя* лишь одного фактора, индивидуума, когда стараются отыскать и тезис и антитезис в одном и том же индивидууме». Таков первый вывод Каутского.

Во-вторых, говорит далее Каутский, возникают «большие сомнения по поводу гегелевской схемы диалектики, как необходимой формы движения и развития *всех* явлений мира»¹. Каутский ограничивает *свой* диалектический процесс миром органическим, и, как мы увидим далее, он ограничивает его в сущности одним миром общественным.

Конечно, находиться в явном противоречии с Марксом и Энгельсом не совсем ловко даже для Каутского. Он старается поэтому всячески доказать, что и у Маркса и Энгельса мы, собственно, не имеем полного прития гегелевской точки зрения на диалектику; что Маркс только «кокетничал» в свое время с гегелевской терминологией; что у Энгельса мы встречаем различные оговорки по поводу отрицания отрицания. При этом характернее всего то, что сам Каутский прекрасно понимает, что уважение Маркса и Энгельса к Гегелю объясняется не просто историческим происхождением их метода. Он понимает, что этот гегелевский метод имел огромное значение для правильного пути исследования истории и политической экономии.

Но... Каутский рвется в бой. «Грехов», уже обнаруженных ми у Энгельса, явно недостаточно. И Каутский *открывает у Энгельса... самый настоящий идеализм!* «Идеализм» этот он видит в понятии совершенствования мира, о котором говорит Энгельс, рассматривая некоторые диалектические процессы. Энгельс, как известно, приводит и такой пример, когда растение или цветок, благодаря заботам садовника, совершенствуется и приобретает новые качества. Позвольте, громит Каутский Энгельса, ведь понятие усовершенствования есть не что иное, как то же понятие целесообразности, а понятие целесообразности явно противоречит материалистическому пониманию. Ведь задача материализма не в том, чтобы отыскивать какое-либо направление в развитии,—направление, скажем, по линии совершенствования, но лишь в том, чтобы выявить движущие силы этого развития, то есть, два фактора—«я» и «среду».

Достаточно сопоставить все эти пространные и нудные рассуждения с четырьмя маленькими страничками ленинского отрывка о диалектике, чтобы сразу бросилось в глаза все наивное и смехотворное понимание материалистической диалектики Каутским. Совершенно очевидно, что когда Энгельс говорит о развитии зерна, то для него важны *вовсе не временные последовательные этапы* в развитии зерна, которые играют основную роль в «диалектике» Каутского. Для Энгельса важно изобразить развитие зерна, как *самодвижение*, т. е., другими словами, важно показать, как в самом зерне появляются силы,

¹ Каутский, К., цит. соч., т. I, стр. 132—134.

которые ведут его к отрицанию, показать, что зерно само внутренне противоречиво, что антитезис рождается из тезиса, что в этом зерне мы имеем единство противоположностей. Как в данном примере, так и в примере с частной собственностью, именно этот момент существенен для Энгельса: момент единства противоположностей, а отнюдь не триадическая «схема» с временной или иной последовательностью, самый характер которой, как указывал Энгельс, всегда определяется конкретными условиями. Те возражения, которые делает Каутский Энгельсу, очень напоминают старые-престарые «опровержения» диалектики, неоднократно производившиеся представителями народнического лагеря, а также и покойным А. А. Богдановым...

Совершенно очевидно также, что «идеализм», который Каутский откопал у Энгельса, нужно отнести насчет фантазии самого Каутского. Дело в том, что марксисты *вовсе не отрицают* понятия прогресса и не отрицают понятия совершенствования, как не отрицают и целесообразности, обнаруживающейся в некоторых случаях в развитии, при том, конечно, условии, что эти понятия каждый раз отражают некоторый, *объективно* имеющий место процесс и являются лишь специфическими *формами* проявления закономерного процесса. Но Энгельс *вовсе нигде не утверждал*, что во всех случаях, что *всегда* имеют место такой прогресс и совершенствование. Отрекаясь же от всякого представления целесообразности, Каутский застревает в сущности на той же механистической позиции, как и в своей трактовке случайности.

Неудивительно, после всего этого, что Каутский становится на чисто формально-логическую позицию и в вопросе о *противоречии*. Энгельс указывал, что противоречия существуют не только в наших мыслях, но и в реальной действительности. Полемизируя по этому поводу с Дюрингом, он приводил в качестве примера движение. Само движение уже потому является противоречием, что движущийся предмет в одно и то же время и находится в данном месте, и в то же время не находится в нем, находится в другом месте¹. Каутский вооружается и против этого примера, против *основного* положения марксизма о характере движения. Ведь противоречие, рассуждает он, совершенно невыносимо в области собственного мышления, как же возможно оно в *объективной* действительности!

В действительности же, по мнению Каутского, движение только потому может рассматриваться Энгельсом, как нечто противоречивое, что Энгельс уже заранее *предуказал* эту противоречивость *в своем определении* движения. В самом деле,—говорит Каутский,—если бы мы могли все расстояние между двумя точками разбить на бесконечное количество мелких точек, тогда можно было бы мысленно прикрепить движущийся предмет к каждой из этих точек. Но ведь мы не в состоянии этого проделать, мы не в состоянии даже представить себе такую бесконечность. Как же можно говорить о противоречии?! Противоречие, на которое указывал Энгельс, имело место в *определении*, кото-

¹ Энгельс, Анти-Дюринг.

рое он дал движению, замечает Каутский, «определение же есть суждение, а суждения существуют *лишь в моем сознании*, которое может ошибаться, а отнюдь не во внешнем мире»¹. Противоречия действительности таким образом ставятся в зависимость от совершенства и несовершенства наших субъективных суждений. Уничтожение противоречий—в полном согласии с воззрениями на этот счет Э. Маха—объявляются Каутским необходимым законом, неизбежной формой «приспособления» нашего мышления.

Эту зависимость от субъекта Каутский склонен распространить и на весь процесс диалектического развития. Для Маркса, Энгельса, Ленина диалектика—объективный закон всеобщего движения, всеобщего развития природы и общества. Для Каутского дело обстоит иначе. «О борьбе противоположностей в собственном смысле слова,—замечает он,—можно говорить лишь там, где налицо сознание, которое познает свою противоположность и стремится эту противоположность преодолеть. Правда, в ином смысле, чем Гегель, но мы тоже рассматриваем диалектический процесс преимущественно, как духовный процесс, как борьбу познающего и сознательно-воздействующего существа с окружающей его средой»².

И далее Каутский переходит к различным вариациям на тему о консервативности духа, который в своем развитии получает «толчки» от окружающего мира и должен к этому миру приспособляться. Легко заметить, что теория, развитая здесь Каутским, весьма напоминает точку зрения на диалектику, которая недавно выдвигалась и другим западноевропейским теоретиком, Г. Лукачем. Если говорить, что диалектический процесс имеет место только там, где налицо сознание, то этим самым и объективная диалектика, все диалектическое движение и развитие природы и общества становится в зависимость от субъекта, в зависимость от развития человеческого общества.

И эту теоретическую окрошку из механического материализма и идеалистического субъективизма Каутский решает преподнести читателям, в качестве «квинтэссенции» работы всей его жизни. Поистине жалкая жизнь, поистине плачевные результаты...

IV. Диалектика или мировая схематика?

Мы видели уже из всего предшествующего, что в построениях Каутского имеется явно выраженный уклон к идеализму. И нужно сказать, что такой уклон к идеализму, уклон к априоризму и схематизму совершенно неизбежен для всего механистического миропонимания Каутского. По этому поводу Маркс хорошо писал еще в своей ранней «Критике Гегелевской философии права»,—что абстрактный материализм и абстрактный спиритуализм весьма родственны один другому.

Мы, к сожалению, не имеем никакой возможности остановиться здесь на различных примерах чисто априористического понимания Каутским различных общественных явлений, априористического понимания им демократии, собственности и т. д. Общественно-исторический раздел сочинений Каутского дает в этом отношении богатый материал. Мы задержим внимание только на метафизическом схематизме построений Каутского, приводящего его, как некогда и Дюринга, к некоторой новой мировой схематике.

Основная схема, которую выдвигает Каутский и которую он считает определяющей и совершенно необходимой для понимания развития природы и общества,—это теория равновесия: понимание развития природы и общества,—это теория равновесия: понимание развития, как некоторого приспособления к среде, которое протекает при помощи постоянного нарушения и восстановления равновесия. Каутский выдвинул этот взгляд еще в своих более ранних работах. В своей известной работе: «Размножение и развитие в природе и обществе» Каутский отметил известную тенденцию к осуществлению равновесия между силами, поддерживающими данную группу организмов, и силами, разрушающими эти организмы. Между силами природы, таким образом, на каждом этапе развития существует известное равновесие.

По мнению Каутского, нужно различать различные типы этого равновесия и различные формы его нарушения. В мертвой природе равновесие нарушается геологическими катастрофами, нарушается оно климатическими изменениями, наступлениями ледниковых периодов и т. п. В промежутках же между этими катастрофами,—полагает Каутский,—мы имеем целые тысячелетия, когда условия жизни остаются неизменными. Человеческое общество несет с собой в своем приспособлении к условиям природы совершенно новую форму, новый тип нарушения этого равновесия в природе. Изменения, которые человек совершает в природе,—изменение им лица земли, опустошения лесов и т. п.,—представляют собой совершенно новый момент, свойственный только человеческому обществу, возможный только там, где существуют люди.

Обосновывая этот свой взгляд, Каутский вновь открыто выступает против Энгельса. Дело в том, что Энгельс в своих отрывках из «Диалектики природы» развил чрезвычайно любопытную мысль о том, что такие формы борьбы за существование, как хищническое истребление лесов и т. п., играют огромную роль не только в человеческом обществе, но и в животном царстве. Каждый организм, поскольку он живет и питается, так же стремится воздействовать на окружающие явления; он воздействует на них, как новый фактор, и это всеобщее взаимодействие только и обуславливает характер развития. Естествоиспытатели, по словам Энгельса, забывают об этом всеобщем взаимодействии, «об этом всестороннем движении и взаимодействии». Энгельс приводит такие исторические примеры, когда хищническое питание животных определенным родом пищи воздействовало определенным образом и на собственное развитие этих животных. Он указывает, например, что козы в исторической древней Греции сыграли определенную роль тем, что уничтожили пастбища. Аналогичный пример

¹ Kautsky, K., цит. соч., т. I, стр. 148.

² Там же, стр. 141.

приводит он и из истории острова Св. Елены¹. Короче говоря, Энгельс и в этом случае стремится представить развитие животных, как «самодвижение», в котором они сами также выступают, как некоторый *активный*, определяющий фактор, *определенно-направленным образом* отражающий воздействие среды.

Но такая диалектическая концепция нарушает всю схематику Каутского. По мнению Каутского, Энгельс забывает в данном случае о людях, которые «стояли» за животными, которые, приручая животных, делали возможным также хищническое истребление. Стало быть, и здесь новый тип нарушения равновесия объясняется воздействием общества, человека. Всюду, где мы имеем такое хищническое нарушение равновесия в природе, происходящее не путем геологических катастроф, климатических изменений, всюду там, по теории Каутского, виновником нарушения равновесия является человек.

Отсюда Каутский делает следующие выводы: в природе имеют место три рода приспособления. Во-первых, приспособление *пассивное*. Оно заключается в том, что в организме «изменения происходят без всякого участия организма, непосредственно, как результат изменяющегося воздействия на него среды». Сам организм, таким образом, не участвует активно в этом развитии, не воздействует на окружающую среду, но *лишь пассивно* отражает воздействие на него окружающей среды.

Второй тип приспособления—по теории Каутского—приспособление *активное*. Здесь, благодаря изменению окружающих условий, под воздействием среды изменяется «характер деятельности самого организма». Вследствие этого изменяются различные органы индивидуумов того или иного типа животных. Это «активное приспособление», таким образом, понимается Каутским несколько односторонне, как продукт *механического* воздействия изменившейся среды.

Наконец, имеется еще третий вид приспособления—*сознательное* приспособление человека к природе. В человеческом обществе,—говорит Каутский,—мы имеем дело уже не только с активным видом приспособления, но и «с сознательным приспособлением при помощи целесообразного искусственного создания вещей и отношений». Здесь Каутский указывает на технический прогресс, на рост открытий, изобретений и т. д.

Если попытаться разобраться во всей этой схеме, построенной Каутским, сразу бросается в глаза, что, с одной стороны, им мыслятся целые длительные периоды, когда лишь одно внешнее вмешательство, например, геологическая катастрофа может вызвать изменение в организмах. Внешнее воздействие, нечто вроде катастроф Кювье, оказывается единственным фактором, обуславливающим дальнейшее движение и развитие. И лишь когда начинается проявление деятельности сознания—а Каутский считает, что и в «активном» приспособлении животного организм чуть ли не на самых ранних его стадиях мы уже имеем некоторую минимальную долю работы сознания, «потреб-

ности» и «волю»—только тогда создается иной тип приспособления, приспособление активное, постепенно перерастающее в приспособление сознательное.

Иными словами, диалектический закон взаимодействия оказывается *недействительным*, по крайней мере, для *огромного исторического периода*: пока не существовало сознания, пока не существовало, во всяком случае, органического мира. Нужно заметить, что изложение Каутского здесь носит недостаточно отчетливый и противоречивый характер. В одном случае он говорит, что возможны некоторые ранние формы активного приспособления без участия сознания. В другом же месте он указывает, что во всяком активном приспособлении, хотя бы в минимальной дозе, но уже имеет место работа сознания¹. Противоречие это объясняется тем, что в своем понимании эволюционной теории Каутский почти безоговорочно становится на сторону *неоламаркизма*. Если в основном концепция Каутского приближается к т. н. *механо-ламаркизму*, ищущему причины изменения органов в изменении характера их деятельности под воздействием изменившейся среды,—то, с другой стороны, на его воззрениях не могло не сказаться и старомарксистское, *волюнтаристское* представление о роли «внутренних усилий», «воли», «потребностей» в процессе активного приспособления. На этом специальном вопросе мы не станем останавливаться здесь более подробно. Как бы то ни было, но совершенно новый тип приспособления, развитие, протекающее в *диалектическом* взаимодействии, делается, по Каутскому, возможным *лишь с появлением на земле сознания*.

Вы видите, как здесь совершенно последовательно развивается намеченная выше точка зрения. Диалектический процесс—это отнюдь не процесс, имеющий место в природе и в обществе как всеобщий постоянный *объективный* закон развития. Диалектическое развитие есть нечто зависящее от существования сознания, от развития человеческого общества.

Только в этом случае Каутский считает возможным апеллировать к Гегелю. Интересно, что недостатки схемы развития Гегеля Каутский видит не в его идеализме, но лишь в том, что Гегель недостаточно различает *формы* развития: развитие отдельных *организмов* и развитие целых животных и растительных *видов*. При развитии отдельного организма,—говорит Каутский,—его «вид», совокупность его качеств даны заранее, этот вид не изменяется в процессе развития организма. Индивидуум тут не имеет никакого влияния на изменение окружающей среды. Зато только здесь можно говорить о целесообразности развития организма, об определенной, априори данной направленности этого развития к своим видовым качествам. Другими словами, если мы имеем дело с отдельными индивидуумами, то в каждом из них заложены некоторые свойства, которые передаются по наследству и которые заставляют организм развиваться по определенным путям. Тут, согласно Каутскому, еще можно говорить поэтому о самодви-

¹ Каутский, цит. соч., т. I, стр. 722.

¹ Ф. Энгельс, Диалектика природы.

жени, о целесообразности этого развития. Иначе обстоит с развитием целых видов животных и растений. Здесь мы имеем дело уже с активным приспособлением видов к окружающей среде. Но зато мы теряем право говорить о «саморазвитии», об определенном направлении этого развития. Можно говорить лишь о взаимоотношении между двумя факторами—между данным видом организмов и окружающей средой.

Совершенно очевидно, что Каутский становится здесь на явно метафизическую точку зрения. Рассматривая чисто механически процесс развития видов—как процесс, *необходимо* совершающийся под воздействием среды, а потому якобы исключаяющий всякое влияние *случайностей*, возможных лишь в развитии индивидуальных представителей—он проводит явный *разрыв между общим и единичным*. Для Каутского развитие индивида, развитие отдельного организма представляет собой совершенно иной процесс, чем развитие «общего», развитие всего вида. Мы прекрасно, между тем, знаем, что развитие этого «общего» конкретно осуществляется только в развитии отдельных организмов. У Каутского нет понимания этой диалектической связи между «общим» и «единичным». Каждый отдельный индивид, развиваясь, вовсе не только выявляет «априори» заложенные в нем унаследованные качества: это было бы чисто количественное увеличение, *рост* этих качеств. Одновременно, начиная с материнского чрева, он *взаимодействует* с окружающей средой, но это взаимодействие осуществляется по законам его собственного качества. Но точно таким же образом преломляет в себе воздействие среды и целый животный «вид»; и здесь, стало быть, имеет место «самодвижение» вида, и отличие лишь в том, что при изучении его мы *отвлекаемся* от особенностей отдельных индивидов¹.

Каутский сам сознает, что процесс общественного развития, согласно его схеме, весьма напоминает гегелевский процесс развития «духа». Общее и у Гегеля, и у Каутского—наличие духа, движущего общественное развитие. Различие между ними только то, что у Гегеля дух развивается «из самого себя», создает свои собственные антитезы и синтезы. Согласно же оговоркам Каутского, дух побуждается к этому развитию внешней средой, получает побуждения извне. «Изложенный здесь характер диалектики,—замечает по этому поводу Каутский,—не совпадает целиком с диалектикой, охарактеризованной Энгельсом в «Анти-Дюринге»... Наша диалектика в некоторых пунктах *больше соприкасается с гегелевской, чем с энгельсовской диалектикой*».

С какой диалектикой соприкасается в этом случае диалектика Каутского,—должно быть ясно для каждого совпартшкольца. Каутский сам подписывается здесь под тем, что его диалектика соприкасается с *идеалистическими* моментами гегелевской диалектики. Как и Гегель, Каутский открыто признает, что «диалектика, в которой тезис сам

¹ Значение «случайностей» для понимания развития видов с особенной силой подчеркнул Энгельс в фрагментах «Диалектики природы» (Архив М. и Эн., т. II, стр. 195):

создает свой антитезис, имеет значение лишь для человеческого развития *в обществе*»¹.

Мы имеем здесь явное отступление от материалистического понимания явлений, от монистического понимания единства мирового процесса. Общественные явления таким путем совершенно отгораживаются от явлений природы. Казалось бы, зачем после всего этого Каутскому нужно отстаивать свое родство с *марксистской* методологией? Но, по понятным причинам, Каутскому неудобно показаться вовсе без всякого марксистского «фигового листка». И потому, быть может, э быть может по наивности—он полагает, что и в его методе и в результате изучения, в сущности, вся его концепция совпадает с концепцией Маркса и Энгельса.

«Я и сейчас еще,—величественно цедит Каутский,—согласен с Марксом и Энгельсом и в методе и в его применении, хотя (?) я отступаю от их философских обоснований в том отношении, что частично иначе понимаю диалектику развития»². Но, ведь, все дело именно в этом маленьком «хотя»!

V. Исторический материализм или волюнтаризм?

Подмена Каутским диалектики эклектизмом и софистикой, его идеалистические уклоны не могли не сказаться, разумеется, и на понимании им хода общественного развития и отдельных категорий исторического материализма. Мы остановимся в данной связи только на понятии производительных сил и производственных отношений.

Каутский—как и «психомарксисты» типа Макса Адлера—всячески подчеркивает *духовный*, «волевой» момент в образовании общественных производственных отношений. Он, правда, указывает,—и правильно указывает,—что характер этой воли *не зависит* от человеческого произвола. Люди вступают между собой в общественные отношения через посредство своей «воли», но сама эта воля и ее направление независимы от их желания. Чем же она определяется, согласно теории Каутского? В этом необходимо внимательно разобраться, чтобы понять, *куда растет* вся его концепция «оговорочек». По Каутскому, «воля» участников производственных отношений предопределена частично их «прирожденными потребностями», частично же *потребностями*, каждый раз порождаемыми окружающей нас средой и уровнем наших *знаний*, который обуславливается этой средой.

Производственные отношения, в которые люди вступают между собой, являются, по мнению Каутского, постоянным «следствием *сильной воли*», т. е. воли лиц, участвующих в производственных отношениях. Производственные отношения, таким образом, суть следствие некоторых потребностей, но зато характер самих человеческих потребностей определяется степенью развития их материальных производительных сил³.

¹ Каутский, цит. соч., т. I, стр. 791.

² Там же, стр. 805.

³ Там же, стр. 807—809.

От «сильной воли» Каутского до того отдаёт волюнтаристской философией, что невольно возникает новый вопрос: что же собственно понимает он под развитием материальных производительных сил. Наши худшие предположения оправдываются. Каутский полагает, что под материальными производительными силами следует понимать «не одни только материальные вещи», но что в них следует включить *всю ведущую к материальному богатству «духовную работу»*. Более того, по словам Каутского, «в каждый данный момент богатство общества в *гораздо большей мере обуславливается уровнем познания, характером его духовных качеств, чем массой вещей, имеющейся для потребления*»¹.

Здесь Каутский припоминает ту точку зрения, которую в свое время высказывал известный утопист-социалист Годскин. Маркс в «Теориях прибавочной стоимости» упоминает об этой утопической точке зрения, явившейся реакцией на экономическую апологетику капитала. Годскин горячо протестовал против воззрения, согласно которому основную роль в производстве играют лишь мертвые производительные силы капитала. Он указывал, что, когда мы говорим о производительных силах, необходимо прежде всего учитывать роль труда, учитывать значение духовных способностей трудящегося человека.

Маркс считал, что точка зрения Годскина является весьма интересной, как реакция против чисто буржуазного понимания производительных сил, видевшего один лишь постоянный капитал, одну лишь голую технику. Но, предлагая учитывать «суб'ективную» сторону технической организации, Маркс вместе с тем предостерегал от полного принятия утопической, лишенной историзма позиции Годскина. Он говорил, что Годскин сам заблуждается, что в производительных силах мы имеем не только духовные способности и их развитие, но что определяющую роль в условиях капитализма играет материальная сторона производительных сил (орудия труда, техника), которая обуславливает развитие духовных способностей². Производительные силы, стало быть, мы должны мыслить, как единство обеих сторон, *единство*, в котором определяющее значение принадлежит *материальной* стороне.

Как же поступает в этом случае Каутский? Каутский заявляет, что Маркс, якобы, всецело согласен с точкой зрения Годскина, что для Маркса развитие производительных сил—это прежде всего развитие *духовных способностей*. Отсюда следует вывод: «если справедливо относительно материальных производительных сил, что они по большей части духовной природы, то это совершенно справедливо и относительно производственных отношений. Каждый интерес, испытываемый человеком,—духовной природы. Таким образом, *весь материальный базис весьма проникнут духом*».

Вывод этот особенно подкрепляется у Каутского еще тем обстоятельством, что в число производительных сил он,—как и подобает

¹ Каутский, цит. соч., стр. 813.

² Маркс, т. III. Теории прибавочной стоимости.

истому позитивисту,—почтительно вводит *естествознание*. По словам Каутского, «нет никакого сомнения, что познание природы принадлежит к производительным силам.» Оно, по его мнению, *наиболее важный фактор развития*. В то время как прирожденные способности человека и силы его природного окружения представляют собой относительно *неизменный* фактор, познание природы является *переменным фактором* в сумме данных производительных сил»¹.

А отсюда вытекает последний и решительный вывод Каутского: «Развитие материальных производительных сил, таким образом, в основе своей есть *лишь иное обозначение для развития познания природы*. Глубочайшей основой «реального базиса», этого материального фундамента человеческой идеологии, оказывается, таким образом, *духовный процесс*—процесс познания природы»². Конечно, вслед за этим на каждой странице следуют новые «оговорочки»: насчет того, что духовный процесс в свою очередь обусловлен материальными условиями, что мы не имеем развития духа «из самого себя». Но дело сделано. Мелкобуржуазный читатель Каутского может успокоиться: «материализм» социал-демократии оказывается совсем «нестрашным», он как две капли воды похож на самый обыкновенный буржуазный волюнтаризм! С другой стороны, при наличии оговорки, никто не посмеет обвинять Каутского и в явно выраженном идеализме.

Но уже, во всяком случае, слишком бросается в глаза невероятный эклектизм Каутского,—то обстоятельство, что он, говоря словами Ленина, дает «рядом два решения», что он не умеет найти их синтез, не умеет увязать суб'ективную «духовную» сторону производительных сил с их об'ективной стороной.

Почему же это имеет место у Каутского? Дело в том, что он совершенно не понимает исходного и основного методологического пункта, без которого правильное познание всех категорий исторического материализма совершенно немислимо, который Плеханов, например, считал основным методологическим принципом материалистического об'яснения истории: Каутский *не исходит из единства об'екта и суб'екта*.

Естественно, что он не умеет связать между собой суб'ективную и об'ективную сторону и в таком явлении, как производительные силы. Каутский рассматривает понятие производительных сил *формально-логически*,—как понятие чисто *абстрактное*. Между тем, с точки зрения диалектического понимания производительные силы—это, прежде всего, *конкретное* понятие. Конкретное же понятие производительных сил предполагает «единство в многообразии»: оно включает в себя «силы» и «способности», взятые не абстрактно, но *в конкретных связях*, стало быть, и при тех материальных условиях, при которых эти «силы» только и конкретизируются.

Таким образом, мы имеем у Каутского явный методологический *разрыв* между различными сторонами производительных сил. Но

¹ Каутский, там же, стр. 867.

² Там же, стр. 864.

такой же методологический разрыв обнаруживается у него между техникой и экономикой. Каутский считает необходимым «строго различать» вещественную и общественную стороны труда, его техническую организацию и общественные формы, поскольку «с одной и той же техникой часто соединяются различные виды общественного труда»¹.

Легко заметить, что *чрезмерное* разграничение этих двух сторон единого процесса производства прекрасно согласуется с теорией мирного вранения в социализм. Зато едва ли позволит оно Каутскому провести различие между, скажем, капиталистической рационализацией и рационализацией социалистической! Неудивительно, что такой же недialeктический разрыв имеет место и между производством и распределением в его теории классов.

Из той же «подмены диалектики» вытекают и характерные черты его учения о государстве, о революции, о роли идеологии.

VI. Под занавес: о философии и революции.....

Для методологии Каутского весьма характерно, что он, подобно всем буржуазным теоретикам, делит науки на чистые и прикладные, — полагая, что прикладная наука социализма имеет своим основанием чистую, об'ективную науку—материалистическое понимание истории. Переход на рельсы такого академического об'ективизма для Каутского совершенно неизбежен, поскольку он втискивает исторический материализм в свои заранее подготовленные схемы.

Между тем, «об'ективная» схематика Каутского в действительности находится в полной зависимости от его политического оппортунизма. Последнее особенно рельефно сказывается в трактовке им вопроса о соотношении между «новым» и «старым», о значении новой *идеологии* для изменения существующего строя.

Понятие «нового», как известно, тесно связано в материалистической диалектике с категорией качества. Нужно сказать, что в вопросе о качестве Каутский как-будто бы не занимает явно выраженной механистической позиции. Он говорит даже, что «каждое качество имеет определенные законы, которые действуют в его области». Он отрицает «возможность всякое качественное различие свести к простому количественному различию». Правда, и здесь Каутский не может обойтись без оговорок: нельзя производить такое сведение лишь «при теперешнем состоянии нашего познания»!¹

Как же трактуется Каутским появление нового—это один из основных и наиболее важных вопросов марксистской диалектики. Известно, что категория «нового» совершенно необходима для выявления *революционной* точки зрения марксизма. Но трактуя «новое», как качественно отличное от «старого», марксизм не забывает в то же время и о связи нового со старым, со всем предшествующим, на кото-

¹ Каутский, цит. соч., стр. 198.

рое это новое опирается в своем развитии. Этого отчетливого понимания путей развития нового нет у Каутского. С одной стороны, у него получается, что новое, в сущности говоря, есть не что иное, как количественно усиленное *повторение старого*, его лишь более интенсивное развитие и механическое преобразование. С другой стороны, Каутский указывает, что новое есть нечто *совершенно особое*, такое особое, которое ни в коем случае не подлежит сравнению со старым: иначе получится, что мы подкрашиваем, «маскируем» новое под старое.

Он приводит пример пролетарской и буржуазной революции. Большевики, по его мнению, неправильно рассматривают пролетарскую революцию таким образом, что она должна использовать опыт буржуазных революций, напрасно называют себя якобинцами, обращаются к опыту 48-го года, к Парижской Коммуне и т. д. Здесь они делают ту ошибку, на которую указывал еще Маркс, когда люди без всякого на то основания надевают на себя старые облачения. На самом же деле в пролетарской революции мы имеем дело с совершенно новым явлением, и нельзя поэтому сравнивать теперешнее ее положение и развитие пролетарской революции с теми формами, в каких развивалась революция буржуазная. Понятно, зачем понадобился Каутскому такой невероятный «радикализм». Он оказался ему нужным для того, чтобы доказать, что пролетарская революция будет носить совершенно иные формы, формы более демократические и мягкие, несколько не напоминающие о насилиях буржуазных революций. Выходит, что новое несколько не напоминает старого...

Но Каутский, таким путем, попадает в невыгодное положение. Ведь ему, Каутскому, нужно защищать именно старое, ведь его точка зрения реформистская, а не революционная. Поэтому он *не может не противоречить себе* в данном вопросе. Тут же рядом он старательно доказывает, что новое—это, в сущности, то же, лишь несколько преобразованное и подновленное старое...

В особенности относится это, по мнению Каутского, к новой *идеологии*. По поводу новых «разрушительных» идей Каутский выражается следующим образом: «Идея радикально разрушить все существующее для того, чтобы создать совершенно новое, не менее бессмысленна в общественных отношениях, чем в технике»¹.

Совершенно понятно, что этот намек направлен по совершенно определенному адресу. Слишком очевидно, о *каких* разрушителях идет речь и о разрушителях *какого* старого.

Но еще очевиднее этот намек в заключении книги, где Каутский вновь возвращается к столь поспешно покинутому им «философскому духу». Подводя итоги значению естественной науки для общественного развития, Каутский, разумеется, не может и здесь обойтись без некоторых оговорок. Он, конечно, не отрицает за философским духом *всякого* значения в развитии общества. Он не может сказать также, что «философский дух не имеет отношения к развитию естествознания».

¹ Каутский, там же, стр. 666.

Простое ознакомление с фактами, одна эмпирия, не дает еще настоящего познания,—говорит Каутский... Нужна согласованная связь отдельных фактов. «Этого не в состоянии сделать эмпирик, это в состоянии осуществить лишь дух философии».

«Но горе ему,—поспешно замечает Каутский,—если этот философский дух пожелает выйти за эмпирическую основу, за основу опыта и достигнуть новых познаний *чисто логическими революциями*, происходящими только в мышлении»¹.

Едва ли могут быть сомнения, по поводу какого такого философского духа говорит здесь Каутский. Это тот философский «дух времени», который, выражаясь языком Гегеля, «двинулся вперед». Это—*философский дух нашей революции!*

И на заключительных страницах своего сочинения Каутский сводит концы с концами: он раскрывает все карты социал-демократической философии истории. Прежде всего,—указывает он,—закон социальной революции, который установили Маркс и Энгельс, закон, согласно которому преобразование общества предполагает революционную борьбу и победу нового класса, вовсе не следует рассматривать, как некоторый всеобщий исторический закон. Каутский долго и убедительно доказывает, приводя целый ряд исторических примеров, что по существу до периода развития промышленного капитализма история вовсе не знала таких революций, в том смысле, чтобы эти революции влекли за собою смену форм производства, смену форм общественных отношений. По словам Каутского, и в древнем обществе и в развитии ряда азиатских стран имела место классовая борьба, но закон революции, преобразующий общество, там не действовал.

Что же в таком случае являлось фактором, воздействующим на общественное развитие? Таким движущим фактором там, оказывается, служили *нашествия варваров*. Нашествия эти коренным образом изменяли формы производства, определенную общественную систему и вызвали, таким образом, дальнейшее развитие². Таков был, по мнению Каутского, механизм общественного движения, по крайней мере, до начала средних веков. Поэтому закон социальных революций можно рассматривать лишь, как закон развития промышленного капитализма.

Мы не можем в данной связи остановиться на крайне сложном вопросе, затронутом Каутским: поскольку закон социальной революции действовал *в полной мере* в течение всего процесса исторического развития и вызывал превращение одних форм производства в другие общественные формы. Заметим только, что о *мере* использования современных исторических категорий для изучения прежних общественных форм, немалочисленных соображений Каутский мог бы найти все в том же Марксовом «Введении». Интересно, однако, другое: то, что Каутский сознательно или бессознательно, но *возвращается к старой*

¹ Каутский, цит. соч., т. II, стр. 874.

² Там же, стр. 618—620.

престарой точке зрения Дюринга, которая в качестве основного движущего фактора общественного развития выдвигала *насилие*, видела этот фактор в нашествиях варваров. Каутский возвращает здесь к точке зрения, достаточно осмеянной Энгельсом, и ограничивает действие Марксова закона исторического развития только определенным небольшим историческим периодом.

Но историческая точка зрения Маркса терпит у Каутского ограничения и другого свойства. Известное положение о том, что ни одна общественная формация не погибает, пока не разовьются все свои производительные силы, для которых она достаточно широка, это положение Маркса, по мнению Каутского, *неприемлемо для эпохи развитого капитализма и пролетарской революции*. Потому что, по словам Каутского, «победа пролетариата произойдет *ранее*, чем будут достигнуты границы развития производительных сил внутри капитализма»¹.

Таким путем, во-первых, оправдывается вся теория «сверхимпериализма» Каутского, согласно которой силы капиталистического развития беспредельны. Во-вторых, с помощью такой схемы обосновывается социал-демократическая теория, теория победы пролетариата при помощи мирных демократических средств борьбы. «Закон» социальных революций, таким образом, *не действовал* в прошлом и *не будет действовать* и в будущем. Действие его весьма и весьма ограничено одним периодом буржуазных революций. Зато Каутский подчеркивает, что «новые производственные отношения, согласно концепции Маркса, не могут возникнуть, пока не созрели материальные условия для их существования». Понятно, почему *именно это* положение так охотно приемлется Каутским. Оно нужно ему, чтобы сделать ядовитый намек на «некоторых марксистов», якобы игнорирующих это основное положение Маркса в своей революционной практике...

Мы не станем повторять здесь ленинскую никем не провозглашенную критику всех этих соображений Каутского, от которых отдает все тем же явно механическим пониманием хода исторического процесса. Мы не можем останавливаться здесь и на множестве других вопросов, которые поднимает в своей книге Каутский и которые требуют специального рассмотрения.

Важно лишь подчеркнуть, что книга Каутского, помимо ее общего интереса, представляет для нас и некоторый *специфический интерес*. Она дает очень многое для понимания той философской дискуссии, которая сейчас имеет место у нас, в советском марксизме. Мы имели возможность убедиться, что в весьма существенных пунктах—в вопросе об общем отношении к проблеме философии и, в частности, к Гегелю, в механистическом понимании диалектики, в понимании случайности, причинной связи, понимании «нового», в превеликом почтении к буржуазному естествознанию, и т. п.—мы видели, что во всех этих пунктах концепция Каутского

¹ Каутский, там же, стр. 623.

весьма напоминает положения, которые выдвигались некоторыми теоретиками и в советском марксизме.

Мы считаем это *неслучайным* совпадением. Неслучайно то, что, с одной стороны, появляются на свет «Диалектика природы» Энгельса и отрывки Ленина о диалектике, в которых подчеркивается вся важность диалектики и ее революционное значение, указывается на необходимость внимательного изучения гегелевской диалектики и материалистического ее истолкования. А, с другой стороны, в оппортунистическом лагере, как бы в ответ на это, появляется огромная работа Каутского—теоретическое знамя эклектического позитивизма и механического материализма.

Действительно, дилемма, которая сейчас стоит перед нами и которая обрисовалась уже достаточно ясно, заключается в следующем. Или с Марксом, с Энгельсом, с Лениным по пути диалектического материализма, по пути материалистического изучения диалектики, которое одно только может обеспечить правильное, революционное ее применение. Или возможен иной путь, на котором в таком случае нужно иметь смелость быть последовательным до конца. Это—путь теоретического ревизионизма, путь Каутского!

И. Разумовский

ДИАЛЕКТИКА И АНТИНОМИИ КАНТА

I

В философии Канта понятие диалектики приобретает такое значение, какого оно не имело ни у кого из его предшественников в новой европейской философии. Со времен последних диалектических трактатов эпохи Возрождения диалектическая традиция страшно пала повсюду в Европе. Причина этого удивительного явления коренится в самих условиях развития европейской науки нового времени. Развитие это только в абстракции может быть представлено в виде непрерывно восходящей линии прогресса; на самом же деле оно так же противоречиво, так же диалектично, как и сама жизнь. Едва ли не крупнейшим диалектическим парадоксом этого развития следует признать замечательный факт, который состоит в том, что первоначальным условием успехов новой науки было развитие не диалектического, но как раз наоборот—метафизического метода мышления. Как это ни странно, но к диалектике новая европейская наука могла перейти, только пережив длительный период господства метафизики. Более того. Именно развитие и торжество этой метафизики были необходимыми условиями успеха и прогресса всей новой европейской науки.

Диалектика этого любопытнейшего процесса начинает обрисовываться в XVII веке. Интенсивный рост техники и экономики городской буржуазии дал мощный толчок развитию точных наук: математики, физики, механики, но вместе с тем этот же процесс мало-по-малу поставил науку в условия гораздо большей *дифференциации* знаний, *разделения научного труда* и специализации. Начинается усиленная разработка *экспериментальных* методов исследования, закладываются основы *логики экспериментальных наук*.

Эта концентрация внимания на логике экспериментального метода привела к известному сужению горизонтов логической мысли. В тесной связи с успехами экспериментальных наук мы наблюдаем в течение XVII и XVIII в.в. исключительное преобладание *аналитических* приемов логического мышления и научного исследования. На первом плане стоит задача—*описать* предмет, выразить его в точных понятиях, выяснить состав его признаков, ограничить его от смежных предметов и явлений, *расчленив* сложный и смутный комплекс на его отдельные—простейшие по составу, легко различимые, уже известные—элементы. В том же направлении развивалась и методика

экспериментальных работ. Помимо точного учета всех компонентов изучаемого явления, она требует еще и технической его *изоляции*, *выключения* его из всех, по возможности, связей и взаимодействий с окружающей обстановкой. В опыте могут участвовать только те факторы, которые ввел сам экспериментатор. Только при выполнении этих условий экспериментатор может делать верные и точные заключения о причинной связи между наступлением какого-нибудь явления и тем фактором, который он, по своему усмотрению и выбору, вводит в состав элементов опыта или исключает из него.

Не трудно понять, что усиленная разработка техники эксперимента должна была оказать влияние на *логику* и *методологию*. Культура эксперимента должна была—в сфере *логической* рефлексии—усилить стремление к развитию способностей *анализа*, *расчленения*, *разложения*, *отграничения*, *субординации*, *дефиниции* и *изоляции*. Развивающаяся специализация, раздел единого цельного объекта между различными науками, изучающими каждая отдельную сторону предмета, еще далее вели мысль в направлении дискретного, сепаратного созерцания и изолирующего анализа. Напротив, все те связи и явления, которые не укладывались в точно ограниченные и определенные рамки эксперимента, их взаимодействие, их зависимость друг от друга ускользали от внимания, не могли быть выяснены и доведены до сознания.

Так, на определенной, исторически неизбежной ступени своего развития, европейская наука усваивает привычки и склонности, которые, укоренившись и об'ективировавшись в логической рефлексии, создают роковую противоположность метафизического и диалектического методов мышления. В течение этого периода диалектика хиреет, почти сходит на-нет. Духом диалектических воззрений еще овеяны трактаты Николая Кузанского, Джордано Бруно. Но после них диалектическая традиция почти пресекается. Вместе с забвением диалектики приходит забвение источников и образчиков диалектического мастерства в античной философии. Читают еще, филологически изучают Платона, Аристотеля, но мало интересуются диалектикой Зенона, диалектикой Демокрита, диалектикой того же Платона. Только скептики высоко еще ценят диалектическое искусство древних. Но они обращают диалектику в орудие уничтожения и упразднения самой философии, самого знания, самой истины. И если какой-нибудь *Бейль* знает секрет антиномичности разума и трансцендентных его определений, то своей эрудицией он пользуется лишь для того, чтобы глумиться равно над знанием и незнанием, мудростью и невежеством.

Конечно, диалектика могла быть подавлена метафизикой лишь на время. Именно потому, что причиной ее оттеснения были не какие-нибудь глубокие явления социальной реакции, но лишь особые исторические условия и обстоятельства научного прогресса, диалектика с течением времени проложила себе русло. Наряду с господствующими приемами *изоляции*, *абстракции*, исподволь развивались приемы, в которых воздавалось должное *конкретной связи* и *взаимной зависимости* явлений. Само расширение экспериментальной методики,

усовершенствование ее техники вели мысль к наблюдению причинных связей между таким и явлениями, которые—в первом приближении—казались принадлежащими совсем различным сферам бытия и знания. Гонимая из области логики, диалектика неуклонно вторгалась в сферу конкретных наук. Она торжествовала в математике, в аналитической геометрии, в космогонических гипотезах Декарта.

Пролагая себе победоносные пути в науке, диалектика не была однако порождением только *самых* специальных наук. Она была порождением и *философии*, теоретического философского мышления. В философии XVII века она была представлена, кроме геометра Декарта, гением философа Спинозы. Диалектика субстанции и модусов, диалектика конечного и бесконечного, диалектика необходимости и свободы, исторически обусловленная относительность человеческих представлений о боге и его законе—вот главные темы диалектические Спинозы. Но в целом философия и наука XVII века—антидиалектичны. Даже в системах Декарта и Спинозы диалектические учения выделяются скорее как исключения, как гениальные предвидения на общем фоне господствующего—*механистического*—воззрения.

Начатое Декартом и Спинозой диалектическое движение продолжалось и в XVIII веке. Уже в системе Лейбница, младшего современника Спинозы, к диалектическим темам его предшественников присоединяется грандиозная—диалектическая по сути, хотя телеологическая по форме,—*концепция развития*. Дело идет еще далее в работах французских просветителей и материалистов XVIII века. Здесь диалектикой охватываются факты *общественной жизни* и даже—в известном смысле—*исторического процесса*. Переоценка культуры, изложенная у Руссо в слишком абстрактных и общих терминах, заключала однако в себе не мало диалектических интуиций и конкретных диалектических наблюдений. С еще невиданной пронизательностью, в пламенных и страстных выражениях, Руссо изображал диалектику экономического неравенства, диалектику феодальной культуры. Даже в наивном универсализме его протестов против культурных ценностей отразились глубокие наблюдения исторических противоречий, в силу которых величайшие культурные блага человечества: наука, техника, искусство, захваченные привилегированными сословиями феодального общества, выродились и обратились против интересов огромного большинства остального человечества. Наконец в социологических исследованиях французских материалистов был впервые сформулирован ряд антитез и противоречий, лежащих в основе общественной жизни и исторического развития.

Классическое из этих противоречий—антиномия между социальным детерминизмом человеческого поведения и между автономией человеческого воззрений, управляющих миром, по справедливой оценке Плеханова,—была одним из тех противоречий, которые будили мысль и вели науку вперед.

Но как бы ни были значительны успехи диалектической мысли в XVII и XVIII веках, нельзя ни в каком случае их переоценивать. Даже в тех случаях, когда передовые умы этого времени выдвигали

чисто диалектические построения, никогда изложение этих построений не сопровождалось у них ясным сознанием диалектической природы тех приемов, при помощи которых была достигнута истина. Ни у Декарта, ни у Спинозы, ни у Лейбница, ни тем более у Руссо или французских материалистов мы не найдем сознательного и разработанного противопоставления той логике, которой они в своих исследованиях пользовались—господствующей логике метафизиков. Даже Декарт, который не раз едко осмеивал схоластическую логику и предоставлял ее тонкости праздному усердию школьных профессоров, не думал покушаться на ее основоположения. Выдвигая свой новый метод, он рассматривал этот метод скорее, как необходимое продолжение и дополнение школьной логики; во всяком случае он был далек от какого бы то ни было сомнения в истинности ее законов и аксиом. Неоднократно Декарт и Спиноза подчеркивали, что и для них—как и для всей предшествующей метафизической традиции—основным логическим устроением является *принцип противоречия*. Противоречие не может иметь место в бытии и не должно иметь место в мышлении. В бытии оно просто не возможно, не мыслимо, не осуществимо. Что же касается мышления, то в нем противоречие и мыслимо и возможно, но здесь оно—ошибка, заблуждение, болезненное состояние мышления. Правильная, здоровая, истинная мысль так же свободна от противоречий, как от них свободно само бытие.

Изложенное воззрение остается господствующим в логике XVII и XVIII в.в., и если в умах самых смелых и проницательных философов зарождалась иногда мысль о *недостаточности* традиционной логики, то ни у кого не возникало сомнения в ее истинности. Логика считалась даже образцом совершенства, точности и полноты, каких вообще может достигнуть наука.

Настолько велико было господство школьной логики, что даже новаторы, осуществлявшие первые образчики диалектического мышления, не сознавали противоречия между новыми, практически уже применявшимися ими, приемами и классическими правилами логики. При таком состоянии науки не могло быть и речи о каких-нибудь логических исследованиях, направленных на изучение, описание диалектического метода мышления. Диалектика как часть логики, не существовала. В лучшем случае сохранялась память о диалектике как об искусстве софистических приемов одурачивания при словесных диспутах и научной полемике.

Если мы теперь от этой обстановки, в которой прозябала диалектика в XVII—XVIII в.в., перенесемся к философии Канта, то еще прежде, чем мы приступим к анализу ее содержания по существу, нас поразит—даже при самом формальном, внешнем знакомстве—огромный сдвиг всей мысли Канта—по направлению к диалектике. В трихотомичной архитектонике Кантовских «критик»¹ диалектика всюду выступает, как *особая*, и притом—*важнейшая завершитель-*

¹ По вопросу об архитектонике главных работ Канта см. дельные замечания у R. Kroner'a, Von Kant bis Hegel, 1921, стр. 225, 226.

ная—часть каждого исследования. В «Критике чистого разума» эту часть представляет «Трансцендентальная диалектика», в «Критике практического разума»—«Диалектика чистого практического разума» и, наконец, в «Критике силы суждения»—соответственно двум основным ее разделам—«Диалектика эстетической и диалектика телеологической способности суждения». В отличие от предшественников Канта, у которых диалектику—там, где она в какой-то мере имела место, приходится, так сказать, вычитывать между строк, разыскивать в самом материале исследования,—у Канта, напротив, диалектический процесс сам по себе, как таковой, становится предметом философского внимания и изучения. До-кантовские философы показали, что при известных условиях и до известных пределов—можно мыслить диалектически, не зная, что такое диалектика. Кант, наоборот, вопрос о диалектике ставит в центре своей сознательной философской рефлексии. Чтобы диалектика могла стать самостоятельным и специальным предметом философского исследования, необходимо, очевидно, ясное понимание диалектической природы разума. Путь, по которому Кант пришел к этому пониманию, чрезвычайно интересен и сам по себе полон диалектических противоречий.

Как известно, главным вопросом кантовской критики был вопрос о возможности априорных знаний в метафизике. Предварительные исследования этого вопроса привели Канта к двум положениям. Во-первых, Кант полагал, что ему удалось доказать наличие априорного знания в математике и в естествознании, а также об'яснить условия его возможности. Априорное, аподиктическое вообще необходимое знание существует. Оно обусловлено строением функций нашего рассудка. Многообразие самодеятельных актов рассудка подчиняется принципу единства самосознания, и в этом принципе—корень и основание всех априорных понятий и основоположений знания. Так как *форма* знания независима, по Канту, от его содержания, то априорное знание возможно. Прежде чем мыслить, что бы то ни было, необходимо обладать формальными возможностями мышления самых общих и абстрактных понятий и отношений. В этом и состоит назначение трансцендентальных форм рассудка. При помощи априорной схемы времени они подводят неопределенное и необозримое многообразие чувственных наглядных представлений под рубрику самых общих—такоже априорных—понятий, как, например, понятия единства, множества, реальности, причинности, необходимости и т. д. Чтобы мыслить данный предмет, как «единое», необходима логическая возможность а priori мыслить единство вообще, независимо от того, какой конкретный предмет подводится под понятие единства. Подобно тому как в основе мыслимости понятий лежат априорные правила категориального синтеза, так и в основе всех суждений естествознания лежит известная совокупность априорных основоположений чистого рассудка. Прежде чем мыслить, например, какую бы то ни было причинную связь между двумя явлениями необходима трансцендентальная возможность мыслить понятие причинной связи вообще. Возможность эта обусловлена законом или основоположением

причинной связи, которое дано в чистом рассудке а priori, как аналогия опыта, имеющая всеобщее и необходимое значение для всего эмпирического знания. То же справедливо и относительно понятий субстанций, взаимодействия и т. д.

Наличие априорных трансцендентальных форм рассудка, составляющих необходимое условие его применения ко всякому акту научного знания, превращает рассудок в «законодателя» природы. Аподиктичность, всеобщность и необходимость истин математики и естествознания коренится, по Канту, не в строе самих вещей, но в строе трансцендентальной сферы рассудка. Опыт только подсказывает нам идеи всяческих закономерностей в изучаемой природе, но до ранга всеобщности и необходимости законы эти достигают только вследствие трансцендентальной структуры рассудка, которая сама есть не достояние опыта, но представляет собою всеобщее и необходимое и притом совершенно априорное условие знания. Таким образом, «высшее законодательство природы должно находиться в нас самих, то есть в нашем рассудке»¹. «Мы не должны,—говорит Кант,—искать этих всеобщих законов в природе посредством опыта, а наоборот—должны природу в ее всеобщей закономерности выводить только из условий возможности опыта, лежащих в нашей чувственности и рассудке»². И, хотя законы, открываемые нами в предметах чувственного созерцания, во всем подобны тем законам природы, которые мы приписываем опыту, однако мы должны, по Канту, признать,—особенно, если мы познаем эти законы, как необходимые,—что они влагаются в природу самим нашим рассудком³.

Во-вторых, кантовская философия точно очертила границы априорного законодательства рассудка. Отвергнув возможность интеллектуальной интуиции, т. е. познания предметов наглядного представления при помощи рассудка, Кант, вместе с тем стал учить, что наше знание есть знание не самих вещей, но лишь того способа, каким они даны или «являются» нашему рассудку и чувственности. Так возникла роковая для Канта противоположность «вещей в себе» и «явлений».

В самом деле: если рассудок—как думает о нем Кант,—не способен мыслить самые вещи, если суждения рассудка есть всегда «опосредствованное знание о предмете, т. е. представление о представлении предмета»⁴, то совершенно непонятно, каким образом знания, доставляемые подобным рассудком, могут иметь какое-то отношение к чему бы то ни было, кроме самих представлений этого рассудка. Каким бы «законодателем» ни выступал рассудок, какие бы законы он ни «вкладывал» в природу, совершенно очевидно, что власть этих законов кончается там, где кончается его собственная сфера. «Априорные» формы рассудка только в том случае могли бы приводить к по-

¹ Кант, Прологомены, стр. 97.

² Там же, стр. 97.

³ Там же, стр. 99.

⁴ Кант, Критика чистого разума, стр. 69.

знанию самих вещей, если бы формы эти «влагались» в сами вещи, «диктовались» самим вещам. Но именно этого не может допустить Кант. Так как интеллектуальная интуиция, по Канту, невозможна, так как рассудок направляет свои априорные формы не на самые вещи, но лишь на *представления* о вещах, то закономерность, сообщаемая этим рассудком «природе», строго говоря, сообщается не природе как совокупности вещей, но лишь «опыту» как совокупности наших представлений. Отсюда следует, что вещи, как они существуют, сами по себе не познаваемы для рассудка. Кант одновременно и непомерно возвышает рассудок и непомерно принижает его. Возвышает, ибо об'являет его «законодателем» природы, приписывает ему способность внедрять в познаваемые вещи то, что составляет принадлежность его собственных априорных форм и конструкций. И в то же время принижает, ибо даже величественная априорность, всеобщность и необходимость, яко бы свойственная рассудочному синтезу, ни в малейшей мере, оказывается, не гарантирует рассудочному знанию какого бы то ни было *предметного* значения. Рассудочное знание *об'ективно*, но не *предметно*. Об'ективно, ибо имеет сверхиндивидуальное значение, не зависит от произвола личного усмотрения, обусловлено необходимым строем и порядком познающей мысли, имеет силу относительно всех без из'ятия случаев, подходящих под понятие данного закона. *Не предметно*, ибо относится не к самим вещам, но лишь к *представлениям* о вещах, является всего лишь правилом синтеза представлений.

Итак, все формы категориального синтеза, все основоположения чистого рассудка применимы только к «явлениям». «Мы имеем дело не с природой *вещей самих по себе*, которая независима от условий как нашей чувственности, так и рассудка, а с природой как предметом возможного опыта»¹. Какое бы всеобщее значение ни имело знание, доставляемое рассудком,—его всеобщность и необходимость не может касаться самих постигаемых вещей. Эта всеобщность касается только *формальных* условий опыта в чувственности и рассудке. «Возьмем для примера понятие причинности». «Я очень хорошо понимаю,—говорит Кант,—понятие причины как необходимо принадлежащее к *форме* опыта, я понимаю его возможность как синтетического соединения восприятий в сознании вообще; возможности же *вещи* вообще как причины я совсем не понимаю, и это потому, что понятие причины есть условие, несколько не принадлежащее *вещам*, а только *опыту*»². То же самое справедливо относительно всех других основоположений рассудка. «Все синтетические основоположения а priori суть не что иное, как принципы возможного опыта, и никогда не могут относиться к вещам самим по себе, а только к явлениям как предметам опыта»³. По Канту, категории «служат как бы для складывания явлений, чтобы можно было читать их как опыт; основоположения,

¹ Кант, Прологомены, стр. 101, 102.

² Там же, стр. 87—88.

³ Там же, стр. 89.

происходящие из отношения этих понятий к чувственному миру, служат нашему рассудку только для опытного употребления»¹. Напротив, за пределами опыта—«это произвольные комбинации без об'ективной реальности». Здесь возможность их «нельзя познать а priori», а отношение их к предметам «нельзя подтвердить или пояснить примерами, так как все примеры могут быть взяты только из возможного опыта»². Чистые и рассудочные понятия «теряют всякое значение, если их отвлечь от предметов опыта и отнести к вещам самим по себе»³.

II

Итак, критическая философия приводит к двум фундаментальным положениям: к утверждению законодательной власти рассудка по отношению к *форме* опыта и к утверждению непознаваемости вещей в себе—по отношению к *материи* опытного знания. Однако, этими тезисами далеко не исчерпывается содержание критицизма. Философская проникательность Канта сказалась в том, что он не ограничился определением последних границ рассудочного познания. Предписывая рассудку норму его поведения, запрещаая ему выходить за пределы возможного опыта и его основоположений, Кант хорошо понимал, что действительная жизнь рассудка и основанного на нем философского познания, как нельзя более далека от предписываемого критицизмом нормирования и самоограничения. В действительности рассудок не только ничего не знает о границах своей компетенции, но и не хочет знать. Рассудок всегда и неизменно пытается через них перешагнуть, применить свои формы синтеза не только к «складыванию» явлений в «опыте», но также и—прежде всего—к *познанию вещей, как они есть*. Хотя необходимость рассудочного знания распространяется, по Канту, только на *форму* возможного опыта, рассудок—по наблюдению самого же Канта—неуклонно стремится распространить об'ективное значение своих основоположений также и на *предметное содержание* опыта. Между *действительными* силами рассудка и между *задачами*, которые он сам себе ставит, существует явная и притом огромная—диспропорция. Рассудок *может* знать только то, что соответствует формальным условиям опыта, обусловленным собственной его организацией. Рассудок *хочет* знать *все* об'ективное содержание и *весь* об'ективный порядок действительности—независимо от формальной обусловленности опыта понятиями и схемами рассудка. Та же самая необходимость, которая строго очертила область рассудочного познания кругом одних явлений, непрестанно побуждает рассудок выходить за пределы опыта, заставляет его применять формы категорильного синтеза не только к связи представлений, для которых единственно эти формы предназначены, но также к связи самих вещей.

Из наблюдения этой диспропорции возникает *третья*—и притом важнейшая—задача критики разума. Необходимо изучить—с логи-

¹ Кант, Прологомены, стр. 88.

² Там же, стр. 88.

³ Там же, стр. 88.

ческой и гносеологической точки зрения—все те последствия, которые должны получиться при попытках применения форм рассудочного синтеза к познанию вещей в себе. Необходимо произвести строгую логическую оценку знания, которое может быть получено, если трансцендентальной схемой рассудка мы станем пользоваться для того, чтобы подводить под чистые понятия рассудка не наглядные представления, но самое действительность, самые вещи, представляющие источник и основу всех наглядных представлений.

Исследованиям этим посвящена третья—важнейшая часть теоретической философии Канта—так называемая «трансцендентальная диалектика». Чтобы понять задачу «трансцендентальной диалектики», необходимо ясно представлять, что Кант различает *три* вида основоположений чистого рассудка. Основоположения, применение которых вполне удерживается в границах возможного опыта, Кант называет *имманентными*. Однако, вследствие недостаточной дисциплины, рассудок, по Канту, обычно не обращает достаточного внимания на *границы* области, внутри которой только и допустима его деятельность. Отсюда часто возникают ошибки суждения, состоящие в *трансцендентальном* применении основоположений, т. е. в нарушении границ опыта, в использовании категорий за пределами возможного опыта. Наконец, существует еще третья группа основоположений, которые, подобно трансцендентальным, требуют сверхопытного расширения рассудка, запредельного применения его категорий, но, в отличие от трансцендентальных, имеют источником не простую ошибку способности суждения, но особое и совершенно непреодолимое побуждение разума, который устраняет все границы и даже повелевает разрушить их и вступить на новую почву¹. Такие основоположения Кант называет *трансцендентными*.

Критическое исследование этих основоположений и составляет задачу «трансцендентальной диалектики». Трансцендентальная диалектика изучает общий *источник* или корень трансцендентальных основоположений рассудка, выводит из этого источника *все отдельные их виды*, а также подвергает критике *логическое обоснование* этих основоположений.

Уже из определения этих задач совершенно ясно, что задача диалектики, как ее понимает Кант, чисто отрицательная. Если вещи в себе запредельны и рассудок со всеми своими априорными функциями может доставить лишь такое знание, которое относится к *формальным* условиям возможности опыта, но никак не к его *материи* в самих вещах, то совершенно очевидно, что всякое сверхопытное применение рассудка может приводить лишь к *видимости* об'ективного знания. При посылках кантовского критицизма всякое исследование трансцендентных основоположений может быть только жестокой, разоблачающей их *критикой*.

И действительно, понятие *диалектики* у Канта совершенно *негативно*. Диалектикой Кант называет ошибочное применение правил

¹ Кант, Критика чистого разума, стр. 201—202.

общей логики, которая по своей природе может указывать только формальные условия согласия с рассудком,—для расширения материального состава знаний, для сообщения им значения объективно-истинных положений¹. Но логика, рассматриваемая как органон или как орудие расширения знания, «всегда есть логика видимости»². Таким образом диалектика, по Канту, есть логика видимости, логика иллюзии³. Такою она была, по мнению Канта, с самого своего начала в античной философии. «Это было,—говорит Кант,—софистическое искусство придавать своему незнанию или даже преднамеренному вымыслу внешний вид истины путем подражания основательному методу, предписываемому вообще логикой»⁴.

В качестве логики видимости, диалектика настолько ничтожна, что, по Канту, ее нельзя даже считать серьезной философской наукой. «Такая наука,—говорит Кант,—не соответствует достоинству философии»⁵. И хотя Кант не вполне осторожно говорит, что именно «логика видимости» составляет «особый отдел школьной системы—под именем трансцендентальной диалектики»⁶, однако в другом месте он разъясняет, что «диалектика причисляется к логике» не как догматическая дисциплина, но «скорее в форме критики диалектической видимости»⁷. По Канту, последняя часть трансцендентальной логики должна быть «критикой этой диалектической видимости, и называется трансцендентальной диалектикой не как искусство догматически создавать такую видимость⁸, а как критика рассудка и разума в его сверхфизическом применении»⁹.

Казалось бы, при таком понимании диалектики совершенно невозможно ожидать, чтобы понятие диалектики могло оказаться хоть сколько-нибудь плодотворным для философии. Предпосылка непознаваемости вещей в себе заранее предопределяла результаты трансцендентальной диалектики. На долю последней оставалось только «предостережение рассудка от софистической шумихи»¹⁰, уничтожающее разоблачение всех его претензий на изобретение и на сверхопытное расширение знаний.

Однако действительное содержание трансцендентальной диалектики далеко вышло из пределов простой логики иллюзий и даже из пределов ее критики. Уже не вполне ясное различие трансцендентальных и трансцендентных основоположений, введенное Кантом и отмеченное выше, давало возможность предвидеть, что в трансцендентальной диалектике Кант будет рассматривать не все, какие попало,

¹ Кант, Критика чистого разума, стр. 66.

² Там же, стр. 66.

³ Там же, стр. 200.

⁴ Там же, стр. 66.

⁵ Там же, стр. 66.

⁶ Там же, стр. 116.

⁷ Там же, стр. 66.

⁸ Искусство это Кант называет «очень ходким искусством многих шарлатанов метафизики» (там же, стр. 67).

⁹ Кант, Критика чистого разума, стр. 67.

¹⁰ Там же, стр. 67.

сверхопытные положения рассудка, но лишь такие, которые представляют особенный интерес как по своему происхождению, так и по тому значению, которое они имеют в системе философских проблем.

И действительно, подлинное содержание кантовской диалектики составляет критика именно трансцендентных основоположений. Уже анализ возникновения этих основоположений приводит к ряду важных размышлений. В отличие от основоположений, которые возникают случайно, вследствие простой ошибки рассудка и потому легко могут быть устранены—как только, становится известен их источник,—основоположения трансцендентные возникают не случайно, но совершенно необходимым образом—в силу самой организации разума. Существует какая-то глубоко укорененная в разуме необходимость, которая всякий раз неизбежно побуждает разум нарушать границы, поставленные рассудочному познанию. В строении познавательной организации Кант усматривает в высшей степени замечательное и парадоксальное свойство. Состоит оно в том, что при известных условиях рассудок стремится к обладанию знанием, о котором он заранее знает, что оно не может иметь никакого объективного значения и от которого он—при всем сознании его незаконности и несостоятельности—все же не может отказаться. Существует—утверждает Кант—трансцендентальная иллюзия, которая, несмотря на все предостережения критики, совершенно увлекает нас за пределы эмпирического применения категорий и обольщает призрачными надеждами на расширение чистого рассудка¹. По Канту, наш разум содержит в себе «основные правила и принципы своего применения, имеющие по внешнему виду характер объективных основоположений»². Это обстоятельство—говорит Кант—«и приводит к тому, что субъективная необходимость соединения наших понятий, в интересах рассудка, принимается нами за объективную необходимость определения вещей в себе»³.

Чрезвычайно знаменательно, что в исходном пункте кантовской диалектики—в понятии трансцендентальной иллюзии—вновь выступает на сцену противоположность общей и трансцендентальной логики, которая, как известно, играет такую фундаментальную роль в критическом учении о рассудке. Трансцендентальную иллюзию Кант строго отличает от иллюзии логической. Логические иллюзии состоят, по Канту, «в простом подражании формам разума»⁴ и возникают «исключительно из недостатка внимания к логическим правилам»⁵. Поэтому логическая иллюзия легко устранима. «Стоит только сосредоточить внимание на данных случаях, и логическая иллюзия исчезает»⁶. Напротив, трансцендентальная иллюзия «не прекращается даже в том случае, если мы уже вскрыли ее и отчетливо усмотрели ее

¹ Кант, Критика чистого разума, стр. 201.

² Там же, стр. 202.

³ Там же, стр. 202.

⁴ Там же, стр. 202.

⁵ Там же, стр. 202.

⁶ Там же, стр. 202.

ничтожество с помощью трансцендентальной критики»¹. Иллюзии этой—говорит Кант—«никоим образом нельзя избежать, точно так же, как нельзя достигнуть того, чтобы море не казалось посредине более высоким, чем у берега... или, как нельзя даже и астроному достигнуть того, чтобы луна не казалась при восходе большею, хотя астрономы и не обманываются иллюзией»². И хотя основоположения, которые образует рассудок, побуждаемый к тому трансцендентальной иллюзией, совершенно неосновательны и даже софистичны, однако от всех других софистических утверждений трансцендентное основоположение отличается, во-первых, тем, что оно относится не к любому произвольно задаваемому вопросу, а к такой проблеме, на которую всякий человеческий разум необходимо должен натолкнуться в своем движении вперед»³, и, во-вторых, тем, что оно вместе со своею противоположностью «вызывает не искусственную иллюзию, тотчас же исчезающую, как только она замечена нами, а естественную и неизбежную, которая сохраняется даже и тогда, когда она уже не обманывает нас больше и следовательно может быть сделана, правда, безвредною, но никогда не может быть искоренена»⁴.

В чем же источник этой неизбежной и неискоренимой иллюзии, побуждающей рассудок выходить за пределы опыта и применять свои категории там, где это применение всегда софистично и не может привести к действительно об'ективному знанию?

По мысли Канта источником трансцендентальной иллюзии является не рассудок, но разум. Состоит иллюзия в сверхопытном расширении *рассудка*, однако к этому расширению рассудок побуждается не сам собою, но повинувшись руководству и требованиям *разума*. Поэтому для ясного понимания кантовской диалектики необходимо иметь правильное представление об отношении, какое по Канту существует между *разумом* и *рассудком*. Сделать это необходимо еще и потому, что в послекантовской диалектике противопоставление рассудка разуму получает совершенно исключительную роль, образуя один из устоев всей диалектики.

По Канту, разум есть «высшая инстанция для обработки материала наглядных представлений и для подведения его под высшее единство мышления»⁵. Наше знание начинается благодаря *чувствам*, переходит затем к *рассудку* и заканчивается в *разуме*. *Чувства* доставляют знанию многообразие наглядных представлений. *Рассудок* вносит в это многообразие единство, подводя его под свои основоположения. В этом смысле рассудок есть «способность, создающая единство явлений согласно правилам»⁶. Однако деятельностью рассудка еще не заканчивается об'единительная функция познания. Хотя рассудок и вносит—благодаря своим основоположениям—*единство* в явления,

¹ Кант, Критика чистого разума, стр. 202.

² Там же, стр. 202.

³ Там же, стр. 263.

⁴ Там же, стр. 263.

⁵ Там же, стр. 203.

⁶ Там же, стр. 203.

единство это не есть ни полное, ни окончательное. Дело в том, что по условиям своего происхождения—основоположения чистого рассудка не являются познанием из *понятий*. Чтобы получить априорное значение, они должны всегда *опираться либо на чистые наглядные представления* (в математике), либо—на *трансцендентальные условия* возможности опыта (в естествознании). Ни в том ни в другом случае знание, доставляемое рассудком, не может быть выведено из одних понятий¹. Рассудок—говорит Кант—никоим образом не может доставить синтетических знаний из понятий. Правда, познание чистого рассудка «может предшествовать другим знаниям в форме принципа»². Однако, само по себе—поскольку оно имеет синтетический характер—оно «не основывается на одном лишь мышлении»³. Поэтому общие положения, доставляемые рассудком, Кант называет всего лишь «относительными принципами»⁴.

Своего полного и окончательного единства знание достигает в *разуме*. В то время как рассудок создает единство явлений согласно правилам, разум есть способность, вносящая единство в правила самого рассудка⁵. В то время как рассудок в своих общих положениях может давать *только относительные* принципы единства, разум, напротив, дает познания, которые могут быть названы принципами в *абсолютном смысле слова*, ибо эти принципы суть познания из *понятий*. Разум «служит источником происхождения некоторых понятий и основоположений, которые он не заимствует ни из чувств, ни из рассудка»⁶.

В качестве *логической* функции разум есть «способность производить опосредствованные умозаключения»⁷. *Абсолютное* значение принципы разума получают в силу того, что умозаключение разума есть форма вывода частного из общего *посредством чистого понятия*. В этом, по Канту, существенное отличие *разума* от *рассудка*. Хотя положения рассудка также могут служить большей посылкой в умозаключении, однако—в силу того, что рассудочный синтез всегда вынужден опираться на наглядные представления или на общие условия опыта—умозаключения рассудка никогда не могут давать вывода из одних чистых понятий. Напротив, в умозаключениях разума «большая посылка всегда дает *понятие*, благодаря которому все, что подводится под условие его, познается из него согласно принципу»⁸. В этом и состоит абсолютное значение об'единяющей функции разума. В процессе умозаключения разум «стремится свести огромное многообразие знаний рассудка к наименьшему числу принципов (общих условий) и таким образом достигнуть высшего единства знаний рассудка»⁹.

¹ Кант, Критика чистого разума, стр. 204.

² Там же, стр. 204.

³ Там же, стр. 204.

⁴ Там же, стр. 204.

⁵ Там же, стр. 203.

⁶ Там же, стр. 203.

⁷ Там же, стр. 204.

⁸ Там же, стр. 204.

⁹ Там же, стр. 206.

Это об'единяющее стремление разума никоим образом не должно смешивать с об'единяющей деятельностью рассудка. Единство функций рассудка относится непосредственно к чувствам и их наглядным представлениям. Так как рассудок всегда имеет дело только с предметами возможного опыта, то знание и синтез этих предметов «всегда имеют условный характер»¹.

Напротив, об'единяющая деятельность разума—всегда опосредствованная. Разум «никогда не относится прямо к опыту или к какому-либо предмету, но всегда направлен на рассудок, чтобы с помощью понятий придать многообразию его знаний априорное единство»². В то время как категории рассудка относятся к наглядным представлениям, подводят их под правила, умазаклучения разума относятся к *понятиям и суждениям*³. «Разум—утверждает Кант—никогда не имеет прямого отношения к предмету, а всегда только к рассудку»⁴. Предметом для разума «служит, собственно, только рассудок и его целесообразное применение»⁵. Рассудок—раз'ясняет далее Кант—«служит предметом для разума точно так же, как чувственность служит предметом для рассудка. Задача разума состоит в том, чтобы сделать систематическим единством всех возможных эмпирических актов рассудка»⁶.

Но, будучи всегда опосредствованной, деятельность разума в то же время—в своих задачах—имеет *абсолютный* характер. Всякое умозаклучение разума предполагает, по Канту, что предикат, который мы в выводе приписываем определенному предмету, должен был мыслиться в большей посылке *во всем своем об'еме*—под известным условием⁷. Эта полнота об'ема в отношении к такому условию называется *всеобщностью*, а в отношении к синтезу наглядных представлений—*целостностью*. Таким образом, понятие разума «есть не что иное, как понятие целостности условий для данного обусловленного»⁸. Но так как целостность условий, по мысли Канта, может быть создана только *безусловным*, то понятие разума и есть, по Канту, *понятие безусловного*. «Понятие разума,—поясняет Кант,—всегда относится к абсолютной целостности в синтезе условий и удовлетворяется не иначе, как абсолютно безусловным, т. е. безусловным во всех отношениях»⁹. «Чистый разум» «стремится довести синтетическое единство, в мыслимое в категориях, вплоть до абсолютно безусловного»¹⁰.

В терминах *логики* ход мысли Канта может быть выражен следующим образом. Логическая функция разума есть, по Канту, *умозаклучение*, т. е. суждение, построенное путем подведения его условия под

¹ Кант, Критика чистого разума, стр. 207.

² Там же, стр. 204—205.

³ Там же, стр. 206.

⁴ Там же, стр. 367.

⁵ Там же, стр. 367.

⁶ Там же, стр. 377.

⁷ Там же, стр. 213.

⁸ Там же, стр. 213.

⁹ Там же, стр. 215.

¹⁰ Там же, стр. 215.

общее правило, именуемое большей посылкой. Но всякий раз, как только мы совершаем это подведение и, таким образом, приходим к большей посылке, последняя в свою очередь вновь становится предметом той же самой операции разума. Иными словами, разум непрерывно вынужден искать условия для условия, восходя настолько далеко, насколько это возможно. Восхождение это есть не что иное, как подыскивание безусловного к обусловленному знанию рассудка»¹.

Но именно в силу того, что разум стремится к *безусловному единству*, к *безусловному* синтезу всех рассудочных знаний, основоположения, вытекающие из его принципа, должны быть *трансцендентными*². В отличие от всех основоположений рассудка, содержанием которых служит только возможность опыта и которых применение имеет поэтому вполне имманентный характер—эмпирическое применение принципа *разума* никоим образом не может быть осуществлено³. Так как никакой опыт не может быть безусловным, то абсолютная целостность условий есть *понятие* и, как понятие, неприменимо в опыте. Поэтому «об'ективное применение чистых понятий разума всегда имеет трансцендентный характер»⁴. Хотя разум имеет своим предметом понятия рассудка, однако не постольку, поскольку рассудок содержит в себе основание возможного опыта»⁵, а для того, чтобы предписать ему направление для достижения такого единства, о котором рассудок не имеет никакого понятия, и которое состоит в том, чтобы соединить все акты рассудка в отношении каждого предмета в абсолютное целое»⁶.

Такое необходимое понятие разума, для которого эмпирическое ощущение не может дать адекватного предмета, Кант называет *трансцендентальной идеей*. Чистые понятия разума и суть *трансцендентальные идеи*. Они характеризуются *тремя* признаками. Во-первых, идеи эти суть *понятия*, ибо в них все эмпирическое знание рассматривается как определенное посредством абсолютной целостности условий, которая может быть дана только в мышлении. Во-вторых, они, как было показано выше, не произвольно вымышлены, а даны природою самого разума и потому необходимо относятся ко всему применению рассудка. Наконец, в-третьих, идеи эти трансцендентны, т. е. «выходят за пределы границ всякого опыта»⁷.

Таково кантовское понятие разума. Из приведенных мною определений, а также из параллели между рассудком и разумом можно заключить, что трансцендентальная диалектика Канта, как и было предположено выше, далеко выходит из границ простой критики логической иллюзии. Даже в том случае, если бы содержание трансцендентальной диалектики исчерпывалось только что изложен-

¹ Кант, Критика чистого разума, стр. 207.

² Там же, стр. 207.

³ Там же, стр. 207.

⁴ Там же, стр. 215.

⁵ Там же, стр. 215.

⁶ Там же, стр. 215.

⁷ Там же, стр. 216.

ным, его плодотворное положительное значение было бы неоспоримо и велико.

Различение *рассудка* и *разума*, так настойчиво проводимое Кантом, уже само по себе является началом не только отрицательного, но и *положительного* диалектического учения. Как бы ни была несовершенна форма, в которой Кант проводит это различение¹, сама идея, положенная в его основу, заслуживает самого серьезного внимания. *В основе кантовской концепции разума лежит мысль, что суждения рассудка—конечны и ограничены.* Правда, рассудок, по строению своих функций,—синтетичен и стремится к об'единению знаний, доставляемых ему чувствами. Однако синтез рассудка—неполный, недостаточный. Для своего завершения синтез рассудка требует принципиально иной, качественно-отличной точки зрения. Эту точку зрения и дает *разум*. Умозаключения разума возвышаются над всеми относительными конечными определениями и суждениями рассудка—как подлинная высшая инстанция всей об'единяющей деятельности познания.

В этом пункте Кант—несомненный родоначальник всех положительно-диалектических учений о разуме, характерных для классического немецкого идеализма. Достаточно вспомнить ту роль, какую антитеза рассудка и разума играет в диалектике Гегеля. Здесь конечные определения рассудка превращаются в «рассудочную точку зрения *метафизики*», в воззрение «рефлектирующего рассудка», а разум—в подлинно спекулятивное, т. е. *диалектическое* движение познающей мысли. Иными словами, кантовское сопоставление рассудка и разума в ближайшем же развитии диалектической философии превратилось в фундаментальную антитезу *метафизики* и *диалектики*, *рассудочной рефлексии* и *диалектического воззрения*, формально-логической *абстрактности* и *конкретности* диалектического разума, *односторонности* и дискретности рассудочного анализа и *всесторонней связности* диалектического синтеза.

Понимал ли сам Кант, что задачи его трансцендентальной диалектики не покрываются простой критикой сверхфизического применения разума?—Ответить на этот вопрос чрезвычайно трудно. Положительное содержание диалектических концепций Канта во многом осталось неясным самому их автору. В учении о разуме позиция Канта—такоже колеблющаяся. Трансцендентальные идеи разума скорее

¹ См., например, веские возражения Шопенгауэра, К недостаткам кантовского учения о разуме Шопенгауэр относит: 1) отсутствие настоящего и удовлетворительного определения самого понятия, разума; 2) несостоятельность проводимого Кантом различения между *принципами* и *правилами*; 3) искусственность кантовской классификации *непосредственных* и *опосредствованных* выводов, положенной в основу разграничения рассудка и разума; 4) неустойчивость и многосмысленность кантовского определения понятия *рассудка*; 5) метафизичность кантовского понятия *безусловного*, лежащего в основе дефиниции *разума* и т. д. (Шопенгауэр А., Критика философии Канта, цит. соч., стр. 449 и сл.). Критика Шопенгауэра в частности весьма основательна, особенно в последнем пункте, но в целом Канта Шопенгауэр—в учении о разуме—не понял. Причина этому—редкая невосприимчивость к диалектике. Гораздо более глубоки возражения Кронера.

выступают у Канта как предмет критического ограничения. Но с другой стороны, нельзя не видеть, что, в известных пределах, для самого Канта разум был не только источником иллюзорных, нигде в опыте неосуществимых трансцендентальных идей, но—в самих этих идеях—также и положительным, ведущим вперед началом познания. Хотя, по Канту, о трансцендентальных понятиях разума мы должны сказать, «что *они суть только идеи*», тем не менее—заявляет Кант—«мы не станем считать их излишними и ничтожными»¹. «Хотя с помощью их и нельзя определить ни одного об'екта, тем не менее в основе они незаметно служат рассудку каноном его широкого и согласного с собою применения; правда, он не познает с помощью идей никаких новых предметов, кроме тех, которые познал бы согласно своим понятиям, но все же благодаря им он лучше и дальше направляется в своем знании»².

III

Как ни замечательно учение Канта о высшей синтетической функции разума—не оно одно обуславливает собою историческую плодотворность кантовской диалектики. И если первая—*положительная*—заслуга кантовской концепции разума заключалась в том, что идея разума дала Канту возможность показать условность и ограниченность всех определений рассудка—в том числе и тех, в которых рассудок выступает как функция синтетическая,—то вторая—не меньшая по значению, хотя скорее отрицательная по содержанию—заслуга кантовского учения о разуме состоит в открытии *диалектической* природы разума.

И здесь результаты *исследования* Канта явно превысили его первоначальные *намерения*. Мы уже видели, что первоначальное понятие Канта о диалектике было чисто отрицательное. *Диалектическими* положениями Кант назвал положения, которые претендуют на об'ективное значение, т. е. на необходимое отношение к *предмету* познания, но в то же время по своему логическому источнику и по своей логической природе неспособны обеспечить знанию эту об'ективную значимость.

Иными словами, диалектическими Кант считает мнимо-об'ективные, иллюзорно-предметные знания и умозаключения. В этом смысле диалектика есть только беззаконное, все положенные нормы престаупающее и потому обманчивое, ложное и пустое в своих результатах применение функций рассудка.

Таково *исходное, первоначальное* понятие Канта о диалектике. Однако в развитии своих исследований Кант произвольно и незаметно для самого себя был вынужден настолько расширить понятие диалектики, что оно наполнилось совершенно новым, далеко отступившим от первоначальных замыслов и—что самое главное—необычайно плодотворным и конструктивным содержанием.

Оказалось, что диалектический характер функций разума состоит не только в том, что разум стремится побуждать рассудок к сверх-

¹ Кант, Критика чистого разума, стр. 216.

² Там же, стр. 216.

опытному применению категорий и, таким образом, строить мнимо-объективные суждения о предметах, лежащих вне границ его компетенции. Диалектическая природа разума выражается, по Канту, еще и в том, что, в попытках сверхфизического или метаэмпирического применения, разум—при известных условиях—оказывается *антиномичным*, т. е. с неумолимой необходимостью приходит к *противоречиям*, образуя суждения, которые при ближайшем анализе оказываются равными по силе своих логических обоснований, но противоречащими и друг друга уничтожающими—по своему содержанию.

Открытие диалектической природы разума есть один из самых замечательных по своим последствиям моментов в истории философии. Забвение диалектической традиции, о котором я говорил в начале настоящего очерка, в том и выразилось, что в новое время было совершенно утрачено сознание антиномического характера познания и логического мышления. До-кантовская метафизика учила, что бытие свободно от противоречий; противоречие ни при каких обстоятельствах не может быть усмотрено в самом бытии и его модификациях. В соответствии с этим до-кантовская *логика* запрещала противоречия в *мышлении*. Правда, эта логика признавала, что логическое мышление весьма часто бывает поражено противоречием; в процессе познания возможно возникновение противоречащих суждений об одном и том же предмете. Однако появление противоречия в мышлении считалось признаком ошибочности, несостоятельности, и знаменитый принцип или закон противоречия запрещал думать, будто два противоречащих суждения могут оказаться зараз оба истинными. Иными словами, в противоречии видели нечто запретное и невозможное, недостойное ни бытия, ни мышления. В лучшем случае признавали *фактическую* возможность логического противоречия, но при этом отрицали какую бы то ни было его *логическую ценность*. Противоречие есть целиком только заблуждение, только ошибка, только болезненное состояние мышления. Будучи насквозь ошибочным и недействительным, противоречие должно быть немедленно устранено из мышления, как только оно в нем может быть обнаружено.

Формальный принцип противоречия и есть норма, ограждающая логическое применение рассудка от противоречий. Значение этого принципа только нормативное и сводится к требованию—ни в коем случае не допускать мышление до противоречий.

В сравнении с этим учением учение Канта, утверждавшее что противоречие есть—при известных условиях—совершенно неизбежное и необходимое состояние разума, означало целый переворот. Значение кантовского открытия не может быть поколеблено сделанными не так давно указаниями, в которых отмечалось, что учение Канта об антиномичности разума—не оригинально, заимствовано у Бейля и Артура Кольера¹. Учение Канта об антиномии разума

¹ См., напр., Cassirer E., Das Erkenntnisproblem in d. Philos. u. Wissenschaft d. neueren Zeit, II, и Робинсон Л., Историко-философские этюды, вып. 1, СПб, 1908, стр. 3—43. Кантовская антиномия несравненно шире по своему логи-

вновь выдвигало *проблему противоречия*: как в ее *онтологическом*, так и в *логическом* аспекте. Противоречие—вновь, впервые после диалектических трактатов эпохи Возрождения—получало значение фундаментального факта познания. Из непонятого, хотя и случающегося заблуждения логического мышления, оно становилось необходимым моментом познания, при том моментом, характеризующим высшую ступень знания, при реализации основных синтетических задач.

Однако диалектическим—в этом новом содержании—разум, по Канту, становится *не при всяком своем применении*. По учению Канта, необходимо различать между отдельными видами применения чистых понятий разума. Видов этих столько, сколько существует *отношений* в наших представлениях. Но наши представления могут выражать, по Канту, либо, во-первых—отношение к мыслящему субъекту, либо, во-вторых—отношение к многообразию мыслимого в явлении объекта, либо наконец, в-третьих—отношение ко всем возможным предметам мышления вообще. В отличие от простых представлений, чистые понятия разума или трансцендентальные идеи предполагают, что мыслимые в них отношения всегда выражают *абсолютное* синтетическое единство всех условий вообще. Следовательно, существует, по Канту, *три* класса трансцендентальных идей: из них *первый* содержит в себе абсолютное единство мыслящего субъекта, *второй*—абсолютное единство ряда объективных условий явления и *третий*—абсолютное единство условия всех предметов мышления вообще. Но мыслящий субъект или *душа* есть предмет *психологии*, совокупность всех явлений или *мир* есть предмет *космологии*, а вещь, содержащая в себе высшее условие возможности всего, что может быть мыслимо, или *бог* есть предмет теологии. Таким образом, чистый разум побуждает нас к построению *трех* трансцендентальных учений: *рациональной психологии*, *рациональной космологии* и *рациональной теологии*. Все три эти науки Кант называет *рациональными*, ибо, стремясь—каждая в своей сфере—к *безусловному* синтезу всех условий, ни одна из них не может чер-

ческому и философскому содержанию, нежели аргументы Бейля и Кольера. Аргументы Бейля представляют только ряд возражений против существования протяженного мира. Аргументы Кольера, хотя и утверждают, что в известных случаях—а именно там, где налицо внешняя невозможность—мы можем усмотреть «внутреннее противоречие (intrinsic repugnancy) в самой вещи», однако также относят эти случаи и к проблеме существования внешнего мира. Напротив, у Канта центр тяжести переносится не столько в вопрос об объекте, обсуждение которого приводит к противоречию, сколько в *исследование разума* как той способности, которая является источником самого факта противоречия. Пусть Кант—как утверждает Робинсон—заимствовал идею антиномии у Кольера. Однако исторически плодотворным учение об антиномии разума оказалось только в той форме, которую ему придал Кант. В самой организации разума, т. е. в высшей, по Канту, объединяющей функции знания, Кант усмотрел необходимую антиномичность. Оригинальность Канта—в подчеркнутой им мысли, что противоречия разума возникают не случайно, не как досадная ошибка разума, но как совершенно неизбежное, логически обоснованное состояние, и при том состоянии, поражающее разум как раз при выполнении высшей цели познания, когда разум стремится к предельному объединению всех знаний. Учение Канта поэтому и произвело столь глубокое впечатление, что из него ясно вытекала мысль о противоречивой природе разума.

пять. план для своего построения в *рассудке*, способном дать лишь условный синтез. «План этих наук есть чистый и подлинный продукт или проблема чистого разума»¹.

По Канту, к каждой из своих трех трансцендентальных идей разум приходит путем специального, для каждой идеи особого *умозаключения*. Стало быть, существует *три* вида умозаключений чистого разума: в умозаключениях *первого вида* разум от трансцендентального понятия суб'екта, не содержащего в себе никакого многообразия, приходит к *абсолютному единству* самого этого суб'екта². Таково умозаключение рациональной психологии о душе как о *субстанции*, *простой* по своему качеству, *единой*, имеющей отношение к возможным предметам в пространстве³. В умозаключении *второго* вида разум приходит к трансцендентальному понятию абсолютной целостности ряда условий для данного явления вообще. Так возникают учения рациональной космологии с ее вопросами о мире: о его начале во времени и пространстве, о делимости материи и о пределах этой делимости, о возможности свободной причинности, о возможности существования безусловно необходимого существа⁴. Наконец, в умозаключении *третьего* вида разум от целостности условий для мышления о предметах, поскольку они могут быть нам даны, приходит к абсолютному синтетическому единству всех условий возможности вещей вообще, т. е. к богу. Такова рациональная теология с ее различными доказательствами существования бога: онтологическим, космологическим и физико-телеологическим.

И вот, оказывается, в каждом из этих трех умозаключений разум обнаруживает свою *диалектическую* сущность—прежде всего в уже известном нам *негативном* значении этого понятия. Диалектичность эта в том, что хотя умозаключения разума лишены каких бы то ни было эмпирических предпосылок, однако разум, в своем неизбежном переходе от известного к чему-то такому, о чем у нас нет никакого понятия, в силу необходимой иллюзии приписывает своему знанию не принадлежащее ему по праву об'ективное значение. Вся задача трансцендентальной диалектики, как ее понимает Кант, и состоит в разоблачении ложной, мнимой об'ективности умозаключений чистого разума. Критика Канта имеет целью вскрыть те *логические ошибки*, путем которых разум ошибочно приписывает своим умозаключениям значение об'ективных истин. По Канту, в строении каждого из умозаключений чистого разума скрывается известная логическая ошибка, которую трудно подметить и которая сообщает всему рассуждению обманчивую внешность доказательной и об'ективной истины. Кант дает обстоятельное раз'яснение логической природы ошибок чистого разума, и таким образом доказывает теоретическую несостоятельность и невозможность всех трех наук чистого разума. Так, умозаключе-

чение рациональной психологии заключает в себе, по Канту, «трансцендентальный паралогизм», с раз'яснением которого падают все основанные на нем учения о нематериальности души, о ее неразумности, о ее взаимодействии с телами и т. д. Не более основательно и умозаключение *рациональной теологии*. Кант подробно анализирует все возможные виды рациональной демонстрации существования бога, показывает, что все они могут быть приведены к основному—так называемому *онтологическому*—и затем, опираясь на мысль, что из одного чистого понятия о боге как всемогущем существе не может быть выведен признак *существования*, показывает несостоятельность и невозможность теоретического доказательства бытия бога.

И в первом и в последнем своем умозаключении разум, по Канту, оказывается *диалектическим*, однако не в смысле *антиномичности*, но лишь в том смысле, что его умозаключения иллюзорны, софистичны, не имеют об'ективного значения. Ни в *паралогизме чистого разума*, на котором покоится здание рациональной психологии, ни в *идеале чистого разума*, на котором основываются мнимые доказательства рациональной теологии, разум не приводит к суждениям, которые содержали бы в себе противоречия. И в «паралогизме» и в «идеале» чистый разум диалектичен, но не потому, что приводит к противоречиям, а потому, что его притязания на об'ективную истину оказываются ложными, а его умозаключения—лишь *умствующими*, но не аподиктичными. Так, трансцендентальный паралогизм создает, по Канту, «только одностороннюю иллюзию в отношении идеи суб'екта нашего мышления, так как для утверждения противоположного мнения нельзя создать с помощью понятий разума никакой иллюзии»¹. То же самое справедливо и относительно *третьего* умозаключения чистого разума, которое Кант называет *идеалом*. Здесь противоположное мнение об об'екте суждения может быть только *отрицанием* бытия бога. Но всякое суждение отрицания есть, по Канту, суждение вторичное, производное. «Все настоящие отрицания,—говорит Кант,—суть не что иное, как *ограничения*, что возможно только тогда, если в основе лежит безграничное (все)»². Поэтому в идеале чистого разума применение разума—так же, как и в паралогизме,—диалектично, но отнюдь не *антиномично*. Напротив, *трансцендентальный идеал*, составляющий, по Канту, «высшее и полное материальное условие возможности всего существующего»³, есть *единственный* подлинный идеал, к какому способен человеческий разум, так как только в этом единственном случае общее само по себе понятие о вещи всесторонне определяется посредством самого себя и познается как представление об индивидууме»⁴. «Психологическая и теологическая идеи,—говорит Кант,—не содержат в себе антиномии. В самом деле, противоречий в них нет, и потому каким же образом кто-либо мог бы оспаривать

¹ Кант, Критика чистого разума, стр. 219.

² Там же, стр. 222.

³ Там же, стр. 224.

⁴ Там же, стр. 266—286.

¹ Кант, Критика чистого разума, стр. 336.

² Там же, стр. 336.

³ Там же, стр. 336.

⁴ Т. е. о боге. Кант, Критика чистого разума, стр. 336.

их об'ективную реальность, если отрицающие возможность их знают о них так же мало, как и утверждающие возможность их»¹.

Совсем иной характер имеет функция чистого разума во *втором* умозаключении, в котором мы «применяем разум к *об'ективному синтезу явлений*» и которое составляет основу всех утверждений *рациональной космологии*. Здесь разум *диалектичен* не только в том смысле, что приписывает своим аргументам не принадлежащую им об'ективную силу, но еще и потому, что здесь применение его необходимо оказывается *антиномичным, противоречивым*. В стремлении к безусловному об'ективному синтезу явлений разум необходимо развивает ряд суждений о мире, которые при ближайшем рассмотрении оказываются в равной мере обоснованными, но в то же время несовместимыми, противоречивыми. Вместо *односторонней* иллюзии, владеющей разумом в *паралогизме* и в *идеале*, здесь разум как бы раздваивается, вступает в противоречие или в спор с самим собой. На каждое утверждение рациональной космологии тотчас же находится равное ему по силе логического обоснования, но противоречащее по содержанию утверждение. Такое состояние разума Кант называет *антиномией чистого разума*.

Кант сам превосходно понимал, что его учение об антиномии есть новая и при том крайне важная страница в истории философии. Как бы ни была велика зависимость Канта в этом пункте от Бейля и Артура Кольера, не подлежит сомнению, что свое учение сам Кант воспринимал, как неслыханно-новое и чрезвычайно парадоксальное, трудно уразумеваемое. «Здесь мы встречаемся,—писал Кант в «Критике чистого разума»,—в самом деле с новым феноменом человеческого разума»². Не менее энергично выражается Кант и в «Прологоменах»: «Здесь мы видим,—писал он,—удивительнейшее явление человеческого разума, не имеющее ничего себе подобного в какой-либо другой его области»³. Состоит оно в том, что всякий раз, когда мы мыслим явления чувственного мира как вещи сами по себе,—а именно это имеет место в рациональной космологии,—то «неожиданно оказывается противоречие, не устранимое обыкновенным догматическим путем, ибо как положение, так и противоположение могут быть доказаны одинаково ясными и неопровержимыми доказательствами—за правильность их всех я ручаюсь; таким образом разум видит себя раздвоенным в противоречии с самим собою»⁴.

А именно: в соответствии с четырьмя классами категорий существует *четыре пары* антиномических утверждений чистого разума. С одинаковой степенью логического совершенства и логической убедительности можно доказать, что мир имеет начало во времени и пространстве и что мир во времени и пространстве бесконечен; далее, что в мире все состоит из простого неделимого и что нет ничего про-

стого, а все сложно; что в мире существуют *свободные* причины и что, напротив, нет никакой свободы, а есть только природа, т. е. *необходимость*; наконец, что в ряду мировых причин есть некое необходимое существо, и, напротив, что в этом ряду нет ничего необходимого, а все случайно¹.

Излагая свое учение об антиномии, Кант настоятельно подчеркивает, что, как и все остальные трансцендентальные идеи, антиномии чистого разума появляются совершенно необходимо. Необходимость антиномии, во-первых, есть трансцендентальная необходимость, с какой в разуме *возникают самые проблемы* рациональной космологии. В своем стремлении к абсолютному синтезу, разум предписывает нам мыслить мир как безусловную полноту ряда всех явлений. Пока понятия нашего разума имеют предметом только целостность условий в *чувственном* мире, до тех пор наши идеи о нем имеют, правда, трансцендентальный, но все же только космологический характер. Но как только мы полагаем безусловное вне чувственного мира, т. е. вне возможного опыта, космологические идеи становятся *трансцендентными*: они сами себе создают предметы, об'ективная реальность которых основывается не на эмпирической полноте ряда условий, а на чистых априорных понятиях². Понятия эти и приводят разум к противоречивым утверждениям.

Во-вторых, необходимость антиномии состоит в логической убедительности, с какой мы должны признать одинаково истинными как доказательство тезисов, так и соответствующих им антитезисов. Особенно эффектный вид изложение антиномии имеет в «Критике чистого разума», где на каждой *левой* странице доказывается тезис, а на *правой*—соответствующий антитезис. При этом Кант выразительно подчеркивает, что пред нами не вымышленные или подтасованные, но как в тезисе, так и в антитезисе равно действительные, равно основательные доказательства. «Приводя эти противоречащие друг другу аргументы,—говорит Кант,—я не гнался за иллюзией, чтобы построить так называемое адвокатское доказательство, пользуясь к своей выгоде неосторожностью противника... Каждое свое доказательство,—утверждает Кант,—мы заимствовали из самой сущности дела, оставляя в стороне те выгоды, которые могли бы быть доставлены нам ошибочными умозаключениями догматиков обоих лагерей»³. А в «Прологоменах» Кант говорит об антиномии, что она «не выдумана произвольно, но основана в природе человеческого разума, поэтому неизбежна и бесконечна»⁴... «Diese nicht etwa beliebig erdachte, sondern in der Natur der menschlichen Vernunft gegründete, mithin unvermeidliche und niemals eine Ende nehmende Antinomie»⁵... Как и все прочие умозаключения чистого разума,

¹ Кант, Прологомены, стр. 126—127. Ср. «Критика чистого разума», стр. 266—285.

² Кант, Критика чистого разума, стр. 331—332.

³ Там же, стр. 268.

⁴ Кант, Прологомены, стр. 126.

⁵ Кант, Prolegomena, изд. Kehrbach, стр. 123.

¹ Кант, Критика чистого разума, стр. 256.

² Там же, стр. 256.

³ Кант, Прологомены, стр. 127.

⁴ Там же, стр. 128.

умозаключения антиномии созданы «не людьми, а самим чистым разумом; самый мудрый из людей не в состоянии отделаться от них и разве только после многих усилий может остеречься от заблуждений, но не имеет возможности вполне освободиться от непрестанно обманывающей и дразнящей иллюзии»¹. Диалектическое утверждение антиномии «вместе со своею противоположностью вызывает не искусственную иллюзию, тотчас же исчезающую как только она замечена нами, а естественную и неизбежную иллюзию, которая сохраняется даже и тогда, когда она уже не обманывает нас больше»²...

Однако, антиномичным разум оказывается, по Канту, не только в *теоретическом* своем применении. Диалектичность утверждений разума проявляется не только там, где человеческий ум стремится к созданию *объективной науки* о предметах, лежащих за пределами возможного опыта. По Канту, антиномия возникает также и в *практическом или нравственном применении разума*, соответствующем высшей способности желания. «Чистый разум,—говорит Кант,—будем ли мы его рассматривать в спекулятивном или практическом применении, всегда имеет свою диалектику, ибо он требует абсолютной целостности для данного обусловленного»³. В сравнении с теоретическим *практический* разум в этом отношении не имеет преимуществ и точно так же подлежит разрушительной диалектике. «Не лучше,—замечает Кант,—обстоит дело с разумом и в его практическом применении»⁴. Основываясь на склонностях и естественных потребностях, чистый практический разум «также ищет безусловного и для практически обусловленного» и при том—«не как основу определения воли, но, когда эта основа уже дана—в моральном законе—под именем *высшего блага*, как безусловную целостность предмета чистого практического разума»⁵.

Антиномия практического разума состоит, по Канту, в том, что, хотя в высшем практическом благе *добродетель* и *счастье* должны мыслиться неразрывно связанными между собой и, таким образом, либо желание счастья должно побуждать к закону добродетели, либо, напротив, закон добродетели должен быть побудительной причиной счастья, однако на деле ни первое ни второе взаимоотношения между ними не могут быть мыслимы. Одинаково невозможно как то, чтобы человек побуждался к добродетели желанием счастья, так и то, чтобы добродетель была источником жажды счастья. *Первое* положение невозможно, ибо, как доказывает Кант, принципы или максимы⁶,

¹ Кант, Критика чистого разума, стр. 221.

² Там же, стр. 263.

³ Кант, Критика практического разума, стр. 112. Ср. еще Кант: Основоположение к метафизике нравов, стр. 25.

⁴ Там же, стр. 113.

⁵ Там же

⁶ Максимами Кант называет субъективные практические основоположения, т. е. такие, которые субъект рассматривает, как имеющие значение только для его воли. Эти максимы отличаются от *практических законов*, которые субъект познает, как объективные, т. е. имеющие значение для воли каждого разумного существа (Кант, Критика практического разума, стр. 19. Ср. еще Кант, Основоположение к метафизике нравов. М., 1912, стр. 19).

которые полагают основу определения воли в желании счастья, вовсе даже не суть моральные максимы и не могут служить основой добродетели¹. Но и *второе* положение невозможно, ибо всякое практическое соединение причин и действий, которое субъект стремится осуществить как результат определения своей воли, может возникнуть «не по моральным настроениям воли, но по знанию физических законов и по физической способности пользоваться этими законами для наших целей»². Поэтому даже самое пунктуальное соблюдение морального закона не может гарантировать необходимого для высшего блага и достаточного соединения счастья с добродетелью. Но всякое содействие высшему благу необходимо заключает в своем понятии это соединение. Таким образом невозможность практического сочетания счастья с добродетелью доказывает, по Канту, невозможность и ошибочность самого морального закона. Антиномия практического разума, доказав, что ни максима добродетели не может быть побудительной причиной счастья, ни жажда счастья не может побуждать к добродетели, приводит к уничтожающему для морали выводу, что моральный закон, который необходимо повелевает содействовать высшему благу, есть фантастическое представление, направленное на пустые, воображаемые цели и потому ложное по самому существу³.

Итак, и теоретический и практический разум оказались, по Канту, в равной мере глубоко пораженным диалектическим противоречием. Разум не только не может мыслить *мировое целое*, не впадая тотчас в противоречия, но также не может без противоречия мыслить *самое понятие нравственного закона* вместе с необходимо принадлежащим ему понятием причинной связи между добродетелью и счастьем.

Но если ни теоретический, ни практический разум, каждый рассматриваемый сам по себе, не могут избежать естественной и необходимой диалектической антиномии, то, быть может, свободным от нее окажется их *синтез*. Однако и здесь диалектика оказывается неизбежной. Правда, Кант затратил громадные усилия, чтобы установить синтетическое единство сфер теоретического и практического разума. Хотя между областью понятий природы, составляющей предмет теоретического разума, и областью понятия свободы, которое может быть усмотрено только в практическом разуме, «открывается необходимая пропасть, так что от первой невозможен никакой переход ко второй»⁴, все-таки «понятие свободы должно осуществлять в чувственном мире ту цель, которую ставят его законы»⁵, и, следовательно, природу «надо мыслить так, чтобы закономерность ее формы соответствовала, по крайней мере, *возможности* цели, осуществляемой в ней

¹ Положение это Кант доказывает в «Аналитике чистого практического разума», стр. 38—44. Ср. еще Кант, Основоположение к метафизике нравов, стр. 72—73.

² Кант, Критика практического разума, стр. 119.

³ Там же, стр. 119.

⁴ Кант, Критика способности суждения, стр. 12.

⁵ Там же.

по законам свободы»¹. Этот способ мышления, который единственно может «дать основу единства сверхчувственного, лежащего в основе природы, с тем, что практически заключает в себе понятие свободы»², осуществляется, по Канту, в *способности суждения*. В семье высших познавательных способностей способность суждения представляет, по Канту, промежуточный член или высшее об'единяющее звено между рассудком и чувственностью. Именно способность суждения с ее принципом—судить о природе по ее частным законам—«дает посредствующее понятие между понятием природы и понятием свободы»³, а также «делает возможным переход от законосообразности по первому к конечной цели по последнему»⁴. Понятие это, представляющее высшее синтетическое звено в системе философии, есть, по Канту, понятие *целесообразности*.

Но хотя, таким образом, телеологическая точка зрения способности суждения уничтожает, по мысли Канта, непроходимую пропасть между теоретическим и практическим разумом, являясь по этому высшим об'единяющим понятием всей философии Канта, однако применение этой точки зрения в рефлексии о природе и об искусстве⁵ не может, по мысли Канта, избежать диалектической антиномии. В своем рефлектирующем применении способность суждения оказывается, по Канту, также *диалектической и антиномичной*.

В суждении эстетического вкуса о формальной целесообразности об'екта—на основании чувства удовольствия или неудовольствия—антиномия выражается в том, что о суждениях вкуса необходимо одновременно утверждать как то, что они основываются на понятиях, так и то, что они не могут основываться на понятиях. Суждения эстетического вкуса *основываются* на понятиях, «ибо иначе, несмотря на их различие, об них нельзя было бы спорить⁶, т. е. «иметь притязание на необходимое согласие других с нашим суждением»⁷. И в то же время суждения вкуса *не могут* вовсе основываться на понятиях, ибо иначе о них можно было бы диспутировать», т. е. «решать вопрос посредством доказательств»⁸.

Наконец, в телеологическом суждении о реальной целесообразности природы—на основании рефлексии рассудка и разума—также

¹ Кант, Критика способности суждения, стр. 12.

² Там же, стр. 12.

³ Там же, стр. 36.

⁴ Там же, стр. 36.

⁵ По мысли Канта, критика способности суждения распадается на части *эстетическую и телеологическую*—в собственном смысле слова. Понятие целесообразности, составляющее предмет рефлектирующей способности суждения, может быть либо чисто суб'ективным и формальным—в суждении о *красоте природы*—либо об'ективным и реальным—в суждении о цели природы. *Эстетическая* способность суждения есть способность судить о формальной целесообразности на основании чувства удовольствия или неудовольствия: *телеологическая*—способность судить о реальной целесообразности природы посредством рассудка и разума (Кант, Критика силы суждения, стр. 33).

⁶ Кант, Критика силы суждения, стр. 217.

⁷ Там же.

⁸ Там же, стр. 217.

необходимо возникает диалектика, которая приводит к противоречиям способность суждения в принципе ее рефлексии. Это противоречие состоит в том, что существуют об'екты, которые приходится рассматривать одновременно как возникшие по механическим законам природы и как созданные по представлению их *конечной цели*. В то время как *первая* максима телеологической способности суждения гласит, что «на всякое возникновение материальных вещей и их форм надо смотреть, как на возможное только по механическим законам»¹, *вторая* максима, напротив, утверждает, что «на некоторые продукты материальной природы нельзя смотреть, как на возможные по одним механическим законам»² и что суждение о них «требует совершенно другого закона причинности,—именно причинности по конечным целям»³.

Итак, тройкое исследование разума, предпринятое Кантом в «Критиках», обнаружило диалектическую антиномичность разума во всех трех видах его применения. И спекулятивная, теоретическая и моральная, практическая точка зрения, равно как и рефлектирующая точка зрения, соответствующая способности суждения,—все они, каждая в своем аспекте, в своей области, но каждая с одинаковой силой необходимости, реализуются в положениях, которые, при ближайшем анализе, оказываются противоречивыми.

Значение Кантовского открытия антиномии совершенно исключительно⁴. Впервые—после долгого перерыва—Кант показал, что разум—по самому существу своему—диалектичен. Универсальным притязаниям абстрактно-метафизических принципов тождества и противоречия Кант противопоставил ряд случаев, в которых разум вынужден одновременно мыслить как истинные противоречащие друг другу суждения. Открытие Канта било по главной твердыне метафизической логики—по запрету противоречия. Из невозможного, немислимого, ложного по самой природе, а потому запретного, презираемого—*противоречие* вновь выдвигалось, как центральный важнейший факт и как основная проблема познания. И каков бы ни был способ, посредством которого Кант разрешил свою антиномию—об этом будет сказано ниже,—но уже самая постановка проблемы знаменовала громадную победу диалектической мысли. Более того. Самые неудачи и недостатки кантовского учения об антиномии,—а они, как мы увидим, весьма велики—оказались чрезвычайно плодотворными.

¹ Кант, Критика силы суждения, § 70, стр. 274.

² Там же.

³ Там же.

⁴ Л. Робинсон в своей ценной работе «Происхождение кантовского учения об антиномиях», в разрез с известным взглядом Б. Эрдмана, полагает, что антиномия сыграла в философском развитии Канта не столь видную роль, как та, которую ей обычно приписывают примыкающая к Эрдману традиция (Робинсон Л. Историко-философские этюды, I, стр. 25). Взгляд Л. Робинсона верен относительно *генезиса кантовского критицизма*, но было бы ошибочно распространить его на *историю послекантовской философии*. Здесь антиномия чистого разума сыграла роль могучего толчка к пробуждению диалектической мысли. См. отзывы об антиномии Шеллинга и Гегеля.

творными, так как привлекали внимание современников и ближайших продолжателей Канта к самым трудным и самым значительным пунктам проблемы.

Но положительное значение кантовской диалектики не исчерпывается одним лишь тем фактом, что в своей антиномии Кант выдвинул вновь логическую проблему противоречия. Историческая плодотворность кантовской диалектики идет гораздо дальше простого указания на факт *формального* противоречия разума с самим собой. Колоссальная заслуга Канта состоит в том, что противоречивую природу разума Кант показал на примере проблем, которые действительно, не только для Канта, но и для нашего современного научного воззрения, кроют в себе подлинную антиномичность, а во-вторых, по своему *содержанию* принадлежат к самым значительным, к самым глубоким проблемам человеческой практики и теории. Достаточно указать на антиномию необходимости и свободы. В лице этой антиномии Кант выдвигал подлинно-диалектическую проблему громадной важности и весьма древнюю в своей истории. Над проблемой свободы и необходимости трудилась еще античные диалектики и материалисты. Диалектика необходимости и свободы намечалась в XVII веке в системах Гоббса и Спинозы¹. Однако, начиная с эпохи Спинозы сознание диалектического характера проблемы свободы утрачивается, и проблема разрешается либо в духе грубого спиритуализма, игнорирующего детерминизм природных процессов, либо в духе одностороннего вульгарного материализма, уничтожающего свободу в детерминизме природы. Кроме того, хотя общее решение проблемы свободы, данное Спинозой, в общем было совершенно правильно и, как мы вскоре убедимся, стояло неизмеримо выше решения, предложенного Кантом, однако ни у кого из предшественников Канта, не исключая даже Гоббса и Спинозы, мы не найдем такого ясного, как у Канта, сознания *антиномической* природы самой проблемы.

Но и другие антиномии кантовской диалектики—в более или менее извращенной форме—воспроизводят реальные и—по сути—глубоко диалектические проблемы. Так, антиномия *механизма* и *телеологии*, которой Кант занимается в «Критике силы суждения», сводится—как это показал Гегель—к той же антиномии свободы и необходимости².

Не менее реальна и кантовская диалектика эстетического суждения, развернутая в антиномии эстетической силы суждения. И в наше время пред эстетической наукой стоит проблема диалектического синтеза противоречий, которые возникают вследствие того, что суждение

¹ См. об этом мою работу: «Диалектика необходимости и свободы в этике Спинозы» («Под знаменем марксизма», 1927 г. к. 2).

² Противоположность телеологии и механизма—писал Гегель—есть ближайшим образом более общая противоположность *свободы* и *необходимости*. Кант провел противоположность в этой форме при изложении антиномии разума и именно, как *третье противоречие трансцендентальных идей* (Гегель, Наука логики, II, стр. 129. Ср. еще там же стр. 126). К диалектике необходимости и свободы сводится также учение Канта о *гении* (Кант, Критика способности суждения, §§ 46—50 стр. 178—194. Об этом см. А. Bauebler, Kants Kritik der Urteilkraft, 1923, стр. 141—166.

эстетического вкуса одновременно сознается нами и как недоказуемое и—в то же время как такое, которое должно через объективное обоснование получить всеобщее и необходимое значение.

Даже космологическая антиномия конечности и бесконечности мира, равно как и антиномия его неделимой простоты и сложности, содержат в себе—если не прямо в той формулировке, которую им сообщил Кант, то косвенно—известное реальное содержание, сводящееся к общей диалектике континуума и прерывности. Эволюция новейшей геометрии и физики с наглядностью показала, что пространственно-временный континуум *мира кроет в себе* ряд диалектических противоречий. Достаточно напомнить хотя бы то, что одним из результатов эйнштейновского принципа относительности оказалась... защита формальной аристотелевской логики! Эксперимент Майкельсона обнаружил в строении пространственно-временного континуума мира диалектический парадокс, который грозил разрушить тысячелетние устои аристотелевской логики. Из опыта Майкельсона следовало, что принцип противоречия—это основа всей формальной логики—не имеет вовсе онтологического значения и что, таким образом, бытие не подчиняется формально-логическому принципу противоречия¹. Парадоксальность открытия Майкельсона состоит в том, что понятие *одновременности*, которое есть основа как принципа противоречия, так и принципа исключенного третьего, само оказалось—в результате опыта Майкельсона—насквозь противоречивым. Чтобы избавить бытие от противоречий, которые необходимо следовало бы мыслить в нем, если бы было сохранено понятие одновременности, Эйнштейн, этот, быть может, наиболее ортодоксально-формальный, аристотелевский в принципах своей логики ум современности—совершенно отказался от идеи одновременности. Тем самым он «спас» Аристотелеву логику, сохранив ее значение в пределах каждой данной,—*но и только этой данной*—системы отсчета². Принцип относительности позволяет физике, разделяющему теории Эйнштейна, сохранить для каждой системы координат принцип противоречия и принцип исключенного третьего. Именно потому, что в мире Эйнштейна нет одновременности, в нем нет и противоречий³.

Я позволил себе небольшой экскурс в сферу логических апорий современной физики, чтобы показать, что и обе первые антиномии Канта—если их привести к более общему виду, отнеся содержание их тезисов и антитезисов к проблеме континуума—в наиболее обобщенной ее форме—заклучают в себе известное реальное, и притом действительно диалектическое, содержание.

¹ См. об этом превосходные рассуждения Шлейховского Г., «Проблематическое суждение», стр. 172—182.

² Шлейховский Г., Проблематическое суждение, стр. 172.

³ Там же стр. 174. На основании изложенного я никак не могу согласиться с А. Ф. Лосевым, который повидимому считает теорию Эйнштейна диалектической (См. напр. А. Ф. Лосев, Античный космос и современная наука, М., 1927, стр. 162—163; 409—441. Теория Эйнштейна не может быть диалектической хотя бы по тому одному, что в мире относительности нет—и не может быть—противоречия).

Открытие Кантом антиномии, а также значительность и серьезность проблем, на материале которых Кант демонстрировал антиномичность разума, сделали учение об антиномии одним из самых влиятельных в истории новейшей философской мысли. В связи с этим оценка кантовского учения об антиномии в суждениях младших современников Канта в общем была весьма высока. Особенно авторитетным и инструктивным было это учение в глазах диалектиков. «Старый Парменид,—писал о Канте Шеллинг,—с его описанной Платоном ясностью духа, и диалектик Зенон признали бы в нем родственного им по духу мыслителя, если бы им дано было увидеть его искусно возведенные *антиномии*, этот непреходящий памятник победы над догматизмом, эти вечные пропилеи истинной философии»¹. Еще определеннее и отчетливее оценка кантовых антиномий у Гегеля. По Гегелю, одна из величайших заслуг Канта состоит в том, что он «установил... *объективность видимости и необходимость противоречия*, принадлежащего природе мысленных определений»². «Кантовы антиномии,—утверждает Гегель,—останутся навсегда важной частью критической философии; именно они главным образом привели к ниспровержению предшествовавшей метафизики и могут считаться главным переходом к новой философии»³. Преимущественно на антиномиях «основывается—по Гегелю—убеждение в ничтожестве категорий конечности со стороны содержания»⁴, а этот путь, по мысли Гегеля,—более правильный, «чем формальный путь суб'ективного идеализма, согласно которому их недостаточность состоит лишь в их суб'ективности, а не в том, что они суть в них самих»⁵. Даже антидиалектический Шопенгауэр, чрезвычайно скептически относящийся к трансцендентальной диалектике Канта, должен был признать, что по об'ективной силе влияния именно учение Канта об антиномии занимает первое место. С изумлением Шопенгауэр констатирует, что «ни одна часть кантовской философии не встретила столь мало возражений и, даже более того, не нашла такого признания, как это весьма парадоксальное учение»⁶. «Почти все философские фракции и руководства,—писал Шопенгауэр,—придают ему важное значение, повторяют его и разрабатывают дальше, между тем как почти все остальные теории Канта подверглись нападкам»⁷.

¹ Шеллинг, Иммануил Кант (цит. сборник, стр. 151).

² Гегель, Наука логики, I, I, стр. 11.

³ Там же, стр. 116.

⁴ Там же.

⁵ Шопенгауэр А., Критика философии Канта, стр. 516.

⁶ Там же, стр. 516.

⁷ Там же, стр. 516. Тот же Шопенгауэр должен был признать, что истинная причина успеха антиномии Канта—в утверждаемой ею *диалектичности* разума: «Единостный прием, встреченный антиномией, надо думать об'ясняется тем, что кое для кого весьма приятно вглядеться на пункт, где рассудку приходится остановиться, наткнувшись на что-то такое, что сразу и существует, и не существует» (там же, стр. 516).

IV

Но как бы ни были велики исторические заслуги кантовского учения о диалектической антиномии, нельзя закрывать глаза на его огромные недостатки и пробелы. Величие Канта вовсе не нуждается в слащавой идеализации и конечно не может быть поколеблено даже самой придирчивой и строгой критикой. А между тем в отношении Канта необходима именно такая критика. Если Кант в своем учении об антиномии вновь с силой выдвинул диалектическую проблему противоречия и благодаря этому стал пионером всей новейшей диалектики, то, напротив, способ *изложений и доказательств* антиномий, а еще более способ их *разрешения и об'яснения* ни в каком случае не могут быть признанными удовлетворительными и отвечающими природе и нормам диалектического мышления. Ни одно учение Канта не оказалось столь плодотворным в истории диалектики, как учение об антиномии, но вместе с тем ни одно не обнаруживает с такой ясностью громадных принципиальных недостатков кантовской диалектики. Научная деятельность Канта представляет наиболее парадоксальный факт в истории философии. Причина этой парадоксальности в том, что мыслитель, возродивший диалектическую традицию, в своем мышлении в самых основах своей логики, был, как я постараюсь показать, крайне антидиалектичным. Недостатки кантовской диалектики проявляются не в случайных промахах, не в деталях, не во второстепенных частях учения. Они поражают самую основу всей системы, неизменно обнаруживаясь как в изложении ее, так и в конечных выводах.

Начнем с изложения. Хотя Кант сам торжественно заявил, что в его антиномии все тезисы и противоречащие им антитезисы доказываются вполне строго, а аргументы черпаются из самой сути дела, однако, как это заметил уже Гегель, «при ближайшем рассмотрении «кантовы антиномии не содержат в себе ничего, кроме совершенно категорического утверждения *одного из каждых* двух противоположных моментов определения *изолированно* от другого»¹. Но при этом такое простое асерторическое утверждение облечено у Канта «в превратную, искаженную оболочку рассуждения»², вследствие чего получается только *видимость* доказательства, и «простой асерторический характер утверждения должен остаться прикрытым и незаметным»³.

Недостатки кантовых доказательств Гегель выяснил на подробном анализе *антиномии бесконечной делимости* материи, которая, по логическому своему построению, может считаться для Канта *типической*.

В общей форме возражения против кантовских доказательств могут быть сформулированы следующим образом. Доказательства как

¹ Гегель, Наука логики, I, стр. 117.

² Там же, стр. 117.

³ Там же, стр. 117.

тезисов, так и антитезисов каждой антиномии Кант ведет *апагогически*, т. е. от противного. Но такая форма доказательства страдает бесполезной вымученной запутанностью, которая служит лишь к тому, чтобы достигнуть внешнего вида доказательности. Апагогическая форма кантовых доказательств только прикрывает тот факт, что у Канта положение, которое должно было бы явиться *выводом*, само приводится в скобках—как *основа всего доказательства*,—так что на самом деле тут даже вообще нет никакого доказательства, а есть только предположение¹. Если же освободить доказательства тезисов и антитезисов от ненужных подробностей и запутанности, то каждая антиномия сводится к разделению и прямому утверждению противоположащих положений, и притом без всякого их синтеза².

Но как бы ни были велики недостатки кантовского изложения и доказательства антиномии, не в них одно все дело. Гораздо существеннее недостатки в *самом способе их разрешения*. Хотя Кант неоднократно повторяет, что противоречия разума—совершенно необходимы и не могут быть устранены одним открытием их источника в разуме, однако, как оказывается при более тщательном анализе, антиномия Канта все же есть не действительное противоречие, но всего лишь *иллюзия*, *призрак* противоречия. Своего обещания—дать подлинную и неустрашимую диалектику противоречий разума—Кант *не выполнил*. В действительности все без исключения антиномии, которые Кант так внушительно развертывает в своих трех «Критиках», разрешаются не диалектически, но таким образом, что законы формальной логики оказываются при этом непоколебленными, сохраненными во всей прежней силе.

Чтобы убедиться в справедливости сказанного, рассмотрим кантово разрешение антиномии *теоретического* разума, так как эти антиномии разработаны Кантом тщательнее всех остальных и всего отчетливее обнажают *логические* основы кантовской диалектики.

Мы уже знаем, что антиномии теоретического разума возникают, по Канту, из *космологических* идей, требующих *абсолютной* полноты синтеза объективных условий. Эту полноту разум стремится осуществить в понятии о мире, как абсолютной целостности. Антиномия состоит в том, что при попытке мыслить мир, как абсолютную целостность объективных условий, разум вынужден высказывать об этом мире ряд противоречивых суждений.

Однако, по Канту, ближайшее рассмотрение космологических антиномий показывает, что в основе космологического умозаключения лежит простая логическая ошибка, которая ускользает от нашего внимания только вследствие огромного интереса, какой в наших глазах представляет разрешение космологических проблем.

Эта ошибка состоит, по Канту, в следующем. В космологическом умозаключении разум необходимо движется от обусловленного—через

все его условия—к абсолютной законченности их ряда. Этот *регресс*, по Канту, вполне правомерен. «Если дано обусловленное,—говорит Кант,—то тем самым *намзадан* и регресс в ряду всех условий для него»¹. В самом деле: само понятие обусловленного «таково, что посредством него нечто относится к условию, и если это условие в свою очередь тоже обусловлено, то оно относится к более отдаленному условию и т. д. чрез все члены ряда»². Требуя непрерывного восхождения от обусловленного—через предыдущие условия—вплоть до условий самых отдаленных, разум поступает совершенно правомерно, а его применение не заключает в себе никакой ошибки и не приводит ни к каким противоречиям. Более того. Положение разума о необходимости регресса в ряду условий есть, по Канту, положение *аналитическое* и, как такое, «не боится трансцендентальной критики»³. Оно представляет необходимый *логический постулат* разума и состоит в требовании—продолжать при помощи рассудка как можно далее ту связь понятия с его условиями, которая присуща уже самому понятию⁴.

Ошибка в космологическом умозаключении начинается, по Канту, в том случае, если разум введет в свой регресс, не рассматривая при этом, принадлежит ли обусловленное, которое он мыслит, к миру *вещей в себе* или к миру *явлений*. Если обусловленное и его условие суть *вещи в себе*, то, при наличии обусловленного, «регресс к условиям не только задан, но и в действительности уже *дан* вместе с обусловленным»⁵. А так как сказанное относится ко всем членам ряда, то в рассматриваемом случае дан полный ряд условий и, следовательно, дано также и само безусловное. При этом синтез обусловленного с его условием и весь ряд условий мыслится совершенно независимо от понятия последовательности во времени. Здесь синтез обусловленного с его условием есть синтез чистого рассудка и в нем мы мыслим сразу абсолютную целостность синтеза, без условия времени, минуя необходимую для регресса последовательность восхождения.

Напротив, если обусловленное и его условие суть не вещь в себе, но лишь *явления*, то, по Канту, мы не можем, как это было в предыдущем случае, думать, будто вместе с данным обусловленным нам *даны* также и все условия для него, как для явления⁶. Ведь явления суть, по Канту, не более, как *эмпирический* синтез, который как всякий эмпирический синтез должен необходимо осуществляться в пространстве и во времени. *Эмпирический* синтез и ряд условий в явлении—«необходимо последователен и дан не иначе, как во времени»⁷. Поэтому здесь невозможно предполагать, как в предыдущем случае, *абсолютную* целостность синтеза и представленного посредством этого синтеза ряда. Здесь регресс к условиям *задан* нам, но еще *не дан* и дан

¹ Кант, Критика чистого разума, стр. 301.

² Там же, стр. 301—302.

³ Там же, стр. 302.

⁴ Там же, стр. 302.

⁵ Там же, стр. 302.

⁶ Там же, стр. 302.

⁷ Там же, стр. 302.

¹ Гегель, Наука логики, I, стр. 119.

² Там же, стр. 121. Ср. любопытную критику антиномии Канта у Шопенгауэра (стр. 510—2).

быть не может, ибо самый синтез этот «впервые осуществляется в регрессе и вовсе не существует без него»¹.

Неразличение между обусловленным как вещью в себе и тем же обусловленным как явлением и приводит, по Канту, к ошибке в космологическом умозаключении. В самом деле: космологическое умозаключение имеет следующий вид. Большая его посылка гласит, что если дано обусловленное, то дан и весь ряд условий его. Меньшая посылка утверждает, что предметы чувств даны нам как обусловленные. Отсюда—в соответствии с различиями в условиях эмпирического синтеза—возникают космологические идеи, которые, постулируя абсолютную целостность рядов условий, неизбежно приводят разум к противоречиям с самим собой².

Логическая ошибка этого умозаключения состоит, по Канту, в том, что *понятие обусловленного*, которое входит в обе посылки умозаключения, мыслится в них *не в одном и том же содержании*. А именно: в *большей* посылке космологического умозаключения разум мыслит понятие обусловленного в *трансцендентальном* значении, т. е. как *чистую категорию, как чистое понятие рассудка*. Напротив, в *меньшей* посылке разум мыслит понятие обусловленного лишь в *эмпирическом* значении, т. е. как понятие рассудка, примененное только к явлениям. Иными словами, в космологическом умозаключении, по Канту, мы имеем дело с той логической ошибкой, которой школьная традиция усвоила название *sophisma figurae dictionis*³ и которая состоит в том, что в обеих посылках средний термин принимается в различном значении. Но в то время, как в обыденном мышлении *sophisma figurae dictionis* появляется только вследствие недостаточной дисциплины мысли, т. е. случайно,—в космологическом умозаключении ошибка эта—совершенно неизбежна. Источник ее неискоренимости в том, что оба значения, в которых мыслится средний термин, соответствуют вполне естественным и весьма важным интересам разума. В самом деле: когда в *большей* посылке разум берет понятие обусловленного в трансцендентальном значении, он это делает, руководясь логическим постулатом, который заставляет нас допускать полный ряд посылок для данного вывода. Здесь разум принимает условия и их ряд как бы на веру. А так как в соединении обусловленного с его условиями «не указано никакого временного порядка, то они предполагаются сами по себе, как данные *вместе*»⁴.

Напротив, в *меньшей* посылке разум берет понятие обусловленного в *эмпирическом* значении и, таким образом, приходит к смешению понятий. Ибо, в отличие от *большей* посылки, в которой синтез обусловленного с условием и весь ряд условий мыслится *сразу* без всякого ограничения во времени и потому не заключает в себе понятие последовательности; в *меньшей* посылке, напротив, синтез, будучи эмпири-

ческим—необходимо последователен, дан не иначе, как во времени, всегда обусловлен действительным осуществлением регресса и потому не может предполагать *абсолютную* целостность синтеза и ряда его условий¹.

Такова, по Канту, сущность логической ошибки космологического умозаключения. Уже из приведенного анализа ясно видно, что Кантовское об'яснение по сути *разрушает диалектический смысл антиномии*. Подлинная диалектика может быть только там, где есть подлинное противоречие. Только в том случае можно говорить о диалектике, если мы вынуждены об одном и том же предмете высказывать утверждения, противоречащие друг другу в одно и то же время, в одном и том же отношении. Где нет действительного противоречия, там не может быть никакой речи о действительной диалектике. Но именно подлинного-то противоречия и нет у Канта. Если космологическое умозаключение основано, как показывает Кант, на одном лишь смешении понятий, то отсюда следует, что противоречащие суждения антиномии относятся не к одному и тому же предмету и противоречат друг другу не в одном и том же отношении. Но тогда нет никакого противоречия и никакой диалектики, а есть лишь иллюзия того и другого.

И действительно, все раз'яснения Канта ведут к полному отрицанию действительного противоречия и действительной диалектики. Чтобы убедиться в этом, необходимо рассмотреть подробнее способ, посредством которого Кант разрешает свои антиномии. По Канту, способ разрешения диалектических противоречий разума стоит в зависимости от различий между классами космологических идей. Антиномии теоретического разума распадаются, по Канту, на два класса—по две антиномии в каждом. Антиномии первого класса, которые Кант называет *математическими*, суть антиномия конечности и бесконечности мира, а также антиномия его делимости и неделимости. Антиномии второго класса,—по терминологии Канта *динамические*,—суть антиномия необходимости и свободы, а также антиномия случайности и необходимости. И вот, оказывается, способ разрешения *математических* антиномий существенно отличается от разрешения антиномий *динамических*.

Начнем с антиномий *математических*. По Канту, общим для антиномий этого класса является то, что мыслимый в них синтез есть *синтез однородного*. В этих математических антиномиях обсуждается *величина* мира, а понятием величины всегда предполагается синтез однородного, независимо от того, идет ли дело о *сложении* величины,—как это имеет место в *первой* антиномии, или о *делении* ее,—как это имеет место во *второй*. Однако, сходство между первой и второй антиномией не ограничивается тем, что в них мыслится *синтез однородного*. Обе математические антиномии сходны еще и в том, что противоречия, в которые впадает разум, в этих антиномиях, имеют одинаковую логическую природу и потому разрешаются одинаковым обра-

¹ Кант, Критика чистого разума, стр. 302.

² Там же, стр. 302.

³ Там же, стр. 302.

⁴ Там же, стр. 302.

¹ Кант, Критика чистого разума, стр. 303.

зом. В чем же состоит природа этой антиномии? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вспомнить учение Канта о *противоречии*. По Канту, подлинное логическое противоречие имеет место только там, где два суждения «находятся в отношении противоречащей противоположности»¹. Противоречащая противоположность, которую Кант называет еще и аналитической², состоит, по Канту, в том, что одно суждение высказывает известное утверждение, а другое отрицает это утверждение, но таким образом, что при этом на место отрицаемого не ставится никакое другое положение того же рода. Если я говорю, — раз'ясняет Кант, — что «всякое тело или благовонно или неблаговонно (vel suavolens vel non suavolens), то в таком случае эти суждения находятся в отношении противоречащей противоположности»³. Согласно закону противоречия, такие два суждения не могут быть сразу истинными. Согласно закону исключенного третьего, они не могут быть оба вместе ложными. Только первое из них ложно⁴, второе же — истинно. Если же кто-нибудь возразит на это, что возможны случаи, когда тело вовсе не имеет никакого запаха, то такие случаи целиком подходят под *второе* суждение, ибо «утверждение, что некоторые тела не благовоны, охватывают также и тела, которые вовсе не пахнут»⁵. Иными словами, подлинное логическое противоречие, по Канту, возможно тогда, когда второе суждение представляет *логическое отрицание первого* и ничего более. По раз'яснению Канта, «логическое отрицание, обозначаемое только словечком *не*, собственно никогда не принадлежит понятию, а всегда только отношению его к другому понятию в суждении»⁶. Например, «слово *несмертный* вовсе не означает, что посредством него представляется в предмете только небытие: оно оставляет совершенно незатронутым содержание понятия»⁷.

Напротив, если я говорю, что всякое тело или пахнет *хорошо* или пахнет *нехорошо*, то по Канту, «между этими двумя положениями существует третье, именно, что тело вовсе не пахнет»⁸. При таком противоположении случайный признак понятия тела — запах — остается еще в антитезисе, не подвергается в нем отрицанию и, таким образом, между обоими суждениями нет отношения противоречащей противоположности⁹. Поэтому об этих суждениях нельзя сказать, что одно из них должно быть истинным. Они могут оба оказаться ложными — в том случае, если в основе их лежит ложное допущение. Именно так и обстоит дело в нашем случае. Оба суждения ложны, ибо есть тела, которые вовсе не имеют запаха: ни хорошего ни дурного.

¹ Кант, Критика чистого разума, стр. 304.

² Там же, стр. 304.

³ Там же, стр. 304.

⁴ Там же, стр. 304.

⁵ Там же, стр. 304.

⁶ Там же, стр. 335.

⁷ Там же, стр. 336.

⁸ Там же, стр. 304.

⁹ Там же, стр. 304.

Таково учение Канта о логическом противоречии и логическом отрицании. Если теперь мы приложим это учение как критерий к анализу математической антиномии, то мы должны будем вместе с Кантом признать, что она ни в какой мере не заключает в своем составе подлинного противоречия — в кантовском, т. е. логическом значении. По Канту, математическая антиномия только в том случае заключала бы в себе противоречие, если бы тезис утверждал, что мир по своему протяжению бесконечен, а антитезис — что он не бесконечен (non est infinitus). Тогда, в случае ложности первого суждения, должно было бы оказаться истинным — по закону исключенного третьего — противоречащее ему второе суждение. Ибо в этом суждении «я только отрицаю бесконечный мир, не ставя на его место другой, именно конечный мир»¹.

Однако, по Канту, суждения, образующие математическую антиномию, вовсе не стоят друг к другу в отношении противоречащей противоположности. В самом деле: в первой антиномии тезис утверждает, что мир *бесконечен*, антитезис — что он *конечен*. В тезисе я «рассматриваю мир, как сам по себе определенный по своей величине»². В антитезисе же я «не только отрицаю бесконечность и вместе с тем, быть может, вообще самостоятельное существование его»³, но кроме того, еще и приписываю миру, как вещи в себе, положительный признак *конечности*. Итак, в математической антиномии антитезис не ограничивается простым отрицанием утверждаемого в тезисе, но и высказывает нечто сверх того, что необходимо для противоречия⁴. Но именно поэтому между тезисами и антитезисами математической антиномии не может быть противоречащей противоположности. Поэтому из ложности одного из этих суждений не вытекает истинность второго. Здесь и тезис и антитезис оба могут быть вместе ложными. Они противоположны, но не противоречат друг другу. Ложными такие противоположные суждения могут оба оказаться в том случае, если в основе обоих лежит несостоятельное условие или предположение⁵.

Но именно такова, по Канту, математическая антиномия! В ней тезис и антитезис покоятся оба на ошибочном допущении, будто мир, т. е. весь ряд явлений, есть вещь, действительная сама по себе, независимо от наших представлений. В самом деле: и в тезисе и в антитезисе обсуждается *величина* мира по протяжению. Будем ли мы считать мир по величине конечным или бесконечным, — и в том и в другом случае величина мира «должна бы принадлежать ему самому, помимо всякого опыта»⁶. Но это «противоречит понятию чувственного мира, который есть лишь содержание явления, существование и связь

¹ Кант, «Критика чистого разума», стр. 304.

² Там же, стр. 304.

³ Там же, стр. 304.

⁴ Там же, стр. 304.

⁵ Там же, стр. 304.

⁶ Кант, Прологомены, стр. 131.

которого имеет место только в представлении, именно в опыте¹». По Канту, «мир вовсе не существует сам по себе, независимо от регрессивного ряда моих представлений²». Он существует «только в эмпирическом регрессе ряда явлений и сам по себе нигде не может быть найден³».

Итак, посылка, лежащая в основе тезиса и антитезиса математической антиномии оказалась ложной. Вместе с нею должны оказаться ложными и оба противоположных суждения. Если мир вовсе не существует сам по себе, то он «не существует ни как само по себе бесконечное, ни как само по себе конечное целое»⁴. Если ряд явлений всегда обусловлен и никогда не дан целиком, то «мир вовсе не есть безусловное целое и потому он не обладает ни бесконечностью, ни конечностью»⁵.

То же самое, по Канту, справедливо и относительно второй математической антиномии. Таким образом разрешение математической антиномии состоит у Канта в том, что и тезис и антитезис признаются оба ложными, а их противоположность—не противоречащей, но всего лишь контрерной. По Канту, думать, будто между тезисом и антитезисом математической антиномии есть отношение противоречащей противоположности, может только тот, кто предполагает что мир явлений есть вещь в себе. Но если мы откинем это ложное предположение и станем отрицать, что мир есть вещь в себе, «тогда противоречащая противоположность превратится в чисто диалектическую противоположность этих утверждений»⁶. Тогда ясным станет, что математическая антиномия «представляет противоречие, обусловливаемое иллюзией, которая возникает вследствие того, что мы применяем идею абсолютной целостности, имеющую значение только в качестве условия вещей в себе, к явлениям, которые существуют только в представлении, и если образуют ряд, то только в последовательном регрессе, а больше нигде»⁷. Вместе с разоблачением иллюзорности противоречия изменяется тогда и самая постановка космологического вопроса. Вопрос состоит уже не в том, «как велик этот ряд условия сам по себе, конечен ли он или бесконечен,—этого ряда нет самого по себе,—и вопрос состоит лишь в том, как должны мы производить эмпирический регресс»⁸.

Так разрешается у Канта математическая антиномия. Из этого разрешения видно, что диалектики в подлинном значении этого понятия кантова антиномия в себе не содержит. Противоположность тезисов и антитезисов, которая при изложении антиномии имела вид противоположности *контрадикторной*, оказалась всего лишь *контрерной*.

¹ Кант, Критика чистого разума, стр. 131.

² Там же, стр. 305.

³ Там же, стр. 305.

⁴ Там же, стр. 305.

⁵ Там же, стр. 305.

⁶ Там же, стр. 305.

⁷ Там же, стр. 305.

⁸ Там же, стр. 309.

Там где первоначально казалось, что тезисы и антитезисы антиномии противоречат друг другу в одном и том же отношении об одном и том же предмете—на деле вышло, что противоречия-то никакого и нет, ибо сам предмет противоречивых утверждений есть, по Канту, *ничто*. «Логический признак невозможности данного понятия,—утверждает Кант,—состоит именно в том, что при его предположении два противоречивых положения будут одинаково ложными, и следовательно,—так как между ними немислимо никакое третье,—данным понятием не будет выражаться совсем ничего»¹. Именно такое противоречивое понятие и лежит, по Канту, в основе обеих математических антиномий. Все тезисы и антитезисы математической антиномии—одинаково ложны. Источник их ложности—в ложности понятия, на котором все они покоятся. Понятие это есть понятие о мире, который мыслится сразу и как мир явлений и как мир вещей в себе. В мысли о таком мире «противоречащее себе—именно явление как вещь сама по себе—представляется соединимым в одном понятии»². В соответствии с этим разрешение антиномии состоит в простом устранении противоречивого понятия, из которого она возникает. Необходимо отказаться от попытки мыслить в одном понятии мир и как совокупность явлений и как вещь в себе. С отказом от этой противоречивой задачи падают и все противоположные утверждения, ею питающиеся. Памятуя, что мир вовсе не дан нам, как вещь в себе, разум отказывается от попыток определить его как бесконечный или как конечный, как делимый или как неделимый. Самое понятие регресса в бесконечность (*regressus in infinitum*) неосуществимо целиком нигде в опыте и заменяется понятием о всего лишь *неопределенно продолжающемся регрессе* (*regressus in indefinitum*), которое «не определяет никакой величины в объекте»³, не предписывает никакого регресса, «который направлялся бы без конца назад в области определенной группы явлений»⁴, и которое есть только «правило перехода от явлений к явлениям»⁵, повелевающее «никогда не отказываться от расширения возможного эмпирического применения своего рассудка»⁶.

Таким образом математическая антиномия Канта не только не наносит никакого ущерба формальной логике, но, напротив, подтверждает незыблемое значение принципов этой последней. Более того. Самое возникновение антиномии Кант объясняет нарушением закона противоречия. Ведь, по Канту, вся антиномия возникает вследствие попытки соединить в одном и том же понятии—понятии *мира*—противоречивые определения: понятие о нем как о явлении и понятие о нем как о вещи в себе. С другой стороны, разрешение антиномии сводится у Канта к простому восстановлению прав закона противоречия: к отказу от попыток мыслить в одном несоединимом, к раз-

¹ Кант, Пролегомены, стр. 130.

² Там же, стр. 132.

³ Кант, Критика чистого разума, стр. 311.

⁴ Там же, стр. 312.

⁵ Там же, стр. 312.

⁶ Там же, стр. 312.

личению явлений от вещей в себе и, следовательно, к устранению самого противоречия.

Полученный результат нельзя не признать крайне жалким. Затратив громадные усилия для доказательства природной антиномичности разума, Кант, в результате напряженной работы мысли, приходит к чистому ничто. Диалектика разрешается в простую иллюзию, а противоречия, выдвинутые как необходимые состояния разума, провозглашаются несуществующими и беспредметными.

Коренной недостаток всей диалектической концепции Канта — в непреодоленном до конца *формализме логического мышления*. Учение Канта об антиномии поражает несоответствием между гениальным диалектическим замыслом и крайне узким, *чисто-формальным*, метафизическим его разрешением. По своей сути математические антиномии Канта — вполне конкретны и выражают подлинно диалектическую, и притом — в самом предмете укорененную — проблему знания. Напротив, весь смысл *кантовского* объяснения антиномии сводится к *отказу от ее обсуждения по существу, к устранению* самого противоречия. По справедливому замечанию Гегеля, «это разрешение оставляет в стороне самое содержание антиномии»¹. Вместо того, чтобы рассмотреть диалектическое соотношение тезисов и антитезисов, Кант уклоняется от анализа этого отношения по существу, прикрываясь формально-логическим различием контрадикторной и контрерной противоположности. Разрешение это — чисто формально и не только не может быть названо диалектическим, но, напротив, прямо вытекает из формального понимания логической природы противоречия. В самом деле: различие контрадикторной и контрерной противоположности сводится к чисто количественному отношению между об'емами понятий. В случае контрадикторной противоположности вся совокупность возможных предметов мышления без остатка делится между об'емами понятий, образующих предикаты в тезисе и в антитезисе. Так, в противоположности «все тела или благовоны или не благовоны», которую сам Кант приводит в качестве примера настоящей аналитической, то есть контрадикторной противоположности, сумма всех возможных предметов мышления без остатка равняется сумме об'емов предикатов обоих суждений. Ибо в об'ем «не благовоных» предметов входят, во-первых, все предметы, которые дурно пахнут, а во-вторых все, которые вовсе не имеют или не могут иметь запаха. Вместе с об'емом «благовоных» тел — «неблаговоных» тела составляют всю совокупность мыслимых предметов вообще. На этой абсолютной полноте разделения и основывается возможность применения здесь формально-логических законов противоречия и исключенного третьего.

Напротив, в случае *контрерной* противоположности, об'емами понятий, образующих предикат в тезисе и антитезисе, сумма всех возможных предметов мышления еще не *исчерпывается*. Класс «плохо пахнущих» тел составляет *только часть* об'ема класса «не благово-

¹ Гегель, Наука логики, I, 1, стр. 123.

ных» тел. Другую часть этого об'ема образуют тела вовсе лишенные запаха. Так как в этом случае сумма об'емов предикатов в тезисе и антитезисе составляет только часть всей суммы возможных предметов мышления, то к данной противоположности закон исключенного третьего *неприложим* и оба противоположные суждения могут оказаться ложными.

Совершенно очевидно, что и в том и в другом случае анализируется *исключительно количественное* соотношение между об'емами понятий независимо от их содержания. Весь ход мысли здесь совершенно соответствует квантитативной точке зрения формальной логики. Диалектическое по сути противоречие Кант пытается разрешить средствами формальной логики, которая по самой природе своей неспособна мыслить противоречие. Обсуждение содержания противоречащих положений заменяется у Канта рассмотрением формальных отношений между об'емами входящих в них понятий. Особенно поразителен тот факт, что сам Кант пытался расширить понятие об отрицании, применив и к нему различие между формально-логической и трансцендентальной точкой зрения¹. Однако, в объяснении математической антиномии, где, казалось бы, трансцендентальная точка зрения должна была главенствовать, Кант опирается на понятие отрицания *именно в его узко-формальном логическом* содержании. На этом понятии основывается различие между контрадикторной и контрерной противоположностью.

Итак, диалектического разрешения проблемы противоречия Кант не дал. Кант только вызвал призрак противоречия, но вызвав, не выдержал его зрелища и отвернулся от него, как Фауст от духа, вызванного заклинанием. По глубокому замечанию Гегеля, «формальное мышление фактически и мыслит противоречие, но сейчас же отвращает от него взор и в этом предрассудке отходит от него лишь в отвлеченное отрицание»².

Но даже и оставляя в стороне чисто-формальный характер кантовского разрешения антиномии, даже согласившись с Кантом в его об'емной трактовке логической проблемы противоречия, нельзя не признать, что оно покоится на посылке, ложной по самому существу. Все кантово объяснение антиномии основано на предположении, что понятие о мире как о вещи в себе заключает в себе противоречие и потому не может быть мыслимо. Нечего и говорить, что посылка эта ложна и антидиалектична. Она ложна, ибо отрывает явление от сущности, мир как целое от его эмпирических сил и проявлений. Она

¹ См. напр., учение Канта о логическом и трансцендентальном понятии противоречия в «Критике чистого разума» (в отд. трансцен. диалект., гл. 3, секц. 2 — о трансценд. идеале). В то время как логическое отрицание, обозначаемое словечком «не», собственно никогда не принадлежит понятию, а всегда только отношению его к другому понятию в суждении, наоборот, «трансцендентальным отрицанием обозначается бытие само по себе, которому противоположно трансцендентальное утверждение, высказывающее нечто такое, понятие чего уже само по себе выражает бытие и потому называется реальностью»... (стр. 335—336).

² Гегель, Наука логики, II, стр. 206.

антидиалектична, ибо в основе ее лежит мысль о невозможности и немислимости противоречия: Кант *запрещает* соединять в одном термине понятие о вещи в себе и понятие о явлении. И делает он это потому, что, будучи противоречивыми, оба эти определения—в глазах Канта—несовместимы в одном и том же объекте.

Обнажая формалистическую сущность диалектики Канта, предпосылка несовместимости вещи в себе и явления подчеркивает вместе с тем характерную мысль критицизма. Последняя цель кантовской диалектики отнюдь не состоит в демонстрации необходимых противоречий разума. Последняя цель диалектики Канта совпадает с главным замыслом критической метафизики и состоит в *доказательстве непознаваемости вещей в себе*. Цель антиномии, по Канту, не в том, чтобы раскрыть необходимо-присущие познанию противоречия, а в том, чтобы удерживать знание в границах эмпирического применения категорий. Антиномия возможна только тогда, когда эмпирический синтез явлений мы ошибочно принимаем за определение вещей в себе. Противоречие—призрак, но призрак, по Канту, полезный, благодетельный. Противоречие появляется в разуме тогда, когда разум переступает положенные ему границы и неопределенно продолжающийся регресс в ряду явлений ошибочно принимает за осуществленный безусловный регресс вещи в себе. Появившись в поле мышления, призрак противоречия тревожит мысль антиномиями и тем самым вынуждает к отказу от предположения, послужившего источником противоречия. Итак, цель антиномии—не теоретически-диалектическая, но всего лишь педагогическая и даже скорее охранительная, полицейская. Противоречия, мыслимые в антиномии, не расширяют нашего знания о природе мыслимых предметов. Антиномии только стоят на страже учения об идеальности явлений и о непознаваемости вещей в себе. Подлинная польза, которую мы можем извлечь из антиномии, состоит, по Канту, в том, что «посредством антиномии мы можем доказать трансцендентальную идеальность явлений»¹.

Совершенно очевидно, что свою охранительную роль антиномия может выполнять только при условии, что закон противоречия остается во всей своей силе. Появляясь в поле зрения разума, противоречия как бы сигнализируют об ошибке рассудка, об его выходе за пределы единственно доступного ему мира явлений. Но это значит, что противоречие есть только ошибка, заблуждение, патологическое состояние познающей мысли.

Таким образом после длинного пути, пройденного вместе с Кантом, мы вернулись к исходной точке формальной логики—к принципу противоречия в самой ортодоксальной его форме. Оказывается, диалектика Канта не только не приводит к утверждению реальности противоречия, не только не укореняет его в вещах, но, напротив, изгоняет противоречие даже из мышления. По Канту, один из благодетельных результатов критицизма состоит именно в том, что критицизм—посредством разъяснения антиномии—освобождает разум от

противоречий, в которые тот попадает в результате догматизма, т.-е. веры в познаваемость вещей в себе.

С ясностью, исключаяющей всякие сомнения, утверждает Кант невозможность противоречия. Противоречия суть, по Канту,—всего лишь «мрак», а не выражение истинной, действительной и необходимой природы мыслимых определений предмета. Если разум «погружается во мрак противоречий»¹, то, по мысли Канта, из них он «может заключить, что где-нибудь в основе им допущены ошибки»².

В связи с этим цель разума—отнюдь не уразумение и не усмотрение присущих мыслимому предмету противоречий. Напротив, задача разума—в *избавлении, в освобождении* мысли от противоречия. Для Канта *свобода от противоречия* есть все же *высший критерий истины*. По Канту, немаловажным аргументом в пользу трансцендентального идеализма служит именно тот факт, что предпосылки идеализма освобождают знание от противоречия. Напротив, предпосылка «догматизма»—о познаваемости вещей в себе—запутывает мысль в противоречия... «Если теперь оказывается,—говорит Кант,—что учение, согласно которому наша способность познания соотнобразится с предметами как вещами в себе, неизбежно *приводит к противоречиям* в понятии безусловного; если, наоборот, учение, согласно которому... предметы как явления соотнобразятся с нашей способностью представления, *освобождает нас от противоречий*, и, следовательно, безусловно должно находиться не в вещах, поскольку мы их знаем, а в вещах, поскольку мы их не знаем, т. е. в вещах в себе, то отсюда становится ясным, что сделанное нами... допущение хорошо обосновано»³.

Нельзя сказать, чтобы Канта вовсе не беспокоила усвоенная им диалектике роль полицейского стража непознаваемых вещей в себе. Кант предвидел, что его чисто негативная трактовка диалектики должна будет вызвать возражения. Кант сам указывал, что «поверхностный обзор» «Критики» может привести к мысли, «что она имеет чисто *отрицательное* значение, именно предостерегает нас против всяких попыток выходить с помощью теоретического разума за пределы опыта»⁴. Возражение это Кант пытается отклонить полусмелым сравнением критики с полицией, которая, выполняя запретительные и охранительные функции, приносит в то же время и *положительную* пользу. «Отрицать эту положительную пользу критики,—говорит Кант,—это все равно что утверждать, что полиция не приносит никакой положительной пользы, так как главная ее задача состоит только в предупреждении насилий одних граждан над другими»⁵. Но серьезно, не по методу каламбура, вопрос о *положительном* смысле диалектики Кант пытался разрешить в своем анализе и объяснении *второго класса антиномий* чистого разума—антиномий *динамических*. К анализу этих антиномий мы и обратимся.

¹ Кант, Критика чистого разума, стр. 305.

² Там же, стр. 3.

³ Там же, стр. 14.

⁴ Там же, стр. 16.

⁵ Там же, стр. 15.

По Канту, способ разрешения динамических антиномий существенно отличается от разрешения антиномий математических. В математической антиномии, как мы только что видели, Кант стремится показать, что и тезис и антитезис противоположных суждений одинаково ложны, а истина состоит в устранении самого предмета спора как несуществующего. Напротив, в динамической антиномии и тезис и антитезис, согласно раз'яснениям Канта, должны быть признаны *оба истинными*. В соответствии с этим разрешение динамической антиномии сводится к уразумению того, в каком отношении истинны противоречащие друг другу утверждения.

Вряд ли необходимо доказывать, насколько большой теоретический интерес представляет разрешение динамической антиномии. Если тезис и антитезис антиномии равно истинны, то не имеем ли мы — в лице динамической антиномии Канта — подлинно положительного разрешения диалектической проблемы. Ибо, как было указано уже выше, — только в том случае мы имеем дело с действительной диалектикой и с действительным синтезом, если тезис и антитезис противоречивых суждений о предмете истинны в одно и то же время и в одном и том же отношении.

Чтобы разобраться в кантовском об'яснении динамических антиномий, выберем в качестве образца *третью* антиномию теоретического разума — *антиномию необходимости и свободы*. Сделать это вдвойне целесообразно. Во-первых, именно эта антиномия должна быть признана *основной* в классе динамических антиномий. Как правильно показали Гегель и Шопенгауер, антиномия механизма и телеологизма в последнем счете сводится у Канта к антиномии необходимости и свободы¹. Во-вторых изложение и разрешение антиномии необходимости и свободы особенно обстоятельны и с исчерпывающей ясностью обнажают логическую конструкцию динамических антиномий Канта.

Как мы уже знаем, тезис третьей антиномии гласит, что «причинность, согласно законам природы, есть не единственная причинность, из которой могут быть выведены все явления в мире. Для об'яснения явлений необходимо еще допустить свободную причинность»². Напротив, согласно *антитезису*, «не существует никакой свободы, но все совершается в мире только согласно законам природы»³.

Начнем с анализа антитезиса, при чем для большей полноты рассмотрим не только узко-формальное, апагогическое его обоснование в доказательстве третьей антиномии, но также и всю совокупность аргументов, которыми оперирует Кант в «Критике практич. разума», в «Критике чистого разума», в «Пролегоменах», и в «Основоположении к метафизике нравов».

¹ Гегель, Наука логики. II, стр. 129, 126. Шопенгауер, Критика философии Канта (ор. cit. стр. 511, 516, 525).

² Кант, Критика чистого разума, стр. 276.

³ Там же, стр. 277.

По Канту, истинность антитезиса удостоверяется самим понятием природы. «Закон природы, — раз'ясняет Кант, — гласит, что все случаемое имеет причину»¹. Причинность причины, т. е. ее *активность*, «предшествует действию и в отношении к своему возникшему во времени действию сама не могла существовать всегда, но должна быть *возникшей*»². «Поэтому, — утверждает Кант, — она также имеет свою причину среди явлений, посредством которых она определяется, и, следовательно, все события эмпирически определены в порядке природы»³.

Этот закон всеобщей естественной необходимости есть, по Канту, «закон рассудка, не допускающий никаких отклонений или исключений для какого бы то ни было явления»⁴. Если бы мы допустили возможность хотя бы какого-нибудь исключения из всеобщего закона необходимости, то, по словам Канта, мы «поставили бы явление вне всякого возможного опыта, обособили бы его таким образом от всех предметов возможного опыта и превратили бы его в простой вымысел и фантазию»⁵.

Человек и его поведение, поскольку мы его рассматриваем как явление среди других явлений природы, не составляет никакого исключения из общего правила природной необходимости. Каждый поступок человека «происходит в данный момент времени» и потому «необходимо стоит под условиями того, что было в предшествующее время»⁶. А так как «прошедшее время уже не находится в моей власти, то каждый мой поступок, — заключает Кант, — необходим в силу определяющих оснований, которые не заключаются в моей власти»⁷. Иными словами «в каждый момент времени, в который я действую, я никогда не бываю свободным». Даже, если бы я признавал все, свое существование независимым от какой-либо чуждой причины, например, от бога, то и это, по Канту, отнюдь не превращало бы физическую необходимость в свободу»⁸. Даже, при этом допущении человек в каждый момент времени стоит под необходимостью определяться к деятельности через то, что *не находится в его власти*. В таком случае бесконечный ряд событий, который человек может только продолжать в заранее определенном порядке и никогда не может начинать из себя, и «был бы непрерывной цепью природы», и его причинность «никогда бы не была свободной»⁹. Поэтому в каждом суб'екте чувственного мира мы «должны находить эмпирический характер, благодаря которому его акты как явления стоят, согласно

¹ Кант, Критика чистого разума, стр. 321.

² Там же, стр. 321.

³ Там же, стр. 321.

⁴ Там же, стр. 321.

⁵ Кант, Критика практического разума, стр. 99.

⁶ Там же, стр. 99.

⁷ Там же, стр. 99.

⁸ Там же, стр. 100.

⁹ Кант, Критика чистого разума, стр. 320.

постоянным законам природы, в сплошной связи с другими звеньями, могут быть выведены из них, как из условий, и вместе с ними являются членами единого ряда в порядке природы»¹. Согласно этому своему эмпирическому характеру каждый суб'ект как явление «подчинен всем законам определения согласно причинной связи и представляет в этом отношении не что иное, как часть чувственного мира, действия которой, подобно всем другим явлениям, с необходимостью вытекают из природы»².

Итак, как явление среди других явлений природы, человек целиком подлежит закону необходимости. Для человека, поскольку мы рассматриваем его как явление эмпирического чувственного мира, невозможна свобода, т. е. способность *самопроизвольно* «начинать состояние», независимо от другой причины, которая определяла бы это состояние во времени³. «Все акты человека в явлении, — говорит Кант, — определяются из эмпирического характера и других содействующих причин согласно порядку природы; и если бы мы могли исследовать до конца все явления человеческой воли, мы не нашли бы ни одного человеческого акта, которого нельзя было бы предсказать с достоверностью и познать как необходимый, на основании предшествующих условий»⁴. «Следовательно, — заключает Кант, — в отношении этого эмпирического характера нет свободы»⁵. А в другом месте Кант говорит, что если бы для нас было возможно так глубоко проникнуть в образ человека, чтобы нам было известно каждое, даже малейшее его побуждение, в том числе и внешние поводы, влияющие на него, то поведение такого человека в будущем можно было бы предсказать с такой же точностью, как лунное или солнечное затмение»⁶. И здесь не имеет никакого значения, лежит ли причинность определяемая по физическому закону, в самом суб'екте или вне его, и в случае если она лежит в суб'екте, определяется ли она через инстинкт или в силу разумных основ, ясных сознанию самого суб'екта. Основы, которыми руководятся люди в своем поведении, могут быть ясно сознаваемы ими. Они «могут иметь психологическую, а не механическую причинность, т. е. производить поступок посредством телесных движений»⁷. И все-таки они могут быть основами определения причинности лишь постольку, поскольку существование суб'екта определяется во времени⁸. Следовательно, когда суб'ект должен действовать, они «уже не в его власти»⁹. Правда, они вводят с собою психологическую свободу..., но вводят и физическую необходимость¹⁰. Поэтому всякую необходимость событий во времени по естественному

¹ Кант, Критика чистого разума, стр. 320.

² Там же, стр. 320.

³ Там же, стр. 324.

⁴ Кант, Критика практического разума, стр. 104.

⁵ Кант, Критика чистого разума, стр. 325.

⁶ Там же, стр. 307.

⁷ Кант, Критика практического разума, стр. 101.

⁸ Там же, стр. 101.

⁹ Там же, стр. 101.

¹⁰ Там же, стр. 101.

закону причинности—совершаются ли эти события посредством одних телесных движений или также при участии представлений—Кант называет *механизмом природы*.

Поэтому же Кант утверждает, что если бы свобода нашей воли была только психологической, т. е. относительной, «то в сущности это была бы только свобода вертела, который раз он заведен, сам собою исполняет все свои движения»¹.

И все же свобода, по Канту, существует, и притом не та, всего лишь относительная свобода, которая состоит в сопровождении наших действий представлением об их психологических мотивах, но подлинная «трансцендентальная» или «абсолютная свобода», которую надо мыслить как «независимость от всего эмпирического, и, следовательно, от природы вообще»², как «способность самостоятельно определять свои действия независимо от принуждения со стороны чувственных мотивов»³.

Дело в том, что человек, по Канту, не есть только явление чувственного мира. В то время как всю остальную природу человек познает «исключительно лишь посредством чувств», самого себя он познает еще и «посредством чистой апперцепции и притом в актах и внутренних определениях, которые он вовсе не может причислить к впечатлениям чувств»⁴. И, если, с одной стороны, человек для себя есть явление, необходимо подлежащее общему порядку природы, то, с другой стороны, именно в отношении некоторых своих способностей он для себя есть «чисто умопостигаемый предмет», деятельность которого «вовсе не может быть отнесена на счет восприимчивости чувственности»⁵. Эта способность, открывающая пред человеком возможность рассматривать себя и свои действия не только как звено в мире явлений, но также и как предмет мира умопостигаемого, есть, по Канту, *разум*, но не теоретический или спекулятивный, а *чистый практический разум* или источник нравственного законодательства. Как чисто умопостигаемая способность чистый разум «не подчинен форме времени и, следовательно, также условиям временной последовательности»⁶.

В умопостигаемом характере, в отличие от характера эмпирического, причинность разума «не возникает или не начинается в определенном времени, чтобы произвести действие»⁷. Так как сам разум не есть явление и не подчинен условиям чувственности, то поэтому «в нем самом, в отношении его причинности нет никакой временной последовательности»⁸. В умопостигаемом характере «нет никакого прежде и после», и всякий акт, независимо от отношения времени,

¹ Кант, Критика практического разума, стр. 102.

² Там же, стр. 102.

³ Там же, стр. 102.

⁴ Кант, Критика чистого разума, стр. 323.

⁵ Там же, стр. 323.

⁶ Там же, стр. 325.

⁷ Там же, стр. 325.

⁸ Там же, стр. 326.

которым он связан с другими явлениями, есть «непосредственное действие умопостигаемого характера чистого разума»¹.

На этом усмотрении интеллектуальной или умопостигаемой сущности человека основывается, по Канту, возможность свободы. Как *умопостигаемый характер* человек свободен. Умопостигаемый характер «действует свободно, не обуславливаясь динамически в цепи естественных причин ни внешними, ни внутренними предшествующими во времени, основаниями»². И эта его свобода есть, по Канту, не только *отрицательная* свобода, т. е. «независимость от эмпирических условий», но также и прежде всего—«способность самостоятельно начинать ряд событий»³.

Итак, свобода существует. Ее носитель—человек, поскольку он может сам себя рассматривать как умопостигаемый характер. Существует неопровержимое и притом объективное основоположение причинности разума, которое, в отличие от причинности по закону природы, исключает из своего определения всякое чувственное условие. В этом основоположении разум «уже не ссылается на нечто другое как на основу определения»⁴. Эту основу определения он заключает в себе самом.

И это основоположение человеческой свободы «не надо искать и находить. Оно уже давно было в разуме всех людей и внедрилось в их существо. Это основоположение есть основоположение нравственности»⁵.

Более того. В понятии о свободе нам нет никакой нужды выходить из себя, чтобы к обусловленному и чувственному находить безусловное и умопостигаемое. «Это сам наш разум, который познает себя через высший и безусловный практический закон»⁶, а нашу собственную личность познает, «как относящуюся к чистому рассудочному миру»⁷.

Приведенными аргументами, по мнению Канта, вполне доказывается существование свободы. Непосредственное сознание нравственного закона, тождественное в разуме каждого, совершенно гарантирует нам возможность и действительность свободы. Человек есть существо, которое принадлежит одновременно и к чувственному миру и к миру умопостигаемому. При этом, как существо, относящееся к умопостигаемому миру, человек «не только неопределенно или проблематически мыслится, но даже—по отношению к закону его причинности,—определенно и асерторически познается»⁸. Таким образом безусловная причинность и способность к такой *причинности*, т. е. свобода, нам даны⁹.

¹ Кант, Критика чистого разума, стр. 326.

² Там же, стр. 326.

³ Там же, стр. 326.

⁴ К. н. п., Критика практического разума, стр. 110.

⁵ Там же, стр. 110.

⁶ Там же, стр. 110.

⁷ Там же, стр. 110—111.

⁸ Там же, стр. 110.

⁹ Там же, стр. 110.

Теперь мы располагаем всеми материалами, необходимыми для того, чтобы уразуметь, в чем состоит кантовское разрешение антиномии необходимости и свободы. Рассмотрим аргументы Канта, нельзя не признать, что и динамическая антиномия весьма далека от подлинного диалектического разрешения.

Правда, при поверхностном обзоре динамической антиномии может показаться, что в ней дан действительно диалектический синтез. В отличие от математической антиномии, в которой и тезис и антитезис оба ложны, а потому и вся антиномия—совершенно несостоятельна, в антиномии *динамической* и тезис и антитезис оказались оба совершенно истинными. Тем самым рассматриваемое противоречие как будто достигает высшей степени диалектического обострения. Ведь свободным, т. е. безусловно независимым от временного ряда эмпирической причинности, в этой антиномии признается тот же самый человек, который, согласно антитезису, во всех своих действиях и поступках всегда и без всяких исключений определяется законом природной необходимости. Сам Кант подчеркивает контрадикторность доказываемых им в антиномии положений. «Здесь получается,—говорит он,—надо откровенно в этом признаться, род круга, из которого, повидимому, невозможно выбраться»¹.

И все же, несмотря на весь видимый эффект противоречия, динамическая антиномия также не может быть признана подлинно диалектической. При более внимательном анализе не трудно подметить, что в ней тезис и антитезис не выражают и не могут выражать действительного противоречия. Хотя антиномия утверждает, что человек одновременно и свободен и не свободен, тем не менее настоящего противоречия тут не получается, ибо, как мы сейчас покажем, утверждения тезиса и антитезиса, относясь к одному и тому же предмету в одно и то же время, высказываются о нем однако *не в одном и том же отношении*. Тот «человек», о котором идет речь в динамической антиномии, мыслится в тезисе и антитезисе не в одном и том же содержании. Утверждение тезиса относится к человеку как к элементу чувственного мира; утверждение антитезиса имеет в виду человека как одно из существ мира умопостигаемого, сверхчувственного.

Но если так, то ясно, что никакого действительного противоречия между тезисом и антитезисом нет. Источником мнимого противоречия является в этом случае исключительно двухсмысленность термина «человек», который—без соответствующих раз'яснений—оставляет неясным, мыслится ли в нем «эмпирический» или «умопостигаемый» характер. Сам Кант не оставляет никакого сомнения в мнимом характере противоречия, мыслимого в динамической антиномии. По Канту, действительное противоречие только тогда имело бы место, если бы субъект, мнящий себя свободным, мыслил себя «в одном и том же смысле или в одном и том же отношении как тогда, когда он называет себя свободным, так и тогда, когда относительно того же самого

¹ Кант, Основоположение к метафизике нравов, стр. 82.

действия он принимает себя подчиненным закону природы»¹. Такое противоречие предполагала в понятии свободы до-кантовская философия. До-кантовская философия—так думает Кант—не знала различия между человеком как явлением, и тем же человеком как вещью в себе. Неспособная к этому различию, она вынуждена была считать понятие свободы противоречивым. Однако, по Канту, противоречие, предполагаемое догматизмом в понятии свободы,—мнимое. Источник ошибки догматиков—в следующем. «Желая сделать закон природы значимым в отношении к человеческим действиям, догматики,—говорит Кант,—необходимо должны были рассматривать человека как явление»². Однако, и при изменившихся обстоятельствах, т. е. когда от них требуется, чтобы они мыслили его в качестве интеллекта, также и вещь в себе, они вместо того, все еще смотрят на него как на явление»³. Вот эта-то неспособность к различению между человеком как явлением и человеком как вещью в себе и приводит разум к видимости противоречия. Пред разумом необходимо возникает вопрос: «каким образом в тот же самый момент времени, тот же самый поступок может называться совершенно свободным, если в то же время и в том же направлении он все-таки стоит под неизбежной физической необходимостью»⁴. До тех пор, пока не проведено различие между человеком как явлением и человеком как вещью в себе вопрос этот остается неразрешимым, а противоречие необходимости и свободы—неустранимым. «Если определения существования вещей во времени,—говорит Кант,—признают за определения вещей в себе (как это обыкновенно и бывает), то необходимость в причинном соотношении никоим образом нельзя совместить с свободой. Скорее они будут взаимно исключать друг друга»⁵. Более того. Если в поступках человека, которые относятся к его определениям во времени, видят определения его не только как явления, но также и как вещи в себе, то весь спор необходимости и свободы должен быть решен в пользу полного детерминизма. «Я не понимаю,—говорит Кант,—каким образом определения, относящиеся к существованию вещей в себе, хотят избежать здесь фатализма»⁶. По Канту, для тех, кто не признает этой идеальности пространства и времени, «остаётся только спинозизм, в котором пространство и время суть существенные определения самого первосущества, а зависящие от него вещи, следовательно, и мы сами,—не субстанции, а только присущие ему акциденции»⁷.

Но дело совершенно меняется, как только мы станем на точку зрения критицизма и вместе с ним признаем, что время как трансцендентальная форма явлений должно быть отличаемо от существо-

¹ Кант, Основоположение к метафизике нравов, стр. 90.

² Там же, стр. 94.

³ Там же, стр. 94.

⁴ Там же, стр. 100.

⁵ Там же, стр. 99.

⁶ Кант, Критика практического разума, стр. 106.

⁷ Там же, стр. 107.

вания вещей в себе. Тогда мы должны будем прийти к различению эмпирического характера человека от характера умопостигаемого. Тогда окажется, что для человека как для разумного существа «возможны две точки зрения, с которых он может рассматривать самого себя и познавать законы приложения своих сил, т. е. законы своих действий: во-первых, поскольку он принадлежит к чувственному миру, он может видеть себя подчиненным законам природы, во-вторых, как принадлежащий к умопостигаемому миру,—подчиненным законам, которые, будучи независимы от природы, обоснованы не эмпирически, но только в разуме»¹.

По Канту, человек «должен представлять и мыслить себя таким двойным образом»², и это основывается—что касается первого случая—на сознании своего я как предмета, аффицированного при посредстве чувств, во-втором же случае—на сознании своего я как интеллекта, т. е., как я, независимого в употреблении разума от чувственных впечатлений и, следовательно, принадлежащего к умопостигаемому миру»³.

Вот эта-то возможность—рассматривать человека одновременно в двух отношениях: как звено эмпирического мира и как существо мира умопостигаемого—снимает, по Канту, противоречие между необходимостью и свободой. Различение между эмпирическим и умопостигаемым характером немедленно приводит, по Канту, к убеждению, «что нет настоящего противоречия между свободой и природной необходимостью тех же самых человеческих действий»⁴.

По Канту, противоречие между необходимостью и свободой есть не реальный факт, но всего лишь заблуждение теоретической философии. На самом деле противоречия этого нет. Хотя утверждение свободы в тезисе антиномии и отрицание свободы в ее антитезисе относятся к одному и тому же предмету в одно и то же время, однако мыслят они этот предмет не в одном и том же отношении. «Мы мыслим человека в другом смысле и отношении, когда мы называем его свободным, чем в том случае, когда мы считаем его как часть природы, подчиненным ее законам»⁵. Именно потому, что здесь имеются в виду два различных смысла, «оба эти смысла не только очень хорошо могут существовать друг подле друга, но и должны быть мыслимыми необходимо об'единенными в одном и том же суб'екте»⁶. По раз'яснению Канта, человек ставит себя в другой порядок вещей и в отношении к определяющим основаниям совершенно другого рода, когда он мыслит себя интеллектом, одаренным волей, следовательно, причинностью, чем когда, воспринимая себя в качестве феномена в чувственном мире—каким он и действительно является—он подчиняет

¹ Кант, Основоположение к метафизике нравов, стр. 85.

² Там же, стр. 91.

³ Там же, стр. 91.

⁴ Там же, стр. 89.

⁵ Там же, стр. 90.

⁶ Там же, стр. 90.

свою причинность со стороны внешнего определения законам природы»¹.

Таким образом положение, что вещь в явлении, принадлежащая к чувственному миру, подлежит известным законам, от которых та же самая вещь как существо само в себе независима, не содержит по Канту «ни малейшего противоречия»². По Канту, оба повидимому противоположные друг другу способа находить безусловное для обусловленного... на самом деле не противоречат друг другу»³, и «то же самое действие, которое как относящееся к чувственному миру всегда чувственно обусловленно, т. е. механически необходимо, — в то же самое время, как относящееся к причинности существа, принадлежащего к умопостигаемому миру, может иметь в основе чувственно-безусловную причинность, следовательно может быть мыслимо, как свободное»⁴.

«На самом деле, — утверждает Кант, — никакого противоречия нет, если на события и на самый мир, в котором они происходят, смотреть — как это и должно быть — только как на явления. Тогда одно и то же действующее существо как явление имеет в чувственном мире причинность, которая всегда должна соответствовать физическому механизму»⁵. Но даже по отношению к тому же самому событию — поскольку действующее лицо рассматривается, как *ноумен*, т. е. как умопостигаемый предмет, не определяемый в своем существовании условиями времени, — «оно может заключать в себе ту основу определения причинности по физическим законам, которая сама уже свободна от всякого физического закона»⁶.

Итак, на вопрос, «существует ли противоречие между свободой и естественной необходимостью в одном и том же акте»⁷, Кант отвечает разъяснением, что «свобода может иметь отношение к совершенно иному роду условий, чем естественная необходимость, и потому закон последней не влияет на первую, следовательно, свобода и естественная необходимость могут существовать независимо друг от друга и без ущерба друг для друга»⁸.

Отсюда следует, что вся антиномия необходимости и свободы «основывается лишь на иллюзии»⁹, и что природа «по крайней мере не противоречит причинности свободы»¹⁰. «Природа и свобода, — говорит Кант, — могут без противоречия быть приписаны той же самой вещи, но в различном отношении: в одном случае как явлению, в другом — как вещи самой по себе»¹¹. Если представлять суб'ект

¹ Кант, Основоположение к метафизике нравов, стр. 91.

² Там же, стр. 91.

³ Кант, Критика практического разума, стр. 109.

⁴ Там же, стр. 109.

⁵ Там же, стр. 119.

⁶ Там же, стр. 119.

⁷ Кант, Критика чистого разума, стр. 328.

⁸ Там же, стр. 318.

⁹ Там же, стр. 328.

¹⁰ Там же, стр. 328.

¹¹ Кант, Прелегомены, стр. 135.

свободы подобно прочим предметам как простое явление, то нельзя избежать противоречия, ибо придется вместе утверждать и отрицать одно и то же об одинаковом предмете в одном и том же значении»¹. Но если относить естественную необходимость только к явлениям, а свободу только к вещам самим по себе, то «можно без всякого противоречия признать оба эти рода причинности, как бы ни было трудно или невозможно понять причинность свободную»².

Тот же способ разрешения Кант применяет и ко второй динамической антиномии — антиномии случайности и необходимости. «Из кажущейся антиномии, лежащей перед нами, — говорит Кант, — есть выход, состоящий в том, что оба противоречащие друг другу положения вместе могут быть истинными в различных отношениях, именно все вещи чувственного мира вполне случайны, следовательно имеют всегда лишь эмпирически обусловленное существование, но для всего ряда существует также не эмпирическое условие, т. е. безусловно необходимое существо»³. А так как, таким образом, сплошная случайность всех вещей природы и всех их — эмпирических — условий вполне согласима с произвольным допущением необходимого, хотя и чисто умопостигаемого условия, то, следовательно, заключает Кант — «никакого настоящего противоречия между этими утверждениями нет, и потому они оба могут быть истинными»⁴.

На этом мы можем закончить наш анализ динамической антиномии Канта. Из всего сказанного совершенно очевидно, что — вопреки заявлениям самого Канта — динамическая антиномия содержит в себе положительной диалектики ничуть не более, чем антиномия математическая. Разрешение обоих антиномий покоится у Канта на признании принципа противоречия в самом формальном, в самом безусловном его значении. Все кантовское объяснение антиномий построено с таким расчетом, чтобы — в конечном счете — доставить полное торжество закону противоречия. В первом — математическом — классе антиномий это торжество достигается объяснением, согласно которому противоречие в математической антиномии возникает лишь в силу того, что с самого начала в основу тезисов и антитезисов было положено противоречивое понятие. Таким образом противоречие здесь имеет место, но не между тезисами и антитезисами, а лишь в исходном пункте. В связи с этим разрешение математической антиномии состоит лишь в том, что удаляют противоречие из исходной точки всего исследования, отказываются от попыток соединять противоречивое определение в одном и том же понятии. Иными словами, разрешение математической антиномии у Канта состоит в том, что тщательно восстанавливают поправленные было вначале права формально логического принципа противоречия.

Во втором — динамическом — классе антиномий торжество формального закона противоречия достигается иным путем. Если в математи-

¹ Там же, стр. 133.

² Там же, стр. 133.

³ Кант, Критика чистого разума, стр. 329.

⁴ Там же, стр. 330.

ческой антиномии призрак противоречия возникает, по Канту, от того, что противоречие по ошибке было положено в основу обсуждения трактуемых в антиномии космологических вопросов, то в динамической антиномии, согласно раз'яснениям Канта, вовсе нет никакого противоречия. Иными словами, об'яснение Канта сводится к доказательству, что так называемая динамическая антиномия, по сути, вовсе даже не есть антиномия. В динамической антиномии тезис и антитезис оба об'ективно истинны, но они вместе не образуют вовсе никакого противоречия, ибо мыслимый в них предмет мыслится— в случае тезиса— в *одном* и в случае антитезиса в *другом* отношении. Подлинное же противоречие может иметь место лишь в том случае, если противоположные суждения не только относятся в одно время к одному и тому же предмету, но кроме того еще и мыслят этот предмет в одном и том же отношении.

Таким образом источником противоречия во всех антиномиях является, по Канту, не противоречивая природа самого предмета, подлежащего обсуждению, но исключительно суб'ективные ошибки нашего разума. В математической *антиномии* ошибка эта состоит в простой нечувствительности к противоречию. Здесь разум не замечает, что, предполагая мир как целое, об'ектом теоретического исследования, он соединяет несоединимые определения в одном и том же концепте. В динамической антиномии ошибка разума, напротив, состоит в чрезмерной чувствительности к противоречию, в усмотрении противоречия там, где его нет и быть не может. И в том и в другом случае источник ошибки разума— в смешении мира явлений с миром вещей в себе. В *математической* антиномии смешение это принуждало разум к попыткам соединить несоединимое, т. е. мыслить противоречивое понятие. В динамической антиномии смешение это пугало призраком несуществующего, мнимого противоречия.

Но и в том и в другом случае формально-логический запрет противоречия оказался верховным принципом и масштабом для разрешения антиномий. Именно он раскрывает разуму глаза, показывая недопустимость противоречия в математической антиномии. И он же понуждает разум искать источник ошибки в антиномии динамической.

Итак, анализ антиномий закончился у Канта полной реставрацией формальной логики. Задуманная как демонстрация об'ективной силы и об'ективного значения противоречий разума трансцендентальная диалектика привела Канта к апофеозу формального закона противоречия— в самой уродливой, в самой узкой его форме.

В свое время Гейне остроумно высмеял результаты кантовской критики. Дуализм знания и веры, эмпиризма и трансцендентизма, свойственный Канту, Гейне изобразил в смехотворном деянии Канта, возвращающего людям, по просьбе его старого слуги Лампе, все, что он сам отнял у них в своей критике. Образ Гейне с полным правом может быть применен к характеристике *кантовской диалектики*. Раскрыв— в экспозиции антиномий— противоречивую природу разума, Кант— в своем разрешении антиномий— все усиленно прилагает к тому,

чтобы открытая им диалектика не была сочтена за выражение противоречий, *об'ективно* присущих бытию и познанию.

Однако было бы явной ошибкой думать, будто энергия, с какой Кант упорно отрицает возможность об'ективного существования противоречия, имеет источником одни лишь *абстрактно-теоретические* воззрения Канта. Нельзя слишком «логизировать» гносеологию Канта. Нельзя видеть в ней выражение только лишь *теоретических* понятий, независимых от тех— *практических*— вопросов и интересов, которые побуждали Канта к его— весьма абстрактным по форме— исследованиям, предрешая их конечный результат. Необходимо выяснить *практические* задачи, которыми руководствовался Кант в своих логических теориях и воззрениях.

Не может быть ни малейшего сомнения в том, что последнее основание кантовского учения об антиномиях лежит далеко за пределами «чистой» логики. И если данный выше анализ *математической* антиномии Канта показал, что— в разрезе гносеологии— Кант устранял противоречие посредством различения мира вещей в себе и мира явлений, то анализ антиномии *динамической* позволяет нам пойти дальше и об'яснить *практическую* функцию, *практическое* назначение, *практический* смысл самого дуализма кантовской гносеологии.

И вот, оказывается, Кант не мог признать об'ективной действительности противоречия не потому только, что формально-логические предрассудки мышления препятствовали этому признанию. Скорее напротив: формально-логическое воззрение потому и получило такую власть над мышлением Канта, что оно более всего соответствовало *практическим* тенденциям, *практической* установке философии Канта. А эта установка была направлена как раз на устранение капитального противоречия, еще с начала Возрождения, смущавшего умы, противоречия знания и веры, науки и религии, научной философии и философии— прислужницы богословия.

Разрешение динамической антиномии, данное Кантом, великолепно раскрывает основной практический интерес философии Канта. В этом «разрешении» знаменательно не только его логическая форма. Знаменательно не только то, что и тезисы и антитезисы антиномий Кант— с известной точки зрения— признает равно истинными. Знаменательно то, что тезисы и антитезисы— в глазах самого Канта— представляют противоположные интересы *веры* и *науки*, и что противоположность эту Кант— во что бы то ни стало— хочет привести к гармонии, т. е. устранить противоречие.

«Я в своем учении,— раз'яснял Кант,— не требую для морали ничего, кроме того, чтобы свобода не противоречила самой себе и, следовательно, чтобы можно было по крайней мере мыслить ее... иными словами, я нуждаюсь лишь в том, чтобы свобода не препятствовала естественному механизму того же самого акта (взятого в ином отношении): при этом условии учение о нравственности и учение о природе не мешают друг другу»¹...

¹ Кант, Критика чистого разума, стр. 17—18.

Те же соображения Кант применяет и к вопросам о бытии бога и о простой природе души. «Критическое» исследование этих вопросов устраняет, по Канту, противоречие науки и веры. «Поэтому я должен был,—разъясняет Кант,—ограничить область знания, чтобы дать место вере»¹.

Итак, спор науки и веры разрешается у Канта в пользу веры. В вере, основанной на независимом нравственном законе—последняя инстанция Кантовской философии. Над теоретическим разумом у Канта возвышается разум практический, над наукою—вера, над знанием—религия. Вера не только не зависит от знания, она—выше знания, так как то, что для *теоретического* познания было только проблемой, открытым вопросом, она превращает—в убеждении *практического* разума—в твердую и непререкаемую достоверность.

Таким образом, дуализм явлений и вещей в себе не есть у Канта последняя и самодовлеющая истина. Назначение этого дуализма—подчиненное и служит Канту для обоснования более глубокого дуализма—науки и религии, знания и веры. Сам Кант не скрывал, что руководящим началом его философии был не гносеологический дуализм вещей в себе и явлений, но религиозно-метафизический—природы и бога. По собственному признанию Канта, гносеологический дуализм его системы—вполне телеологичен и подчиняется задачам обоснования свободы и веры в существование бога. «В самом деле,—говорит Кант—если явления суть вещи в себе, то свободу нельзя спасти»². «Если бы мы упорно настаивали на реальности явлений,—то этим неизбежно уничтожалась бы всякая свобода»³. Ибо в таком случае природа «оставляет полную и достаточную определяющую причину всякого события, условие события всегда содержится только в ряду явлений и вместе с своим действием необходимо подчинено закону природы»⁴. Наоборот: если мы считаем явления «лишь тем, что они суть на самом деле, именно не вещами в себе, а только представлениями, связанными друг с другом согласно эмпирическим законам, то они сами должны иметь еще основание, не относящееся к числу явлений. Причинность такой умопостигаемой причины не определяется явлениями, хотя действия ее находятся в сфере явлений и могут быть определяемы другими явлениями»⁵.

Именно этот трансцендентный, религиозно-метафизический дуализм и был причиной того, что решение вопроса о необходимости и свободе оказалось у Канта—в последнем счете—антидиалектичным. Разделив мир свободы и мир необходимости, поместив свободу в умопостигаемый мир вещей в себе, а необходимость в царство природной необходимости, Кант оказался неспособным дать имманентную диалектику необходимости и свободы в пределах эмпирической природы человека. В сравнении с учением Спинозы кантовское учение о свободе—язвный

¹ Кант, Критика чистого разума, стр. 18.

² Там же, стр. 319.

³ Там же, стр. 319.

⁴ Там же, стр. 319.

⁵ Там же, стр. 319.

шаг назад. В то время как у Спинозы необходимость и свобода образуют подлинное диалектическое единство, осуществляемое в эмпирическом мире имманентными силами эмпирического человека, у Канта, напротив, свобода реализуется не в эмпирическом мире, который целиком подчинен одной лишь необходимости, но в трансцендентном мире умопостигаемых сущностей. Иными словами, у Канта нет никакого диалектического единства и никакой реальной диалектики.

Уразумение практических основ кантовской философии объясняет нам и другие особенности диалектики Канта. Так уже Гегелем был отмечен недостаток кантовской диалектики, состоящий в том, что у Канта число антиномий ограничено всего лишь четырьмя парами космологических тезисов и антитезисов. Однако, будучи совершенно правильной—в разрезе логико-диалектическом,—критика Гегеля не объясняет нам *причины* столь узкого об'ема диалектики Канта. Почему Кант нашел в составе теоретического разума *только четыре* космологических антиномии. Почему вся остальная область диалектической антитетики разума оказалась недоступною Канту?

На все эти вопросы не может дать никакого ответа одна лишь *теоретическая* критика философии Канта, хотя бы она, как критика Гегеля, исходила из правильных и подлинно-диалектических, не только формальных воззрений. Правильный ответ на этот вопрос может дать только анализ *практических* истоков и тенденций философствования Канта.

Анализ этот с полной ясностью вскрывает причины диалектической ограниченности Канта. Именно потому, что основной и центральной проблемой философии Канта было примирение или согласование науки и религии, природы и бога, внимание Канта приковывало лишь проблемы, в которых противоположность науки и веры выступали с особенной силой. Такими проблемами и были проблемы, на которые отвечают космологические антиномии Канта. При этом знаменательно, что противоречия, мыслимые в космологических антиномиях, Кант представлял не столько под углом зрения *науки*, сколько под углом зрения *веры*. Ведь с точки зрения строго научного мировоззрения, каким например было мировоззрение Спинозы, вся диалектика необходимости и свободы развертывалась внутри одной и той же—эмпирической—области поведения человека, не нуждаясь для своего осуществления ни в каком трансцендентном добавлении. Напротив, именно с традиционной метафизически-теологической точки зрения свобода несовместима с необходимостью в пределах эмпирического мира, и для того чтобы мыслить возможность свободы, необходимо, на ряду с миром эмпирическим, мыслить еще мир трансцендентных, потусторонних сущностей. Необходимость рассматривать поведение человека в двойственном разрезе—эмпирической необходимости и метаэмпирической, сверхчувственной свободы—порождает видимость противоречия и заставляет искать примирения противоречия в мировоззрении метафизического дуализма.

Таким образом, узость об'ема кантовской диалектики, ничтожный размер области разума, пораженной диалектическими противоре-

чиями, целиком обусловлены направлением *практических* интересов Канта. И конечно наивной уступкой идеализму звучало бы утверждение, будто антиномии Канта были открыты в результате лишь отвлеченного теоретического интереса к противоречиям разума как таким. Кант пришел к своему учению об антиномиях под давлением иных—практических—интересов, которые потребовали от него в первую очередь осознания и разрешения тех противоречий, которые, с точки зрения традиционного религиозно-метафизического мировоззрения, заключались в понятии свободы и в понятии целесообразности. В свете наших об'яснений столь удивлявшая Гегеля и возбуждавшая в нем справедливый протест узость диалектической концепции Канта, приписывающей антиномичность одним лишь космологическим понятиям, есть только выражение характерной для Канта сосредоточенности на практической проблеме свободы.

Отсюда совершенно понятно, почему Кант не заметил антиномичности, присущей всем вообще положениям и утверждениям мысли. Он вовсе не был заинтересован в их отыскании. Его ум занимала другая задача—устранить противоречие там, где оно грозило разрушить согласие науки и веры.

Однако, движимая указанными практическими побуждениями, мысль Канта при своем оформлении должна была получить опору в известных логических принципах и воззрениях. Она должна была принять форму абстрактного и принципиального логического воззрения. Наиболее удобной логической формой для реализации замыслов Канта оказалась метафизическая логика, усвоенная им в традиции Вольфовской школы. Масштабу этой логики Кант и подчинил все свое «диалектическое» учение.

В. Асмус

ПРИНЦИПЫ МЕХАНИЧЕСКОГО МИРОПОНИМАНИЯ ЛЮДВИГА БОЛЬЦМАННА¹

1. Теория познания Больцманна. 2. Больцманновское обоснование и определение механического миропонимания. 3. Больцманновская трактовка понятий пространства, времени, движения и инерции. 4. Понятие материальной точки массы и силы. 5. Принцип сохранения энергии и принцип действия (Wirkungsprinzip) как наиболее общие принципы естествознания. 6. Механические аналогии физических, в частности, тепловых процессов.

1. Теория познания Больцманна

Больцманн сам определил свое миропонимание как миропонимание «механическое». «Если вы меня спросите,—говорит он,—относительно моего *глубочайшего* убеждения, назовут ли нынешний век железным веком или веком пара и электричества, я отвечу, не задумываясь, что наш век будет называться *веком механического миропонимания, веком Дарвина*»².

В приведенном тезисе заключена целая философия: Больцманн не просто говорит о «веке механического миропонимания», но отождествляет его с «веком Дарвина». Больцманн усматривал определенную связь между учением Дарвина и тем, что он называл «механическим миропониманием». Эта связь выражена им в ряде теоретико-познавательных и методологических, короче, философских положений.

Шиллер когда-то обращался к натуралистам и философам своего времени с призывом: «да будет между вами вражда, еще рано заключать вам союз». Больцманн в докладе, прочитанном на научном конгрессе в С.-Луи (1904 г.)³, развивает ту мысль, что настало время для заключения союза между естествознанием и философией. Как великий ученый и созидатель науки Больцманн прекрасно видел, что всякая наука в своей глубочайшей основе, в своем фундаменте соприкасается с философией. Рядовые научные умы обычно этого не замечают, они оперируют привычными понятиями, несколько не задумываясь над происхождением и природой этих понятий, они переваривают, так сказать, научную пищу, не зная теории пищева-

¹ Редакция не согласна с некоторыми формулировками автора.

² *Больцманн Л.*, Второй закон механической теории тепла, доклад 1886 г. сб. «Философия науки», ч. 1, ГИЗ, 1923.

³ *Его же*, О статистической механике, сб. «Философия науки», ч. 1.

рения. И часто при попытке осознать философские основы науки ученые обнаруживают весьма вульгарную философию, которая фактически противоречит их научной работе. Их дела, как говорит Гегель, часто лучше их мыслей и намерений. Это потому, что человек с нормальным желудком и мозгом может прекрасно переваривать пищу и правильно мыслить, не зная ни физиологии, ни логики и философии. Но если заболевает желудок, то для восстановления его нормального функционирования необходима теория пищеварения. Неправильно функционирующее мышление требует вмешательства теории мышления—логики и философии. Такое вмешательство всегда происходит в эпоху кризисов. Когда стихийный материализм древних греков зашел в тупик и породил софистику, на сцену выступила идеалистическая философия Сократа—Платона и синтезирующая идеализм и материализм система Аристотеля. Противоречие между схоластикой и научными потребностями нового времени, обусловленными развитием производительных сил, породило философию Бэкона и Декарта. Современный научный кризис гальванизировал, с одной стороны, труп юмизма в форме философии Маха—Авенариуса и других родственных им по существу идеалистических учений, а с другой,— вызвал расцвет философии марксизма—диалектического материализма. Кульминационный пункт научной деятельности Больцманна совпал с моментом наивысшего господства философии чистого опыта, когда она, опираясь на ложно интерпретируемый научный авторитет Кирхгофа, и при поддержке реакционных идеологических сил капиталистического общества завладела умами относительно большого количества естествоиспытателей.

Больцманн совершенно отчетливо видел за внешне блестящей и убедительной формой внутреннюю лживость и антинаучность философии чистого опыта. Как активный работник науки Больцманн на каждом шагу убеждался, что научная действительность и научный метод противоречат постулатам махизма. Больцманн вступил в борьбу с идеалистическим позитивизмом, но никем почти не поддержанный впал в меланхолию и в 1906 г. покончил счеты с жизнью. Выстрел Больцманна был однако также выстрелом в сердце философии чистого опыта.

«Замечательно,—пишет акад. А. Иоффе¹,—что в это же время появилась работа Эйнштейна о броуновском движении и теория лучистой энергии Планка, которые были началом направления, приведшего к окончательной победе кинетической теории и, в частности, взглядов Больцманна».

Эти взгляды Больцманна базируются на определенной *материалистической* теории познания.

По правильному замечанию В. И. Ленина² Больцманн боится назвать себя материалистом и даже специально оговаривается, что он вовсе не против бытия божия. Но его теория по существу дела

¹ Сов. Энцикл., т. VII.

² Ленин В., Материализм и Эмпириокритицизм, изд. 1920 г., стр. 242.

материалистическая, и выражает она, как признает историк естественных наук в XIX в. С. Гюнтер, мнение большинства естествоиспытателей. Материалистический характер теории познания Больцманна обусловлен его общим взглядом на значение философии. Больцманн полагал, что подобно тому как всякая научная теория строится на основе об'ективного научного материала, истинная т. е. научная философия должна быть построена на основе совокупности научных теорий. Только такая философия может иметь значение для науки. Больцманн, подобно Марксу и Энгельсу, отвергал всякую философию, стоящую над науками.

Естественно, что такого рода взгляд немедленно привел Больцманна к уразумению фундаментального значения *теории Дарвина* для построения научной *теории познания*. Больцманн потому именно связывает свое «механическое миропонимание» с учением Дарвина, что из учения Дарвина вытекает определенная теория мышления, которая, по мнению Больцманна, *при современном ему состоянии науки* приводит к «механическому миропониманию». Больцманн иронически относится к тем философам, которые, подобно Канту, мнят извлечь правильную теорию познания из недр чистого разума. «Я вполне согласен с Клейном в отрицательном отношении к учению Канта»—говорит Больцманн¹.

Больцманн остроумно высмеивает противоречия «чистого разума»². Для такой философии самые обыденные вещи являются источником неразрешимейших загадок. Для об'яснения наших восприятий она строит понятие материи, а затем находит ее совершенно непригодной для получения восприятий или для возбуждения восприятий. С бесконечным остроумием она строит понятия пространства и времени, а затем находит абсолютно невозможным, чтобы в этом пространстве помещались вещи и в этом времени происходили явления. Она встречает непреодолимые затруднения в отношении между причиной и действием, между телом и душой, в возможности сознания—одним словом во всем и всюду. Наконец, она считает совершенно необ'яснимым и видит противоречие даже в том факте, что что-либо существует, что что-либо возникло или может изменяться.

Источником такого сорта логики является, по мнению Больцманна, *чрезмерное доверие к так называемым законам мышления*, т. е. к тому, что обычно называют *логикой формальной*.

Больцманн не отвергает всецело формальной логики, но на основании учения Дарвина дает критическое ограничение ее силы и значения.

«Несомненно, что мы бы не могли чего-либо воспринять, если бы нам не были прирождены некоторые формы связывания восприятий, т. е. формы мышления. Если мы захотим назвать их законами мышления, то они в такой же мере априорны, в какой они имеются в нашей душе или, лучше, в нашем мозгу раньше какого-либо восприятия».

¹ Сб. «Новые идеи в математике», № 8, стр. 124.

² Больцманн Л., О статистической механике, доклад.

Но ничто не кажется Больцманну столь мало обоснованным, как заключение из априорности в указанном смысле об абсолютной достоверности и непогрешимости законов мышления.

«Эти законы мышления,—говорит Больцманн,—образовались вследствие того же закона эволюции, как оптический аппарат глаза или акустический аппарат уха или нагнетательный аппарат сердца.»

Наша прирожденные законы мышления являются условием нашего сложного опыта, но они не были таковыми у более простых существ. У них они возникали постепенно и развивались медленно вследствие их несложного опыта и от них уже по наследству передалась более высокоорганизованным существам. Этим объясняется, что в них (законах мышления) встречаются синтетические суждения, которые выработаны нашими предками, для нас же они прирождены и, следовательно, априорны.

В процессе развития человечества все нецелесообразное было отброшено, и таким путем образовалась та простота и законченность, которые так легко смешать с непогрешимостью».

И подобно тому, как мы не приписываем нашим органам чувств абсолютного совершенства, мы не должны приписывать абсолютное совершенство и непогрешимость формальной логике. Эта логика образовалась в узкой сфере первоначальной практики и оказывается непригодной в применении к абстрактным проблемам, далеко лежащим от этой сферы. Разумей под противоречием *contradictio in adjecto* (невозможное противоречие), Больцманн указывает, что в самых данных опыта не может быть противоречий; и если мышление находит их, то это означает лишь нецелесообразное воспроизведение нашим мышлением данного нам в опыте. Поэтому, как только мы оказываемся как будто в состоянии устранить противоречия, мы должны сейчас же проверить, расширить, изменить то, что мы называем законами мышления. *Нашей задачей является не судить данные опыта с помощью законов мышления, а, наоборот, приспособить наш образ мыслей, представления и понятия к данным опыта.* Мы не должны выводить явлений природы из наших понятий, а, наоборот, должны последние приспособить к явлениям природы.

Этим путем будут устранены кажущиеся противоречия между законами мышления и миром, а также между законами мышления друг с другом.

Больцманн приводит ряд примеров, характеризующих ошибки привычного мышления. Закономерность в явлениях природы является основным условием их понимания, поэтому привычка при всяком случае искать причины стала непреодолимой потребностью, и мы доискиваемся причины, почему все имеет причину. Точно так же понятие цели, вполне законное в известной сфере, прилагается там, где оно не имеет никакого смысла, например, в вопросах о цели жизни и мирового процесса.

Больцманн решительно отвергает мнимые загадки мироздания, созданные рутиной мысли. «Моя настоящая точка зрения,—подчеркивает он,—совершенно противоположна той, которая ставит известные

вопросы вне пределов человеческого познания». Больцманн через критику формальной логики приходит не к отрицанию познавательной силы человеческого мышления, а к утверждению этой силы, к утверждению мощи и способности мышления познавать мир, познавать абсолютную истину. Мозг—естественный орган познания, который, подобно органам чувств, не является совершенным, но в общем и целом хорошо выполняет свою познавательную функцию. Никого не должны смущать заблуждения мышления, ибо историческое развитие знания постепенно и в конце концов раз'ясняет то, что долго считалось необ'яснимым и непостижимым. В настоящее время, например, каждый образованный человек понимает учение об антиподах и многие понимают неевклидову геометрию. Разумеется, приведенные примеры не являются для Больцманна аргументами по существу, не служат критериями истинности или ложности тех или иных воззрений,—их смысл в том, что они хорошо иллюстрируют значение *метода гипотез*. Совершенство общих взглядов Больцманна неизбежно приводит к решительной защите этого метода. Даже гипотезы, дающие место фантазии и более смело выходящие за рамки имеющегося материала, будут всегда, по мнению Больцманна, побуждать к новым исследованиям и приводить к совершенно новым открытиям. Больцманна совершенно не смущает избитый аргумент об изменчивости гипотез. В этом отношении он хорошо уясняет себе диалектическое соотношение относительного и абсолютного. Созданные какой-либо гипотезой сложные теоретические построения могут рушиться, могут создаваться взамен новые, дающие лучшие результаты, но старая гипотеза еще будет находить себе место в рамках новой в качестве картины ограниченной области явлений, в качестве относительной истины, которая, выражаясь термином Гегеля, *снята*, т. е. одновременно и превзойдена и сохранена в истине более богатой, более многосторонней. Больцманна не пугают свирепые выкрики и декламации эмпириокритических филистеров по поводу «метафизики» и нарушения священных границ чистого опыта. Картина, рисуемая статистической механикой,—говорит Больцманн,—*«смело выходит за рамки опыта*, и тем не менее она заслуживает обсуждения с этой кафедры: так далеко идет мое доверие к гипотезам, когда они представляют в новом свете известные особенности наблюдаемых явлений и дают столь наглядную картину взаимоотношений между ними, какая недостижима другими средствами»¹.

Не следует однако забывать, прибавляет Больцманн, что гипотезы не только способны к развитию, но и нуждаются в нем. Охарактеризованные принципы Больцманновской логики являются несомненно принципами логики диалектико-материалистической.

Мы далеки, однако, от утверждения, что Больцманн был сознательным диалектиком и последовательным материалистом. Исследование сочинений Больцманна показывает, что он, предостерегая от излишнего доверия к законам формального мышления, сам не

¹ Больцманн Л., О Статистической механике, сб. «Философия науки», ч. 1, стр. 175.

раз обнаруживает совершенно бессознательно это доверие и впадает поэтому в простой эмпиризм. Только сознательная диалектика и материализм могут предохранить мыслителя от подобного рода шатаний, от поверхностного эмпиризма в трактовке философских проблем, от идеалистических уклонов. У Больцманна мы не находим последовательности сознательного диалектика и материалиста, он часто недооценивает собственных теоретико-познавательных положений и на деле им противоречит. Сверх того, Больцманн очевидно не имел должного понятия ни о Гегеле, ни, разумеется, о Марксе и Энгельсе, т. е. о сознательной формулировке законов диалектического мышления. Лишь стихийная диалектика и материализм крупного естествоиспытателя привели Больцманна к формулировке некоторых правильных диалектико-материалистических принципов познания. Об этом не следует забывать при оценке Больцманновского механического миропонимания.

2. Больцманновское обоснование и определение механического миропонимания

Значение теории Дарвина для теории мышления в том, что дарвинизм через критику чувственной достоверности и формального мышления приводит к утверждению мощи человеческого интеллекта в адекватном познании действительности. Уверенное в себе человеческое мышление смело выходит за пределы *чистого опыта*, т. е. непосредственных чувственных впечатлений. Философия чистого опыта требует, чтобы мышление оставалось в пределах наших «ощущений», философия Больцманна рассматривает в качестве необходимого условия истинного познания выход за эти пределы.

«Мы заключаем относительно существования всех вещей только из впечатлений, которые они производят на наши органы чувств,—говорит Больцманн,—*потому* самый красивый триумф науки бывает в том случае, когда нам *удается заключить* о существовании большой группы вещей, почти (!) неоощуемых нами».

Понятие опыта фактически трактуется Больцманном не в идеалистическом и феноменологическом смысле, а в смысле материалистическом. Больцманн различает, с одной стороны, *данные опыта*, а с другой,—те умственные построения, которые возводит наше мышление на основании этих данных. Все это в совокупности образует понятие *научного опыта*, выражающего как деятельность органов чувств, так и деятельность мышления.

Больцманн подчеркивает, что он, с одной стороны, исходит только из данных опыта, а с другой при образовании понятий и при установлении связи между представлениями обращает внимание не на что другое, кроме достижения возможного адекватного соответствия тому, что дано нам на опыте.

Такого рода метод немедленно, по мнению Больцманна, приводит к атомистической гипотезе строения материи.

В самом деле, самые разнообразные факты физики тепла, химии, кристаллографии *указывают*, что пространство, заполненное непре-

рывными телами, отнюдь не однородно и непрерывно заполнено материей, но что в нем находится чрезвычайно большое количество отдельных физических индивидуумов—молекул и атомов,—которые, хотя и очень малы, но не бесконечно малы в математическом смысле слова. Мы можем вычислить их величину с помощью различных, совершенно несвязанных между собою методов и всегда получаем одинаковый результат. Плодотворность атомистической теории была блестяще доказана в новейшее время. Все явления, наблюдаемые в опытах с катодными, беккерелевыми лучами и т. д., указывают на то, что мы здесь имеем дело с малыми частицами, выбрасываемыми телами,—с электронами. После ожесточенной полемики это воззрение совершенно победило вначале враждебную ей волнообразную теорию этих явлений. Первая из вышеназванных теорий не только гораздо лучше годилась для объяснения известных до сих пор фактов, она побуждала своих последователей к новым экспериментам и дала возможность предсказывать новые, до сих пор неизвестные явления. Таким образом наша теория развилась в атомистическую теорию электричества.

Больцманн делает в 1904 году следующее предсказание, которое, как мы ныне знаем, блестяще оправдалось: если эта наука будет развиваться дальше с таким же успехом, как и в последние годы, если явление превращения эманации радия в гелий, наблюдавшееся Рамзаем, не останется отдельным фактом, то эта теория обещает нас привести к совершенно неожиданным заключениям о природе и строении атома. А именно, вычисление показывает, что электроны гораздо меньше, чем атомы весомой материи, и гипотеза, что атомы суть разнообразные комбинации электронов, а также различные интересные воззрения на способ этого построения сегодня у всех на устах. Слово «атом» не должно нас смущать,—замечает Больцманн,—оно нам знакомо с давних времен, а в неделимость атома не верит в настоящее время ни один физик. И если то, что в химии называется атомами, мы будем себе представлять состоящими из электронов, то что же нам тогда помешает представлять себе электроны протяженными телами, непрерывно заполненными материей. Было бы однако крупнейшей ошибкой полагать, что *атомизм* их составляет сущность механического миропонимания Больцманна. *Больцманн понимает под механическим миропониманием нечто вполне строго определенное.* Обсуждая вопрос о возможности немеханической картины мира, Больцманн выражается следующим образом¹:

«Не от энергетики, не от феноменологии пришел луч надежды немеханического объяснения природы, но от атомной теории, которая настолько же превосходит в фантастических гипотезах старый атомизм, насколько ее элементарные образы (Elementargebilde) превосходят в малости старые атомы. Нечего говорить, что я имею в виду современную электронную теорию».

¹ Больцманн Л., Принципы механики, ч. II; изд. 1904 г., стр. 138.

Больцманн подчеркивает, что об'яснение всей механики из основ электромагнетизма было бы таким же большим преимуществом, как и об'яснение электромагнетизма из основ механики. Он выражает пожелание, чтобы первое вполне удалось, но ставит условием выполнение вполне определенных требований, которым должна удовлетворять всякая научная теория. Пока эти требования не выполнены, до тех пор Больцманн предпочитает держаться старой механической концепции. Требования Больцманна сформулированы им подробно в «Принципах механики».

Больцманн прежде всего определяет механику как *фундамент общего естествознания*, мотивируя это определение тем, что перемена места *наипростейшее явление*. Отсюда видно, что Больцманн признает метод восхождения от простейшего к сложному. Имея в виду известную иероглифическую теорию Гельмгольца, Больцманн подчеркивает, что наши мысли являются лишь *образами* (лучше знаками) об'ектов, эти образы или знаки в лучшем случае родственны об'ектам, но никогда не покрываются ими, а так же относятся к ним, как буквы к звукам или ноты к тонам. Благодаря несовершенству нашего интеллекта, образы или знаки могут отражать (*wiederzuspiegeln*) лишь малую часть об'ектов.

Здесь перед нами вполне определенно выявляются колебание и неуверенность стихийного материалиста. Больцманн явно отступает от собственной теории мышления, квалифицируя образы об'ектов как знаки или символы, т. е. как нечто будто бы совершенно условное и произвольное. Если бы Больцманн твердо стоял на почве учения Дарвина и вытекающей из этого учения материалистической теории познания, он признал бы абсурдным утверждение о иероглифическом или символическом характере мышления. Как обстоятельно выяснил В. И. Ленин, теория иероглифов есть половинчатый материализм—«иероглифический материализм». Последовательная материалистическая теория познания в полном согласии с убеждением подавляющего большинства человечества и в согласии со смыслом учения Дарвина утверждает, что наше мышление «зеркально отображает», «копирует», «фотографирует» об'ективную действительность. Как это «зеркальное отображение», «копирование», «фотографирование» происходит, еще щедриком и полностью не выяснено наукой и философией, но невежество не является ведь аргументом. Наше недостаточное знание конкретного процесса отображения не является доказательством отсутствия такого процесса в действительности; наоборот, опыт бесчисленных поколений живых существ, факт, установленный теорией эволюции—выделение в течение неизмеримого времени мозгового аппарата из недр материи путем приспособления к этой материи—прямо доказывает, что мозг это естественный орган познания, в той или иной мере адекватно отображающий действительность.

И хотя Больцманн, напуганный авторитетами, пытается словесно отступить от этой точки зрения, он фактически на ней стоит и инстинктивно принимает свои мысленные конструкции за известное адекватное отображение исследуемых об'ектов.

Больцманн отмечает поэтому утверждение, будто бы возможна наука без гипотез. Он справедливо указывает, что пресловутое учение о замене «гипотетических» атомов и эфира системами дифференциальных уравнений или энергетикой или иными «принципами» содержит в себе не менее, если не более гипотетического, чем атомизм или теория эфира.

«Я являюсь последним,—говорит Больцманн,—который думает отрицать возможность построения иной, нежели атомистическая, картины природы. Именно для того, чтобы получить какой-либо масштаб для оценки подобного рода иной картины природы, я хочу в этой книге насколько возможно яснее и последовательнее развить старые образы механики. И пусть попробуют построить на энергетической или феноменологической основе другую, свободную от гипотез картину мира, но только не путем нескольких неопределенных намеков, а от начала до конца с той же ясностью и последовательностью, с какой в дальнейшем устанавливается механическая картина. *Nic Rhodus, hic salta!*».

«Постольку однако поскольку этого сделать еще не удалось, я признаю возможным, но не достоверным, чтобы другая картина мира вытеснила механическую»¹.

Сущность этой механической картины Больцманн определяет следующим образом:

«Мы выбираем для об'яснения явлений природы совокупность очень большого числа очень малых частиц, непрерывно движущихся и *подчиняющихся законам механики* изначальных индивидуумов»².

Таким образом по определению Больцманна механическое миропонимание заключается не столько в предположении атомного строения материи, сколько в том, что за основу берутся элементы (атомы, молекулы—или вообще «материальные точки»), подчиняющиеся *законам механики*.

Под законами механики Больцманн понимает не законы механики в философском смысле, включающие в себя еще непознанные законы движения, но законы механики *классической* и специально в той именно форме, в какой они были установлены Ньютоном. Задача Больцманновских «Принципов механики» сформулировать эти законы в наиболее ясной, простой и логически последовательной форме.

Подчеркиваем еще раз, что Больцманн нисколько не отрицает возможности построения иной картины природы, нежели та, которую он дает на основе законов классической механики. Он только утверждает, что эта иная «немеханическая» (в смысле Больцманна) картина еще никем не дана, а потому он имеет право держаться старой «механической» (опять-таки в строго определенном смысле) концепции.

Из вышеизложенных общих теоретико-познавательных взглядов Больцманна необходимо следует такого рода точка зрения. Больцманн ведь полагал, что всякая истина содержит в себе заблуждение,

¹ Больцманн Л., Принципы механики, ч. 1, стр. 4.

² Его же, О статистической механике.

Больцманн подчеркивает, что об'яснение всей механики из основ электромагнетизма было бы таким же большим преимуществом, как и об'яснение электромагнетизма из основ механики. Он выражает пожелание, чтобы первое вполне удалось, но ставит условием выполнение вполне определенных требований, которым должна удовлетворять всякая научная теория. Пока эти требования не выполнены, до тех пор Больцманн предпочитает держаться старой механической концепции. Требования Больцманна сформулированы им подробно в «Принципах механики».

Больцманн прежде всего определяет механику как *фундамент общего естествознания*, мотивируя это определение тем, что перемена места *наипростейшее явление*. Отсюда видно, что Больцманн признает метод восхождения от простейшего к сложному. Имея в виду известную иероглифическую теорию Гельмгольца, Больцманн подчеркивает, что наши мысли являются лишь *образами* (лучше знаками) об'ектов, эти образы или знаки в лучшем случае родственны об'ектам, но никогда не покрываются ими, а так же относятся к ним, как буквы к звукам или ноты к тонам. Благодаря несовершенству нашего интеллекта, образы или знаки могут отражать (*wiederzuspiegeln*) лишь малую часть об'ектов.

Здесь перед нами вполне определенно выявляются колебание и неуверенность стихийного материалиста. Больцманн явно отступает от собственной теории мышления, квалифицируя образы об'ектов как знаки или символы, т. е. как нечто будто бы совершенно условное и произвольное. Если бы Больцманн твердо стоял на почве учения Дарвина и вытекающей из этого учения материалистической теории познания, он признал бы абсурдным утверждение о иероглифическом или символическом характере мышления. Как обстоятельно выяснил В. И. Ленин, теория иероглифов есть половинчатый материализм—«иероглифический материализм». Последовательная материалистическая теория познания в полном согласии с убеждением подавляющего большинства человечества и в согласии со смыслом учения Дарвина утверждает, что наше мышление «зеркально отображает», «копирует», «фотографирует» об'ективную действительность. Как это «зеркальное отображение», «копирование», «фотографирование» происходит, еще щедриком и полностью не выяснено наукой и философией, но невежество не является ведь аргументом. Наше недостаточное знание конкретного процесса отображения не является доказательством отсутствия такого процесса в действительности; наоборот, опыт бесчисленных поколений живых существ, факт, установленный теорией эволюции—выделение в течение неизмеримого времени мозгового аппарата из недр материи путем приспособления к этой материи—прямо доказывает, что мозг это естественный орган познания, в той или иной мере адекватно отображающий действительность.

И хотя Больцманн, напуганный авторитетами, пытается словесно отступить от этой точки зрения, он фактически на ней стоит и инстинктивно принимает свои мысленные конструкции за известное адекватное отображение исследуемых об'ектов.

Больцманн отмечает поэтому утверждение, будто бы возможна наука без гипотез. Он справедливо указывает, что пресловутое учение о замене «гипотетических» атомов и эфира системами дифференциальных уравнений или энергетикой или иными «принципами» содержит в себе не менее, если не более гипотетического, чем атомизм или теория эфира.

«Я являюсь последним,—говорит Больцманн,—который думает отрицать возможность построения иной, нежели атомистическая, картины природы. Именно для того, чтобы получить какой-либо масштаб для оценки подобного рода иной картины природы, я хочу в этой книге насколько возможно яснее и последовательнее развить старые образы механики. И пусть попробуют построить на энергетической или феноменологической основе другую, свободную от гипотез картину мира, но только не путем нескольких неопределенных намеков, а от начала до конца с той же ясностью и последовательностью, с какой в дальнейшем устанавливается механическая картина. *Hic Rhodus, hic salta!*».

«Постольку однако поскольку этого сделать еще не удалось, я признаю возможным, но не достоверным, чтобы другая картина мира вытеснила механическую»¹.

Сущность этой механической картины Больцманн определяет следующим образом:

«Мы выбираем для об'яснения явлений природы совокупность очень большого числа очень малых частиц, непрерывно движущихся и *подчиняющихся законам механики* изначальных индивидуумов»².

Таким образом по определению Больцманна механическое миропонимание заключается не столько в предположении атомного строения материи, сколько в том, что за основу берутся элементы (атомы, молекулы—или вообще «материальные точки»), подчиняющиеся *законам механики*.

Под законами механики Больцманн понимает не законы механики в философском смысле, включающие в себя еще непознанные законы движения, но законы механики *классической* и специально в той именно форме, в какой они были установлены Ньютоном. Задача Больцманновских «Принципов механики» сформулировать эти законы в наиболее ясной, простой и логически последовательной форме.

Подчеркиваем еще раз, что Больцманн нисколько не отрицает возможности построения иной картины природы, нежели та, которую он дает на основе законов классической механики. Он только утверждает, что эта иная «немеханическая» (в смысле Больцманна) картина еще никем не дана, а потому он имеет право держаться старой «механической» (опять-таки в строго определенном смысле) концепции.

Из вышеизложенных общих теоретико-познавательных взглядов Больцманна необходимо следует такого рода точка зрения. Больцманн ведь полагал, что всякая истина содержит в себе заблуждение,

¹ Больцманн Л., Принципы механики, ч. 1, стр. 4.

² Его же, О статистической механике.

а всякое заблуждение есть ступень истины, что всякая новая теория лишь «снимает» старую, т. е. преодолевает и одновременно сохраняет ее. Больцманн именно потому столь страстно мог защищать свое механическое миропонимание, что был глубоко убежден в том, что всякое иное новое—немеханическое—миропонимание должно будет включить в себя как ступень к истине его старое миропонимание—миропонимание механической.

В дальнейшем мы ставим себе целью подробно разобрать «Принципы механики» Больцманна, его трактовку понятий пространства, времени, движения, инерции, массы и силы; его взгляды на значение принципа сохранения энергии и принципа действия; наконец, проводимые им аналогии между механическими и физическими, в частности, тепловыми движениями.

Эта детализация имеет не только специальный интерес, но и интерес общеполитический. Она точно уясняет, что разумеют обычно на Западе под «механическим миропониманием». В современных спорах о механическом материализме понятие «механического» употребляется в весьма неопределенном и многообразном смысле, что безусловно вредит плодотворности обсуждения. Подробное изложение взглядов столь видного механиста, как Больцманн, является поэтому весьма поучительным.

3. Больцманновская трактовка понятий пространства, времени, движения и инерции

При оценке воззрений какого-нибудь мыслителя недостаточно придерживаться его формальных высказываний, необходимо принять во внимание его целостную индивидуальность и ту среду, в которой мыслителю приходится жить и работать. Трагический конец Больцманна показывает, что Больцманн не был достаточно последовательным, твердым и решительным человеком. Подчиняясь давлению реакционных сил, напуганный воем обскурантов, Больцманн постоянно колеблется, постоянно отступает от своих глубочайших убеждений, робко, неуверенно, двусмысленно формулирует свои мысли. Его позиция часто сводится поэтому к позиции *агностика*, т. е. стыдливого материалиста.

Эйлер когда-то высказал убеждение, что без признания абсолютного пространства, времени и движения невозможна никакая наука. Больцманн прекрасно сознает необходимость для науки такого признания. Он вводит в свою механику абсолютное пространство и время в качестве абсолютной системы координат и абсолютное движение, соотношенное к этой абсолютной системе. Обсуждая однако фундаментальную трудность, которая возникает при формулировке закона инерции, если желают избежать введения «абсолютного, трансцендентного пространства», Больцманн говорит¹: «мы преодолели наипростейшим образом эту трудность тем, что совершенно не говорили

¹ *Больцманн Л.*, Принципы механики, ч. II, заключительный § 88.

о чем-то *действительном* или *существующем*, но заменили материю чистыми образами мысли (*blosse Gedankenbilder*), материальными точками, не заботясь о том, можно ли этого с одинаковым успехом достичь другим путем (введением, например, других координатных систем)»...

«Ибо,—аргументирует Больцманн,—никто не может запретить нам строить мысленные образы и наряду с материальными точками принимать еще координатную систему—*das taugliche Bezugssystem*—т. е. «абсолютное пространство». И если мы называем эти мысленные образы истинными, то только потому, что *они нам полезны в возможно полном и легком предсказании будущих явлений (наших будущих ощущений) и в приспособлении к этим явлениям наших волевых импульсов*. Здесь перед нами явное отступление от материализма к идеализму. В самом деле, философское решение проблемы познания заключается не в простом констатировании факта полезности наших мысленных образов для предсказания будущих ощущений, а в ответе на вопрос, почему одни образы пригодны для этого, а другие нет; почему, например, «мысленный образ» мышьяка как яда дает возможность избежать некоторых весьма неприятных ощущений, а «мысленный образ» того же мышьяка как сладкого вина ведет к весьма печальному «комплексу ощущений» и вообще к исчезновению всякого рода ощущений. Материалистическая теория познания усматривает критерий истинности наших мыслей в их соответствии об'ективной действительности. Одни мысленные образы пригодны, а другие нет для предсказания наших будущих ощущений именно потому, что одни образы отражают, копируют, фотографируют об'ективную, независимую от сознания действительность, а другие—нет.

Больцманн не ставит вопроса об особой природе тех или иных мысленных образов и тем самым отступает от основ собственной теории мышления и формально скатывается таким образом к агностицизму и позитивизму. Фактически же, по существу, Больцманн остается на позиции материализма. Это видно из того, что он отвергает маховскую формулировку закона инерции, Неймановское «тело альфа», особую интерпретацию электромагнитной теории Максвелла, т. е. те концепции, которые стремятся изгнать из физики «абсолютные и трансцендентные» пространство, время и движение. Заметим, между прочим, что непоследовательность воззрений Больцманна сказывается в том, что он допускает предположение о конечности мира. Это хорошо видно из следующей выдвигаемой им гипотезы, замечательно превосхитившей общую теорию относительности. Больцманн подчеркивает именно возможность *конструирования* расстояний неподвижных звезд в неевклидовом пространстве чрезвычайно малой кривизны, что имеет непосредственное отношение к закону инерции, ибо при таком предположении движущееся тело, на которое не действуют силы, должно через неизмеримое время (*Aopen*) вернуться на старое место, если только кривизна пространства положительна¹. Больцманн

¹ *Больцманн Л.*, Принципы механики, ч. II, стр. 354, см. также ч. I, стр. 4.

является, таким образом, прямым предтечей Эйнштейна, и не случайно последний упоминает имя «гениального теоретика» Больцманна в предисловии к своей популярной книге о принципе относительности.

Особенно остро проявляется агностицизм Больцманна и его уклон в сторону идеализма в том, что он считает *равно возможным* (в объективном смысле) обратное предположение—предположение о бесконечности вселенной. При таком предположении, утверждает Больцманн, необходимо будет выразить закон инерции формулой, согласно которой различные массы вселенной имеют различное влияние на формулировку закона инерции: ближайшие—исчезающее малое, находящиеся на расстояниях порядка расстояния Сириуса—наибольшее, на более далеких расстояниях—опять-таки исчезающее малое.

Недопустимое и вредное утверждение *равноправности* точек зрения конечности и бесконечности вселенной является прямым следствием «иероглифической» теории мышления. Будь Больцманн сознательным диалектиком и материалистом—он сумел бы понять правильное соотношение конечного и бесконечного, он понял бы, что *конечное без бесконечного и бесконечное без конечного* так же невозможны, как один конец палки невозможен без другого. Он сумел бы понять, что мы познаем бесконечное лишь через конечное и конечное через бесконечное. Увы, сознательная диалектика и последовательный материализм столь же немислимы для буржуазного ученого, как немислимо рожать детей при помощи платонической любви.

Бесспорно, агностицизм Больцманна в данном вопросе тесно связан с его оговорками, что он вовсе и вообще говоря не против бытия господа бога. Но было бы вульгарным материализмом на этом основании квалифицировать Больцманна как идеалиста и фидеиста. Основное и существенное во взглядах Больцманна, как это подчеркнул В. И. Ленин, несомненно направлено *против* идеализма, *против* фидеизма, в сторону материализма и диалектики. Колебания и непоследовательность Больцманна являются лишь отражением той сложной обстановки, в которой приходилось работать этому мыслителю. Если бы Больцманн не был глубочайше убежден в объективном значении науки, если бы он не был убежден в объективной реальности пространства, времени, движения, материи (молекул, атомов, электронов, эфира), его мало удручала бы борьба эмпириокритиков против этих материалистических основ науки, и он не покончил бы жизнь самоубийством. Эмпириокритики это по существу скептики, а скептики очень мало склонны жертвовать собственной «системой ощущений» ради отрицаемой ими объективной истины.

Таким образом Больцманновское отречение от истин материализма есть лишь словесное отречение; на деле он эти истины защищал, а это разумеется неизмеримо лучше, если бы он их защищал словесно, на деле их предавая, что нередко случается с лицами, громче всех кричащими о своем материализме.

Положенная Больцманном в основу механики *das taugliche Bezugssystem* играет роль абсолютного пространства Ньютона. Это совершенно ясно признает Больцманн. Его смущает однако то, что мы

познаем лишь относительное положение и движение различных тел и частей тел. В. И. Ленин справедливо заметил, что незнание диалектики, непонимание соотношения относительного и абсолютного свихнуло многих физиков в идеализм. Колебания Больцманна между материализмом и идеализмом также обусловлены незнанием диалектики. «Нет такого опыта,—заявляет Больцманн¹,—в котором обнаружилось бы наличие абсолютного пространства».

Казалось бы, что отсюда следует необходимость исключения абсолютного пространства из системы научных понятий. Но Больцманн поступает как раз наоборот. «Несмотря на это (т. е. несмотря на то, что нет такого опыта, который обнаружил бы нам существование абсолютного пространства), мы в начале 1-й части ввели определенную координатную систему, которая *приблизительно* (nahezu?) играет роль абсолютного пространства». Больцманн оправдывает введение такого рода координатной системы возможностью *наиболее просто* выразить законы относительного движения. Смутно чувствуя слабость своих оправданий и пугаясь обвинений в «метафизике» и в вере в «абсолюты», Больцманн спешит подчеркнуть, что он «никоим образом не имеет намерения утверждать вероятность или даже необходимость того, что будут найдены новые опытные данные, которые дали бы возможность ближе определить эту особую координатную систему, которые дали бы возможность сделать определенный выбор между системами, названными в § 11 1-й части «пригодными основными системами», и тем самым были бы достаточны для определения абсолютного пространства или, как говорят, доказали бы существование абсолютного пространства».

Это рассуждение о «*доказательстве*» существования абсолютного пространства наглядно свидетельствует о незнании диалектики. Энгельс замечает, что достаточно например простого уяснения себе при помощи диалектики природы жизни и смерти, чтобы навсегда покончить с древними суевериями о бессмертии души. Жить значит умирать. Чтобы покончить с «доказательствами» существования абсолютного пространства, достаточно простого уяснения себе при помощи диалектики соотношения относительного и абсолютного. Больцманн путает в этом вопросе, но физика стихийно и повелительно навязывает свою диалектику метафизической мыслящей голове. Поэтому в механике Больцманна понятия пространства, времени и движения трактуются одновременно как понятия относительные и абсолютные.

4. Понятия материальной точки, массы и силы

Одним из основных понятий Больцманновской механики является понятие *материальной точки*. Ньютон извлек это понятие из опыта падения тел Галилея. Одинаковость падения всех тел в пустоте привела Ньютона к гипотезе атомизма. Ньютонская «материальная

¹ Больцманн Л., Принципы механики, ч. II, стр. 378.

точка» является поэтому реальным атомом. Больцманну как будто ничего неизвестно об этой основе Ньютоновой механики. Более того, он не видит никакой необходимости приписывать своей материальной точке свойства реальной молекулы, атома или вообще чрезвычайно малого тела. Больцманн усматривает в такого рода определениях материальной точки механики порочный круг¹.

В самом деле, согласно определению Больцманна, «механика— это наука о *движении* тел природы, т. е. учение о перемене места (изменении относительного положения) телами природы, которая (перемена) не связана ни с какими изменениями других свойств». Не имеет поэтому смысла приписывать материальным точкам каких-либо свойств, кроме тех, которые требуются для построения механики как науки о движении—перемещении вообще. Это—во-первых. Во-вторых, механика как наука о движении вообще, о движении как таковом, должна быть приложена к изучению движений всякого рода тел, сколь бы они ни были велики или малы, в частности к изучению движений молекул и атомов как таковых. Вот почему, по мнению Больцманна, мы безусловно попадаем в порочный круг, если кладем в основу построения механики какое-либо тело или систему тел, хотя бы очень малых размеров.

Больцманн подчеркивает поэтому: «именно неясности в принципах механики, мне кажется, проистекают от того, что стремились с самого начала как можно ближе держаться опыта (an die Erfahrung anknüpfen wollte), но не желали непосредственно начинать с гипотетических образов нашего духа».

Больцманн в защите своей точки зрения договаривается даже до следующего агностического тезиса: «вообще говоря, я предпочитаю на место вопроса—как в действительности построены вещи—поставить более скромный, но гораздо более ясный вопрос о том, посредством каких образов наиболее просто и однозначно устанавливаются наши будущие опыты».

Здесь перед нами отрыв «вещи в себе» от явления и протаскивание иероглифической теории мышления.

Можно ли всерьез принимать подобного рода заявления? Нет. Изучение работ Больцманна вскрывает нам истинное основание его понятия материальной точки. Как механист Больцманн полагал, что «механика это фундамент общего естествознания». Иначе говоря, Больцманн считал возможным «объяснить» сложные процессы движения материи посредством основных понятий и законов механики как науки о движении—перемещении тел вообще. «Перемены места,—аргументирует Больцманн,—это наипростейшие явления, следовательно, механика—фундамент общего естествознания».

Само собой разумеется, что если механика—фундамент естествознания, то понятия механики как основа для объяснения не могут содержать в себе то, что требуется объяснить. Иначе получится порочный круг. Больцманн стремится поэтому придать понятию материаль-

ной точки наиболее общий характер. «Мы, само собою разумеется, не можем получить образа тел и их движений, если равномерно охватываем все части бесконечного пространства. Мы выделим поэтому многочисленные отдельные точки. *Эти выделенные среди остальных пространственные точки мы называем материальными точками*». Это определение по своему смыслу торжественно с определением Герца в его «Механике». Герц был однако последовательнее Больцманна. Он с самого начала материализует пространство, наполняя его непрерывной бесконечной субстанцией (эфиром), и рассматривает «материальную точку» как бесконечно-малую часть пространства—материи¹.

Больцманн нигде не говорит о неразрывной связи пространства и материи, но по существу его «материальная точка» это бесконечно-малый кусок протяженности, понимаемой как материя. Герц, далее, не приписывает своим материальным точкам никаких других свойств, кроме протяженности и *движения вообще*, Больцманн же делает скачок, приписывая своим точкам вполне *определенное движение*. Это определенное движение устанавливается при помощи семи основных допущений.

Первое допущение: или закон непрерывности движения: каждой материальной точке, которая в известное время имела известные координаты, соответствует через бесконечно-малый промежуток времени одна и только одна материальная точка с бесконечно-мало отличающимися координатами, которая называется *той же самой материальной точкой*, т. е. координаты каждой материальной точки являются непрерывными функциями времени, $x = \varphi_1(t)$, $y = \varphi_2(t)$, $z = \varphi_3(t)$.

Второе допущение: существуют первая и вторая производные координат по времени, при чем эти производные никогда не становятся бесконечными. Это допущение аналитически обосновывает понятия скорости и ускорения.

Третье допущение: ускорение, рассматриваемое как вектор какой-либо материальной точки, равно сумме векторов ускорений $n-1$ материальных точек, при чем каждый вектор имеет направление прямой, соединяющей данную материальную точку с какой-нибудь из остальных и называется ускорением, сообщенным данной материальной точке какой-либо из остальных.

Четвертое допущение: ускорение, сообщенное материальной точке другой материальной точкой, всегда противоположно ускорению, сообщенному первой точкой второй.

Пятое допущение: величина ускорения g_{12} любой материальной точки, вызванного любой другой материальной точкой, не зависит ни от абсолютного положения обеих точек в пространстве, ни от абсолютного значения времени, ни от характера среды или скоростей точек, ни от направления в пространстве соединяющей их прямой, но только от длины r_{12} этой прямой. Эта величина является, стало-быть, лишь функцией $F(r_{12})$ расстояния r_{12} .

¹ Между прочим Герц в конечном счете приходит к ньютоновскому определению массы. См. «Механику», Герца, стр. 54.

¹ Больцманн Л., Принципы механики, ч. 1, стр. 39.

Шестое допущение: величины взаимных ускорений двух материальных точек во все времена и на всех расстояниях находятся в определенном постоянном отношении. Математически: если ускорение первой материальной точки будет $g_{12} = F(r_{12})$, то ускорение второй будет $g_{21} = \mu_2 g_{12} = \mu_2 F(r_{12})$; отношение ускорений μ_2 — величина постоянная во все времена и на всех расстояниях.

Седьмое допущение: если r_{13} расстояние первой материальной точки от третьей, $\Phi(r_{13})$ и $\mu_3 \Phi(r_{13})$ взаимные ускорения первой и третьей точек, то взаимные ускорения второй и третьей точек всегда находятся в постоянном отношении $\mu_2 : \mu_3$, т. е. ускорение третьей материальной точки, сообщенное ей второй, будет $\frac{\mu_2}{\mu_3} \Psi(r_{23})$, где $\Psi(r_{23})$ ускорение второй материальной точки, обусловленное третьей.

Если теперь через m_1 обозначить совершенно произвольное постоянное число, то отношения

$$\frac{m_1}{\mu_2} = m_2 \quad \text{и} \quad \frac{m_1}{\mu_3} = m_3$$

будут также постоянными.

Положим далее: $m_1 \cdot F(r_{12}) = \pm f_{12}(r_{12})$; $\frac{m_1}{\mu_2} \Phi(r_{13}) = \pm f_{13}(r_{13})$
и $\frac{m_1}{\mu_3} \Psi(r_{23}) = \pm f_{23}(r_{23})$. Тогда

$$\left. \begin{aligned} m_1 g_{12} &= m_2 g_{21} = \pm f_{12}(r_{12}) \\ m_1 g_{13} &= m_3 g_{31} = \pm f_{13}(r_{13}) \\ m_2 g_{23} &= m_3 g_{32} = \pm f_{23}(r_{23}) \end{aligned} \right\} \text{Вообще } mg = \pm f(r)$$

Величина m_1 , m_2 , m_3 , вообще m — Больцманн называет *массами* материальных точек, f_{12} , f_{13} , f_{23} , вообще $f(r)$ — *действующими* силами. Эти определения масс и сил, так признает сам Больцманн, принадлежат Маху. Их смысл Больцманн выясняет в следующем примечании¹:

«Наша картина постольку удовлетворяет известному требованию Кирхгофа, чтобы физика лишь *описывала* факты, поскольку она представляет собою совокупность правил для построения арифметических и геометрических представлений, посредством которых можно всегда правильно предсказать факты. Понятия причины и действия при этом совершенно устранены. Ибо, если даже указывают на наличие материальной точки как на *причину* ускорения другой материальной точки, то этим ведь выражают не более того, как представление факта, что обе точки на известном расстоянии получают известные ускорения». Больцманн устраняет таким образом *метафизическое* понятие силы как особой *сущности*, являющейся *причиной* движения (метафизическое дальное действие). Понятие *дального действия*

является для Больцманна лишь формой выражения определенного процесса движения. Он подчеркивает поэтому (стр. 41), что принимаемое им дальное действие между материальными точками не является «истиной в последней инстанции» процессов природы. Он отмечает попытки об'яснения сил дального действия посредством молекул эфира, рассматриваемых некоторыми исследователями как вихревые кольца. «Возможность, что подобного рода об'яснения навсегда устранят силы дального действия, безусловно существует» (besteht sicher).^{*} Но предположения, сделанные с этой целью, до сих пор представляются мне ни более простыми, ни ясными, чем та картина, из которой я исхожу».

Метод Больцманна представляет собою, стало быть, метод *относительного формализма*, метод, употребленный впервые Ньютоном для обоснования механики. Но Ньютоново обоснование представляется нам вполне естественным, в то время как обоснование Больцманна страдает известной искусственностью. В самом деле, Ньютон исходит из закона падения тел Галилея и вполне естественно приходит к понятию материальной точки, как реального атома, взаимодействующего с другими атомами. Форма закона взаимодействия между материальными точками устанавливается далее вполне естественно на основании изучения планетных движений. У Больцманна же совершенно непонятно, почему его материальные точки должны удовлетворять допущениям, устанавливающим взаимодействие. Эти допущения кажутся весьма искусственными и на самом деле представляют собою скачок из царства мысли в царство об'ективной действительности.

Сверх того, Ньютоново определение массы как величины, пропорциональной количеству материи тела, т. е. числу материальных атомов, мы считаем более ясным и материалистическим, нежели Маховское чисто математическое определение. Указывают часто, что Маховское определение массы обладает тем преимуществом, что оно включает в себя понятие переменной массы. Но если отвергнуть представление об атоме старых атомистов как о вечно неизменном материальном теле в абсолютной пустоте, а держаться современного представления об атоме как сложнейшей системе в эфире, то между Ньютоновым определением массы и понятием переменной массы нет никакого противоречия. Сам Ньютон подчеркивает, что он при определении массы как количества материи тела — исключает из рассмотрения эфир, а мы ныне знаем, что изменчивость массы тел обусловлена их движением в эфире: изменение массы зависит от скорости движения и об'ясняется увлечением эфира.

Бесспорно, что Ньютоново определение массы упрощает понятие, но зато оно придает ему более конкретный, физический характер, в маховском же определении материя как бы исчезает, испаряется — остается лишь движение и «математический коэффициент», обладающий физическими свойствами. Точно так же Ньютоново фактическое понимание силы имеет более диалектический и материалистический характер, нежели формальное, хотя и с оговорками, понимание Больцманна. Ньютон, подобно Больцманну, отождествляет, с одной

¹ Больцманн Л., Принципы механики, ч. 1, § 12.

стороны, силу с ее проявлением, выражая ее математически как приращение количества движения тела в единицу времени ($F = \frac{d(mv)}{dt}$); с другой стороны, однако, он, в противоположность Больцманну, рассматривает силу как *причину* данного движения—иначе говоря, рассматривает данное движение как результат, причинно обусловленный другими, обычно сложными, движениями в окружающей среде. У Больцманна, несмотря на оговорки, сила все же принимает характер «тощей математической абстракции», как *произведение математического коэффициента массы на ускорение*.

Несомненно, что здесь сказалось влияние философии чистого опыта на мышление Больцманна.

5. Принцип энергии и принцип действия (Wirkungsprinzip) как общие принципы естествознания

Мы видим, таким образом, что основой механики Больцманна являются *материальные точки*, их движения и взаимодействия в абсолютном пространстве и времени. Какими бы оговорками Больцманн ни ограничивал значение вводимых им для обоснования механики представлений и понятий, но эти оговорки не могут скрыть и затуманить материалистического характера самого метода Больцманна. Такие слова как движение и взаимодействие совокупности материальных точек в *абсолютном* пространстве и времени к чему-то обязывают, и человек, на *самом деле* стоящий на точке зрения иероглифической, агностической, идеалистической теории мышления, должен их решительно выкидывать вон. Но тот, кто путем весьма слабых и двусмысленных оговорок не только пытается сохранить эти понятия, но сверх того *на деле* их яростно защищает, тем самым доказывает, что он *на деле* не верит ни в какой иероглифизм, агностицизм, идеализм. В этом отношении весьма характерны взгляды Больцманна на энергетику. Энергетика является, пожалуй, наиболее серьезным *по-видимости* противником материализма. Материалист Плеханов увлекался одно время энергетикой и даже заявлял, что энергетика, собственно говоря, не противоречит материализму. Больцманн же решительно отвергает энергетику как миропонимание. Это можно объяснить лишь тем, что Больцманн признавал об'ективную реальность материи. Гносеологическая задача энергетики—устранить понятие материи («мыслить движение без материи»); тот, кто отвергает энергетику, тем самым признает необходимость понятия материи, и никакие разговоры насчет «удобства», «полезности», «экономии мышления» не смогут скрыть об'ективной основы этой необходимости—об'ективную существующую материю.

Если взять Больцманновскую формулировку принципа сохранения энергии, то одна эта формулировка наглядно показывает всю несерьезность его иероглифических и т. п. уклонов, весь его подлинный материализм.

Обсуждая ряд случаев, в которых принцип сохранения энергии получает свое простейшее выражение, Больцманн говорит¹:

«во всех этих случаях сумма живой силы и силовой функции— величина постоянная; стало быть живая сила n точек будет всегда принимать то же значение, когда каждая из точек займет первоначальное положение в пространстве. Отсюда однако не следует никоим образом, что каждая отдельная материальная точка должна снова иметь первоначальную скорость. В особенности, когда мы имеем дело с системой тел, которые состоят из настолько плотно расположенных материальных точек, что *мы не в состоянии воспринимать каждую материальную точку в отдельности*, то из той картины, которую мы себе составили, вытекает с логической последовательностью следующее: тогда могут возникнуть и, вообще говоря, будут возникать относительные движения отдельных материальных точек, которые мы *так же мало можем непосредственно наблюдать, как и отдельные материальные точки*. Но тогда возможно, что эти *скрытые движения* имеют иные воспринимаемые, количественно измеримые эффекты, которые пропорциональны или, при умножении на соответствующие коэффициенты, равны живой силе этого невидимого относительного движения материальных точек, включая произведенную молекулярными силами работу при перемещении точек. Тогда сумма живой силы видимого движения, силовой функции явно действующих между телами сил и величин, умноженных на соответствующие коэффициенты вышеупомянутых эффектов должна быть всегда постоянной. Если каждую из этих слагаемых мы назовем энергией, тогда сумма всех энергий должна быть постоянной. Это и есть принцип энергии».

Нет необходимости доказывать, что мыслитель, допускающий непосредственно невоспринимаемые материальные точки, скрытое, невидимое движение которых дает видимый и измеримый эффект, является материалистом, утверждающим превращение «вещи в себе» в «вещь для нас». История философии последних десятилетий показывает, что главные усилия новейших идеалистов направлены против злой материалистической «метафизики», признающей об'ективное существование «материальных точек» в виде молекул, атомов, электронов частиц эфира, т. е. невидимых непосредственно «вещей в себе» и неощутимых, скрытых движений. Если мир это «мое ощущение», то в таком мире нет места скрытым, непосредственно невоспринимаемым формам материи и движения, ибо утверждение последних означает отрицание излюбленного идеалистического определения материи и движения как «комплекса ощущений».

История принципа сохранения энергии показывает, что принцип этот возник на основе вполне определенной совокупности представлений о материи и движении. Когда принцип получен, не трудно отрицать эти представления и утверждать, что сущность принципа— в его математической форме, что принцип не имеет никакого отноше-

¹ Больцманн Л., Принципы механики, ч. 1, § 26, стр. 93.

ния к исходным представлениям о материи и движении. Больцманн иронически отбрасывает подобного рода точку зрения.

«Иногда дело представляли таким образом, что вся механическая картина имеет целью лишь об'яснить этот принцип. Тогда, разумеется, постольку, поскольку принцип ясно познан, картина становится излишней. Но принцип сохранения энергии представляет собою лишь малую часть всего того, что устанавливается нашей картиной, и согласие с этим великим общим принципом природы может лишь рассматриваться как единичное, специальное, ценное подтверждение нашей картины. Лишь тогда, когда удалось бы без привлечения нашей картины установить столь же ясно и образно сущность (Inbegriff) такого же количества фактов, как это достигается при помощи нашей картины, лишь тогда можно было бы говорить, что картина сделалась излишней». И так как, к великому прискорбию идеалистов всех мастей и оттенков, этого до сих пор сделать не удалось и утаться не может, ибо невозможно ведь строить естествознание, уничтожив его фундамент—движущуюся материю,—то единственным строго научным пониманием принципа сохранения энергии является понимание материалистическое.

Словесно конечно очень легко оторвать энергию от материи и оперировать только энергией, но последовательно проведенный такого рода *modus operandi* неизбежно приводит к солипсизму. В самом деле, всякий, признающий на ряду с энергией еще об'ективное пространство, тем самым вводит в свое миропонимание словесно изгнанную материю, ибо энергия плюс протяженность образуют существенные признаки материи. Таким образом последовательным энергетиком может быть только солипсист. Больцманн в своей критике энергетике Оствальда совершенно отчетливо подчеркнул это обстоятельство: энергия Оствальда не что иное, как словесно переряженное и завуалированное старенькое движение старенькой материи.

В иной плоскости Больцманн рассматривает вопрос о значении принципа действия¹. Сущность этого принципа можно упрощенно охарактеризовать следующим образом: дана движущаяся материальная система с кинетической энергией T , подверженная действию сил, имеющих силовую функцию (потенциал) V ; тогда интеграл $W = \int_{t_0}^t (T - V) dt$, взятый вдоль определенного отрезка пути, соответствующего определенному отрезку времени ($t - t_0$), будет при определенных условиях экстремумом (максимумом или минимумом); вообще говоря, как показали исследования, этого экстремума может и не быть².

Интеграл W называется *действием*, а формулированный закон—принципом действия.

Существенное различие, по мнению Больцманна, между принципом энергии и принципом действия в том, что последний для своей формулировки и приложения требует представления движущихся в про-

странстве и времени материальных точек. По этой именно причине из принципа действия непосредственно вытекают уравнения механики. Больцманн рассматривает поэтому принцип действия, как принцип сугубо *механический*.

Правда, как это отмечает и сам Больцманн, Джибс, Гельмгольц и другие исследователи показали, что состояния систем можно охарактеризовать не только координатами в трехмерном пространстве, а, например, температурой, электрическими величинами и т. п. переменными, которые дают возможность установить отношения, включающие в себя механические принципы в том числе и принцип действия, как частные случаи. Но все эти отношения с другой точки зрения гораздо менее общи и часто имеют значение исключительно для состояний, бесконечно мало отличающихся от состояний равновесия. Кроме того, лежащие в основе этих отношений понятия, как энтропия, необратимость, не столь ясны, а многочисленные, опытно данные особенности температуры, электричества и т. д. не столь просто представляемы, как геометрические отношения точек.

Больцманн отмечает возможность об'яснить аналогию между уравнениями теории электричества, теплоты и т. д. и уравнениями механики, как и особенности встречающихся в этих теориях величин, тем, что электрические тепловые и т. п. явления имеют своей причиной скрытые механические движения. Этим же путем можно *раз'яснить* сущность некоторых встречающихся в физике величин, например, раз'яснить понятия энтропии и необратимости приложением теории вероятностей к отношению многочисленных материальных точек.

«Когда, я говорю—подчеркивает Больцманн,—что механические образы могут устранить подобные неясности, то этим я не утверждаю, что положение и движение материальных точек в пространстве это нечто такое, простейшие элементы чего полностью об'яснимы. Наоборот, последние элементы нашего познания, вообще говоря, об'яснить невозможно, ибо об'яснить ведь это значит свести к чему-то более известному, более простому и, стало-быть, то, к чему всё сводится, должно всегда оставаться необ'яснимым. И, следовательно, если бы даже все было об'яснено из простейших понятий механики, то зато эти последние оставались бы такими же необ'яснимыми, каковыми для нас ныне являются понятия учения об электричестве».

Больцманн не хочет поэтому спорить о том, что яснее—понятие ли положения в пространстве или понятия температуры и электрического заряда. Но для него безусловно более ясной является та картина, которая как явления движения в твердых, жидких и газообразных телах, так и тепло, свет, электричество, магнетизм, тяготение об'ясняет посредством представления о движениях материальных точек в пространстве, т. е. на основе единого принципа, нежели картина, в которой каждая область имеет свой собственный инвентарь совершенно чужеродных понятий, как температура, электрический заряд, потенциал и т. д.

Больцманн оговаривается однако, что он не считает свое механическое миропонимание безусловным.

¹ Больцманн Л., Принципы механики, ч. II, § 35.

² См. «Аналитическую динамику» Уайттекера.

«Если уже пожелать вообще заботиться о будущих столетиях или даже тысячелетиях, то я охотно прибавлю, что было бы смелым (dass es vermessen wäre) надеяться, что нынешняя механическая картина сохранится хотя бы в своих существенных чертах навеки». Больцманн протестует лишь против того легкомыслия, которое, не имея понятия о трудностях построения новой картины, столь же ясной и подробно разработанной от первых оснований до приложения к важнейшим явлениям, как и старая механическая картина мира, объявляет последнюю превзойденной точкой зрения.

6. Механические аналогии физических, в частности, тепловых процессов

Всякого изучающего механику и физику поражают замечательные аналогии между механическими и физическими процессами. С марксистской точки зрения наличие аналогий свидетельствует об единстве материи и движения. Но как понимать это единство? На этот вопрос лишь механисты отвечают вполне определенным образом. Для механистов аналогии являются доказательством того, что все физические процессы представляют собою различные формы механического движения материи.

Больцманн, как мы показали выше, не был или не хотел быть безусловным «механистом», ибо сам «механизм» он понимал в строго определенном ограниченном смысле.

Поэтому он нигде не высказывается категорическим образом по вопросу о значении механо-физических аналогий. Лишь там, где, по мнению Больцманна, имеются строго научные данные для определенного суждения, как, например, в кинетической теории тепла, Больцманн выступает очень решительно. Там же, где таких данных, с точки зрения Больцманна, нет, он занимает неопределенную и даже критическую позицию, не считая возможным прибегать к философским аргументам, как это часто делают безусловные механисты. Так Больцманн решительно раскритиковал Максвелловское механическое обоснование электромагнетизма, не уяснив себе в достаточной мере самого метода этого обоснования. Истинный механист в таких случаях ведет себя иначе и обычно старается затушевать недостатки и даже неправильности того или иного обоснования во имя общей механической концепции, в истине которой он незыблемо убежден. Для безусловного механиста недостатки и неправильности обоснования означают лишь временную слабость человеческой теоретической мысли, но ни в коем случае не сомнение в истине механизма, для относительного механиста, каковым был или по крайней мере хотел быть Больцманн, эти недостатки и неправильности означают именно сомнение в возможности, вообще говоря, свести все физические процессы к процессам механическим. Методологическая трактовка Больцманном аналогий отчетливо выяснена в главе IV второй части «Принципов механики». Глава начинается параграфом «Аналогия доставленного тепла».

Больцманн отмечает, прежде всего, следующее затруднение для проведения аналогии: согласно ур-иям термодинамики дифференциальное приращение количества тепла dQ не является полным дифференциалом, в то время как для обычных механических систем (склерономных систем) приращение энергии dE всегда представляет собою полный дифференциал. Чтобы обойти это затруднение, Клаузиус предложил ввести понятие сил, закон действия которых изменяется во времени. Больцманн отвергает такого рода гипотезу на том основании, что всякое, вообще говоря, физическое исследование сделалось бы невозможным, если бы мы не знали, что найденные нами сегодня законы природы имеют силу и для будущих времен. Больцманн для обоснования аналогии дополняет рассматриваемую систему из n материальных точек еще системой в ν точек, которые или неподвижны в пространстве или же движутся очень медленно. Второй шаг заключается в том, чтобы приписать n материальным точкам такие свойства, которые дали бы возможность получить наиболее верную картину теплового движения. Первое такое свойство это свойство *циклическости движения*. Циклическим движением в строгом смысле слова называется такое, при котором каждая материальная точка замещается при движении механически тождественной, имеющей одинаковой величины и направления скорость. Например, движение вокруг оси абсолютно симметричного твердого тела вращения или безвихревое движение абсолютно однородной, несжимаемой, невязкой жидкости в замыкающемся в себе канале с абсолютно твердыми стенками будут движениями циклическими.

Специальные циклические системы многократно употреблялись в механике и в теории теплоты, особенно Ранкиным. Лишь Максвелл первый рассмотрел общие циклические системы и приложил их к объяснению электромагнитных и электродинамических явлений. Приложение общих циклических систем к теории теплоты, дальнейшее развитие полученных Максвеллом уравнений и основные черты принятой ныне терминологии принадлежат Гельмгольцу. Молекулярные движения, являющиеся согласно механической теории тепла сущностью тепла, не представляют собою строго циклических движений. Лишь благодаря наличию очень большого числа молекул можно расширить понятие циклического движения на движение молекулярное-тепловое. Известное сродство с циклическими системами имеют системы с периодическим движением. Больцманн в первую очередь рассматривает, именно, периодическую систему из n быстро движущихся материальных точек и ν неподвижных или движущихся очень медленно. Нормальным или *неварьированным* состоянием системы будет то, при котором ν точек неподвижны, а n совершают движение с периодом i . Если обозначить чрез \bar{T} — среднюю кинетическую энергию n материальных точек за один период, то прилагая к системе *принцип наименьшего действия* можно получить следующее соотношение:

$$\frac{dQ}{T} = d \log (i\bar{T})^2$$

где dQ означает бесконечно малое количество энергии, необходимое для перехода системы из данного состояния в бесконечно-близкое соседнее (варьированное).

Если постоянно изменять (варьировать) состояние системы, то можно пройти совершенный круговой процесс (описать совершенный цикл, аналогичный циклу Карно), т. е. вернуться в первоначальное состояние, но при этом сумма приобретенных дифференциалов энергии

$\int dQ$, вообще говоря, может не равняться нулю. Напротив $\int \frac{dQ}{T}$

всегда будет нулем, ибо при возвращении в начальное состояние изменение $\log(i\bar{T})^2$ будет нулем. Здесь перед нами совершенная аналогия со вторым законом термодинамики:

$$\int \frac{dQ}{T} \text{ (энтропия)} = \log(i\bar{T})^2$$

будет нулем для совершенного кругового процесса. Аналогия, однако, между описанной системой и нагретым телом не является полной. Состояние такого тела вполне определено, если кроме внешних условий задана еще одна величина, именно, температура, состояние же n материальных точек не определяется всецело заданием положения ν материальных точек (внешняя среда) и величины энергии: при одном и том же положении ν точек и одной и той же величине энергии система n материальных точек может совершать различные движения. Для полного проведения аналогии необходимо предположить особое распределение движений согласно законам теории вероятностей. Эта задача, как известно, была блестяще решена Больцманом, который этим путем пришел к рациональному обоснованию второго закона термодинамики и понятия энтропии.

В дальнейшем Больцман подробно развивает теорию циклических систем и показывает ряд поразительных аналогий между циклическими движениями и некоторыми физическими процессами теплового и электро-динамического характера.

В виду специального характера темы мы на ней останавливаться не будем, а приведем лишь еще один важный в историческом отношении пример, относящийся к т. н. смешанным циклам Гельмгольца. Последний установил для т. н. смешанных циклических движений особую форму уравнений Лагранжа. В обычных уравнениях Лагранжа фигурирует функция H (названная Гельмгольцем кинетическим потенциалом и обычно равная разности между кинетической энергией и потенциалом $T-V$), которая представляет собою квадратичную функцию скоростей. В уравнениях Гельмгольца для циклических движений эта функция H замещается другой H^1 которая содержит также члены *линейные* по отношению к скоростям. Между тем как раз в случае электромагнитных процессов мы встречаемся с функциями, аналогичными функции H^1 (например, электромагнитная энергия

эфира, потенциал электрических токов при наличии постоянных магнитов), которые содержат члены линейные по отношению к силам тока, аналогизируемым обычно со скоростями.

На этом именно основании Максвелл выдвинул гипотезу, что магнитная энергия это энергия вращения: в то время как электромагнитная энергия эфира содержит члены линейные по отношению к силам тока, чисто электродинамическая энергия является однородной квадратичной функцией сил тока. Больцман следующим образом характеризует значение указанной аналогии:

«Эта поразительная (frappante) аналогия, разумеется, не является доказательством того, что в вышеупомянутом физическом явлении¹ действительно играют роль скрытые вращательные движения, но посредством такой гипотезы эта аналогия могла бы быть об'яснена наиболее естественным образом; во всяком случае, она указывает на то, что сравнительное изучение обоих родов явлений обещает привести к дальнейшему раскрытию (об'яснению) сущности процесса».

Мы видим отсюда, каким, собственно говоря, осторожным механистом был Больцман. Из наличия аналогии, доведенной до степени совпадения математической формы выражения процессов, он не решается сделать определенного вывода. Для истого механиста достаточны и не столь далеко идущие аналогии, ибо он априори убежден, что всякий физический процесс представляет собою ту или иную форму механического движения материи. Иногда некоторые механисты попадают впросак со своими выводами, но это нисколько не смущает остальных, ибо история науки действительно показывает, что в подавляющем большинстве случаев механическая дерзость теоретической мысли находит свое оправдание в важных открытиях таких, например, как волновая теория света Френеля или уравнения электромагнетизма Максвелла, которые были получены на основании определенной, многократно и резко критикованной, механической концепции.

Об'яснение причин исторического успеха механизма и обоснование философского значения механического миропонимания нами изложено в работе «Закон движения Энгельса», к которой и отсылаем читателя.

3. Цейтлин

¹ Речь идет об электромагнитном вращении плоскости поляризации света— это явление также обнаруживает вышеохарактеризованную аналогию.

О ДОИСТОРИЧЕСКОМ ПЕРЕСЕЛЕНИИ НАРОДОВ

(в связи с работой G. Wilke)

Анализ вопроса в яфетидологическом освещении

Все прибывающая и прибывающая иностранная литература определенно указывает на большой подъем в области археологических исканий и на значительное обогащение вновь добываемыми материалами.

И вполне естественно, что каждая свежая работа вызывает к себе исключительное внимание. Думается, обогатил ли он, этот новый наплыв материала, лишь количественно и качественно музейные коллекции Европы и Америки, или же ему суждено сыграть и не менее видную роль уяснения и уточнения самого хода исследовательской работы, устанавливавшей методы пока лишь по отрывочным и далеко не всегда связанным друг с другом данным.

До сего времени почти не допускалось и мысли о параллельном развитии форм, о зарождении культуры во многих местах. Став на путь искания прародины человека и прародины культуры, казалось бы, что археолог мог бы теперь смутиться притоком неизвестного ему прежде материала, приходящего теперь не из узких рамок какого-либо района, в котором, при этих условиях, можно было бы усмотреть очаг распространения культуры, а из самых разнообразных частей света, дающих при беглом на них взгляде впечатление сходства образцов, разбросанных чуть ли не по всему земному шару. Где же тогда прародина? И следует ли вообще затруднять себя поисками ее, когда место ее в точности не определяется археологическими находками, когда, к тому же, эти памятники, сходные в общих очертаниях друг с другом, не только широко раскинулись от одного океана до другого, но и по содержанию своему оказались настолько живучими, что в параллель древнейшим поделкам приходится ссылаться даже на современные нам изделия человека.

Вопрос весьма значительный, и все накапливающийся материал несомненно ставит его на очередь. Он стал и в антропологии—науке, работающей по заданию, многое раз'ясняющему в изысканиях археолога. Судя по вышедшей в 1926 г. книжке *Б. Н. Вишневого* «Происхождение и древность человека», целый ряд немецких ученых,

в числе их *Горст*, стоят за полигенизм, за множественность происхождения человека, но повидимому и это в точности не установлено, так как русский антрополог такового мнения не разделяет; он решительно высказывается за единство происхождения человечества, колыбель которого находит в Евразии и Африке, а древнейший центр на севере Гималайских гор.

Вопреки мнению многих немецких ученых, начавших во время минувшей войны издание специальных журналов, где рассматриваются вопросы полигенизма, *Б. Н. Вишневецкий* настаивает на едином пункте зарождения человека—в Азии. По его словам, «Азия соседит со всеми остальными материками, включая сюда и Северную Америку (через Аляску)». «Острова,—говорит он,—расположенные к востоку, некогда также составляли одно целое с ее материком. Великие реки Азии, стекающие в океаны в направлениях всех стран света, могли служить хорошими путями передвижения для первых переселенцев, покинувших свою прародину», и далее «отсюда (то есть с севера Гималайских гор) в разные стороны растекались древнейшие представители человеческого рода. Этому взгляду на прародину человека,—продолжает автор,—не противоречит то обстоятельство, что наиболее примитивные современные народы—австралийцы и африканские пигмеи—живут не бок-о-бок с колыбелью человечества, а на значительном от нее расстоянии. Они могли быть первыми переселенцами в более теплые страны, не выдержавшими суровых, степных условий жизни в Азии. Поэтому вполне естественно найти их в настоящее время на обширных пространствах Австралии и Африки, весьма удаленных от колыбели человечества»¹.

Все изложенное ясно отмечает, что зарождающийся человек и не мог себе выбрать более подходящего места для позднейших переселений. Тут же приложена и карта с наглядным указанием места прародины человека, откуда стрелами намечены пути расселения человеческого рас². Вновь появившихся в Германии защитников полигенизма *Б. Н. Вишневецкий* признает за высказывающих взгляды, «ничего общего не имеющие с наукою»³.

Все же мы не можем не отметить существенного разногласия в среде антропологов. Они не пришли к единому мнению, они очевидно еще не имеют в своем распоряжении достаточного материала для построения неопровержимых, всем убедительных выводов. Как же обстоит дело у археологов при их оценке нового притока свежих данных? Достаточно ли этих данных для сооружения зданий прежней архитектурной формы, или же сам план строительных работ по памятникам материальной культуры нуждается в изменении?

В этом отношении весьма любопытны мнения хорошо осведомленных лиц, старых опытных работников на археологическом поприще, руководителей работ и учителей археологии. Поэтому вызывает

¹ Цит. соч., 204—206.

² Там же, 207.

³ Там же, 202.

к себе значительный интерес появившаяся в 1923 году вторым изданием книга видного немецкого ученого G. Wilke, «Kulturbeziehungen zwischen Indien, Orient und Europa»¹.

Краткое ознакомление с нею и составляет тему настоящего моего сообщения.

G. Wilke в своей работе берет широкий географический размах, привлекая Среднюю и Западную Европу, Средиземноморский бассейн с Египтом, Кавказ и Переднюю Азию с севером и югом Персии, то-есть до Элама включительно, соседящий ему месопотамский мир, Индию, а на востоке доходит до Китая. В полном соответствии с этим и работа его носит название «Культурные взаимоотношения Индии, Востока и Европы».

В своем изложении он прослеживает сходство, родство как в памятниках материальной культуры, то есть по изделиям рук человека, так и в мифологии и в религиозных верованиях. Таким образом, он привлекает весьма обширный материал, который сопоставляет по содержанию его, а не по культурным векам; в связи с этим, материал распределяется в порядке изложения не по географическим районам. В результате получается весьма любопытная картина сравнения изделий вне зависимости от времени и места их изготовления, и толкование этих изделий с привлечением мифологического и религиозного материала.

Собрав материал по его внутреннему содержанию, автор в пределах сделанной группировки уже распределяет материал и по географическим районам и по так или иначе определяемой их древности.

Благодаря такому подходу мы прослеживаем сходное содержание предмета, или просто сходный предмет, в различных географических районах, и его же в различных культурных веках, то есть имеем и горизонтальную плоскость распространения и вертикальный разрез нахождения по культурным эпохам.

Рассматривая предмет таким путем, мы не улавливаем его окружения, совершенно не улавливаем его отношения к другим изделиям того же времени и того же места. Из поля нашего зрения уходит связь его именно с данным местом, но зато необычайно выигрывает показательная часть и сходные изображения, взятые из совершенно различных местностей и из различного времени, сопоставляемые к тому же в иллюстрациях, производят своего рода впечатление, например, такие, как изображения оленя из Кедабека (Кавказ), Микен, Подолья, Португалии (Los Milares) и со средневекового портала храма (стр. 114). И, конечно, часто сопоставляемые люди в масках с эскимосскими и бушменскими параллелями (стр. 168).

Эти голые сопоставления не представляют собою чего-либо нового. Напротив, это обычный прием, и я вовсе не хочу упрекать за него G. Wilke: многие так делают, доходя даже до сопоставления отдельно взятых из различных мест фрагментов сосудов, черепков с сохранившейся частью орнамента, углубляя этим широко принятый подход

¹ «Mannus», № 10, Leipzig, 1923.

сравнения не только целых предметов, оторванных от окружающих их изделий того же географического района, но даже частей предмета в сохранившихся обломках, по которым далеко не всегда можно установить и общую схему орнамента. Это широко применяет и G. Wilke, например, сопоставляя фрагменты керамики из Феста и Казинэ Элама (стр. 51, рис. 77), или Тере—Moussian'a и Петрен (рис. 75). Вся книга G. Wilke представляет собою сплошное применение сравнительного метода, и в результате получается довольно определенная картина.

Изложение книги делится по двум заданиям: прослеживание памятников материальной культуры и обзор материалов, извлекаемых из области духовной культуры. Но последняя глава богато иллюстрируется теми же вещевыми памятниками, благодаря чему первая глава сократилась до 70 страниц, предоставив второй 180. Здесь также цельность направленного исследовательского подхода не нарушена, и для иллюстрации европейских мифов приводятся изображения из Элама и из палеолита Мадлэн.

Вначале идет сопоставление форм каменных орудий от Индо-Китая до Испании. Далее следует обзор долменов и кромлехов от Индии до берегов Атлантического океана, при чем подчеркивается, что индийский мегалит в изобилии сопровождается железными находками, то есть более молодую культуру, чем европейский. Тут же, в Индии, постановка кромлехов прослеживается до наших дней.

Обзор керамики сосредотачивается на сравнении внешних форм сосудов с приведением соответствующих рисунков из Индии и Египта; Элама и Португалии; Испании, Трои и области Мадур в Индии и т. п. (стр. 30 и др.). Далее следует обзор орнаментированных сосудов, вернее, фрагментов их, в частности уже хорошо известных, может быть, и не всегда достаточно убедительных сопоставлений Анау, Элама и Петрен, к которым присоединяются изделия до Испании включительно.

Обзор пластики охватывает человеческие фигурки Индии, Крита, Майнца и др., с руками, сложенными на груди, или с одной рукой, закинутой на голову, а другой прижатой к животу.

Дается обзор одежды по фигуркам из Индии, менгира St. Sernin (Aveyron) и критской статуэтки (стр. 64).

Делается сравнительный очерк татуировки с изображениями того же менгира St. Sernin, Hissarlik-Troja и с современною нам татуировкою малайца.

Данные духовной культуры богаче разработаны и имеют большее число подотделов. Очерк в этой части начинается с предисловия, уясняющего нам и цель предыдущей главы. Тут приводится лейтмотив всей работы. Предшествовавший археологический отдел труда G. Wilke ограничивается сличением форм и стремится доказать сходство их на протяжении от Западной Европы до середины Азии во всяком случае. Здесь же, во второй главе, мы получаем возможность осмыслить сделанные сопоставления, осмыслить их, во-первых, тем, что такие же сопоставления могут быть сделаны и не в одной только части вещевых

памятников, а во-вторых, тем, что может быть выяснен и творец этой единой культуры. Им очевидно будет тот, кто старше.

Дело оказывается в том, что сходные мифы и религиозные представления, выступающие в Индии в Ведах и в изображениях браминов и буддистов, в Европе известны еще в медном веке, даже в чистом неолите. Следовательно, говорит G. Wilke (стр. 76), прародину индогерманцев нужно искать в Европе, мнение же de Morgan'a и Ed. Meyer'a о приходе их из Азии должно быть безусловно отброшено. Это заключение автора освещает все раньше им сказанное и дает руководящую мысль последующему. Так, считается, что весь археологический очерк, путем сравнения предметов и их фрагментов, установил общность культуры исследуемого района от Индии до крайнего запада Европы. Эта общность культуры может быть объяснена, по мнению автора, единым творцом ее. Этот творец не пришел из Азии. В то же время известно сравнительное богатство остатков каменного века в Западной Европе. Каменный век привлекался для сравнения в археологическом обзоре, следовательно, он входит в ту же культуру. В дальнейшем развитии своей мысли G. Wilke не задается вопросом, почему каменный век беден в Азии, он не задается вопросом о том, не беден ли он тут только потому, что восточный район материка Евразии мало обследован. Для G. Wilke достаточно констатирования факта наибольшего наличия в настоящее время в нашем распоряжении находок каменного века именно с Запада. Этого достаточно для того, чтобы, решив вопрос об обязательном наличии единого творца культуры, отнести прародину его в Среднюю и Западную Европу.

Остановившись на этом, нужно сделать и следующий шаг. Нужно точно назвать этого творца. В предисловии ко второй части он уже назван—это индогерманцы. Тут, в этом названии, мы уже предположительно можем найти и объяснение того, почему именно G. Wilke лишь отчасти привлекает к сравнению более восточный район, например, Китай, ограничиваясь главным образом пространством от Индии до берегов Атлантического океана Европы. Вероятнее всего, отвечает мне, что такой район уже сам собою предпрешен самим наименованием устанавливаемого творца культуры—индогерманцы.

Остается доказать, что они и есть творцы культуры; этому посвящен следующий очерк духовной культуры, богато снабженный археологическими иллюстрациями. Доказательство проводится следующим образом:

Куль предков, он же культ души. Он известен в сходных формах, между прочим и погребений и погребальных обрядов, в Индии, Персии, Эгейском мире. В Европе он заходит в каменный век. Прекрасною иллюстрацией служат менгиры и кромлехи; последние, как уже упоминалось выше, в Индии моложе, так как они там неразрывно связаны с железными находками. Следовательно, это индогерманский культ.

Куль солнца и месяца особенно ярко выступает в мифах и религиозных воззрениях индогерманских народов. В Европе он иллюстрируется памятниками очень ранних периодов, во всяком случае задолго до конца неолита. Крест в круге также считается солнечным

символом, он имеется над лежащим зебу в Индии, между завитками спиралей в Петренах, одиночно на скале в Португалии. Концентрические круги, следовательно, то же солнце, налицо в мегалитах от Индии до Alvão в Португалии. Сюда же привлечены эламские кресты с параллелями из грота Castillo в Испании. Сюда же отнесена и свастика, положим, с оговоркою, что ряд исследователей выводит ее вовсе не из креста, а из других фигур, в одном месте из человеческих, в другом из птичьих и т. д. Но автору важно единство толкования повсеместного происхождения рисунка из одной общей прформы, поэтому он останавливается на кресте, тем более, что в известный, более молодой период свастика несомненно связывается с солнцем. Так именно и говорит G. Wilke, как бы отбрасывая свастику предшествующих периодов (стр. 95). Лунная барка, мрачное судно для перевоза души, иллюстрируется между прочим и малайским рисунком. Далее, с культом месяца тесно связываются, а потому сюда же и привлекаются культ быка, рогов и двойных топоров. Изложенное дополняется ссылкой на богиню месяца и смерти ассирийскую Иштар-Астарту, само имя которой ныне определяется Хюзингом как арийское. Таким образом, здесь автор, в подкрепление своих мыслей, ссылается и на лингвистические анализы.

Куль животных. G. Wilke берет в основу индогерманские мифы, но делает выборку и не решается взять всех без исключения животных, упоминаемых в этих мифах. Он останавливается только на тех, которые представлены и на археологических памятниках района Индия—запад Европы, то есть на памятниках индогерманских. Таковыми оказываются:

Птица. Это—существо души. Она представлена у гроба Озириса, она стоит на алтаре в Hagia Triada, тоже в Микенах, в Сузах и т. д. и т. д. до неолита Европы (стр. 103 и др.).

Змея. Также животное души, но души, уже находящейся в преисподней. Иллюстрации в подтверждение европейского центра ее распространения—рисунки Элама и палеолита Мадлэн.

Кабан. Воспоминания о его культе еще до сих пор живы во многих местностях Европы. Рисунки из Alvao и Altamira.

Олень,—пережиток тотемистического представления. Это—солнечное существо, на нем скачет всадник из Alvão; кентавр-олень представлен на фрагменте этрусской вазы, его рога имеет кельтское божество. В греческой мифологии он преследует Артемиду (стр. 113). Всадник на олене появляется в европейских и индийских сказках. Мотив оленя хорошо известен еще с неолита Европы. Автор не решается категорически утверждать только о том, что рогатый человек представляет собою явный индогерманский мотив, так как есть основание предполагать, что это мотив прафинский, но прафинны, говорит немецкий ученый, и в языковом отношении и по этническому составу близко родственны индогерманцам (стр. 121 и др.).

Конь хорошо известен как в индийских, так и в европейских сказаниях. Коней приносили в жертву. Изображения коней, несомненно сакрального значения, известны в Европе из находок галльштадт-

ского периода. Автору не совсем ясно, почему конь связывается именно с солнцем, он допускает, что связь эта может об'ясняться только тем, что кони запрягались в солнечную колесницу (стр. 124).

Просматривая собранные материалы по культу быка, связываемого с месяцем и двойным топором, G. Wilke с большой долей вероятности полагает, что исходным пунктом движения этого широко раскинувшегося культа был западно-европейский мегалит.

Засим автор останавливается еще не менее подробно на козле, собаке, зайце, рыбе, жабе, бабочке и скорпионе. Это все животные, которые, оказывается, тесно связаны с европейскою прародиною индогерманцев. В подтверждение такого мнения приводятся козлы с эламских чаш и цилиндров, фигурки зайцев из Кипра и Готланда, рыбы с тиринтской вазы, они же с известного палеолитического рисунка вместе с оленями (Lorhet, Hautes Pyrénées), вплоть до изображения в *Historia Gotorum* (стр. 140). Изображение жабы усматривается автором между прочим на совершенно неясном рисунке сузианской печати (стр. 147), зато особая роль ее в мифах подчеркивается им как в индогерманских сказаниях, так даже и в китайских. Скорпион вероятно как существо, не выносящее холода, далеко на север не допускается; так, например, даже в кельтских сказаниях он совершенно неизвестен, но зато ему уделяется широкое место в греческой мифологии. Кроме того, скорпион хорошо представлен и на эламских цилиндрах; вероятно потому G. Wilke и привлекает его в ту же серию животных, изображения которых вышли из Европы.

Покончив с животными, немецкий ученый переходит к культу растений и деревьев. Им он уделяет значительное место, тем более, что этот культ связан с древнейшим тотемистическим представлением. Дерево имеется на древне-индийских изделиях вместе со свастикою и колесом, оно в изобилии фигурирует на памятниках Элама, Средиземноморья, в Европе в *Mas d'Azil*, *Laugerie-Basse*, то есть там, где мифологическую основу рисунка отмечают сопутствующие дереву многоголовый лебедь, крылатый змей и пр. Это дает повод автору относить дерево еще к охотничьему периоду жизни европейского обитателя, тесно связанного с тотемизмом. Дерево встречается в мифах всех германских народов и прекрасно дополняется тут же находимыми археологическими памятниками, которые, по словам G. Wilke, несомненно указывают на западное происхождение мотива дерева.

Того же происхождения, по его мнению, и культ камня и топора. В Индии камень играет особую роль до последнего времени. Известно, говорит автор, что окрашенные в красный цвет камни служат охранителями полей и защитниками детей. Священные камни с давних пор известны славянскому, кельтскому и германскому миру. По мифическим сказаниям, от них рождаются герои, в частности, от камня родился и Митра. Камни культового значения богато представлены в Испании, Закавказье и пр.

Особое внимание G. Wilke обращает на культ демонов и на изображения демонических существ, хорошо известных в Индии, в бронзовом веке Персии, в Эгейском мире, в неолите Средней Европы и

в западно-европейском палеолите. Автор подчеркивает, что здесь явно, и может быть более ярко, чем где-либо, выступает хронологический приоритет Европы перед Востоком. Он указывает, что даже сама схема становится все древнее и древнее по мере просмотра материала с востока на запад. Мало того, и что наиболее важно, G. Wilke подробно ознакомился с этою целью и с литературою и с музейными коллекциями, он совещался с музейными работниками Германии и вполне убедился, что сверхестественные изображения демонов представляют неотъемлемую собственность только индогерманцев и народов, находившихся под их непосредственным влиянием. Этой показательной главе посвящается 40 страниц.

Сюда же относит автор и маскированные фигуры людей, отмечаемые исследователями еще в палеолите *Altamira*. Правда, говорит G. Wilke, некоторые ученые, например, *Piette*, хотели видеть в них *pithecanthropus*'а, но *Булль* и *Дешелетт* усматривают тут человека со звериною маскою наподобие эскимосских и бушменских, рисунок которых для наглядности помещается рядом (стр. 168 и др.). От фигур человека со звериною маскою G. Wilke, вполне разделяющий мнение двух приведенных исследователей, переходит к комбинированному рисунку человека-зверя, человека-птицы, человека-рыбы и т. д., а затем к неестественным фигурам человека без головы (стр. 192), или, наоборот, к многочленным существам: трехногим животным (Элам), хвостатым людям (*Laugerie-Basse*), двухговым существам, многоруким и многоногим, особенно богато представленным между прочим в Китае. На создание таких изображений влияло, по словам автора, нарощение существ уродов, фотографии которых и прилагаются параллельно приводимым памятникам материальной культуры. И тут G. Wilke приходит к неизменному выводу, что во всех этих демонических изображениях выявилось типичное индоевропейское представление (стр. 247 прим.).

Не безынтересны также, продолжает он, изображения отдельно взятых рук и ног человека и животных, которые наличны и в сказаниях всех индогерманских народов. Они представлены на долменах северо-западной Европы, в большом числе в Средиземноморье, в Индии и Персии.

Обзор заканчивается главою о музыке и танцах, снабженной рисунками музыкантов и музыкальных инструментов, как-то: мегалитических барабанов, к числу которых, по аналогии с малайскими, виденными самим G. Wilke, закавказскими и северо-персидскими, он относит и так называемые бинокли Триполья, Венгрии и Галиции. К числу танцующих фигур причислены и статуэтки с воздетыми руками из Камунты и других районов Северного Кавказа, равным образом и идолы второго города Трои. Это, по словам G. Wilke, религиозный танец, отмеченный еще в палеолитическую эпоху *Altamira* и грота *Кугул* (стр. 238).

Обзор материала закончен. G. Wilke считает, что общность внешнего проявления культуры человека от Атлантического океана почти до Великого и, во всяком случае, до Индии установлена, при чем

это утверждение равным образом относится и к векам камня и к последующим векам металла. G. Wilke не ограничивает своего исследования одними только вещевыми памятниками, напротив, мы видели, что обзор археологического материала дополнен обзором мифологического и что оба они, вполне согласно друг с другом, приводят автора к указанным выводам.

Следует заключительная часть, не менее интересная, чем сами главы основного изложения. G. Wilke устраняет всякую недоговоренность и в нескольких словах дает резюме сказанному: культура одна, ее носитель один, исходный пункт движения тоже один. Таким образом выяснено все, кроме вопроса о причинах такого широкого распространения единой культуры единым ее творцом из единого места.

G. Wilke коснулся и этого вопроса. Ход его мысли следующий: об'яснить такое сходство форм мифологических и искусства на таком большом протяжении зарождением их на местах в различных районах и случайным их совпадением нельзя. Этим можно было бы об'яснить совпадение форм, вызванных своим появлением одинаковым действием на человека небесных и земных явлений. Но сходство, говорит G. Wilke, идет гораздо шире и затрагивает такие области, как религиозные верования и мифы, совпадающие в различных, весьма отдаленных друг от друга местах до мельчайших подробностей. Когда же к этому присоединяется и археологический материал, уходящий в Средней и Западной Европе до неолита и даже палеолита, то приходится ставить вопрос о прародине, где выработались основы, переносимые затем в другие места уже в готовом виде, в противном случае, такого разительного совпадения получить не могло бы. Следовательно, это предположение о параллельном зарождении сходных форм в различных местах отпадает.

Можно себе представить, продолжает G. Wilke, еще другой способ переноса культуры, именно движение ее путем торговли, но и это тоже отпадает, так как передача из рук в руки таких хрупких предметов, как глиняные сосуды, невозможна, и еще труднее можно допустить перенос торговых путем религиозных верований, архитектурных форм и мифологического элемента. Отпадает, по мнению G. Wilke, также и медленное, переходящее от соседа к соседу, влияние, так как при нем не могла бы сохраниться такая цельность. Остается переселение.

Как обстоит дело с этническим определением носителя культуры? Индийские мегалитические погребения не дают материала для суждения, так как в них имеется трупосожжение. Но эпоха, соответствующая европейским каменным сосудам, уже дает определенный тип, притом резко отличающийся от азиатского, но родственной западно-европейскому кроманьону. Такой же тип найден в Месопотамии (Ниппур) и в Мизии (Yortan-Kalembo). Следовательно, делает свой вывод G. Wilke, в основе лежит кроманьон, пережитки которого имеются и в скандинавском неолите, сохранившемся в общих чертах и до наших дней. Таким образом, заключает немецкий ученый, мы должны в кроманьонах видеть пра-индоевропейскую народность.

Археологический и мифологический материалы указывают на них же, или, точнее, на выделившихся уже мешанных по своему составу индогерманцев, как на носителей культуры.

Дух предков, уходящий в палеолит, культ солнца и месяца, звериный культ, культ дерева и камня на материке Европы уходят в каменный век и представляют неотъемлемую собственность индогерманцев. В особенности культ демонов, наблюдаемый только у германских народов и у народов, непосредственно находившихся под их влиянием.

В итоге всех делаемых выводов, G. Wilke приходит к заключению, что и археологический и мифологический материалы указывают на Среднюю и Западную Европу как на прародину индогерманцев. Отсюда и пошла культура, оставившая свой след на Востоке, в Индии и дальше.

Остановившись на Средней и Западной Европе как на прародине народа—носителя мировой культуры, G. Wilke уточняет свою мысль о самом ходе движения единых культурных форм с одного места в другие страны света. По его словам выходит, что если течение культуры с Запада на Восток не могло идти путем торговли, то, следовательно, оно шло путем переселения. Движение это связывало Восток с Западом и немедленно же вызывало обратное течение, но на этот раз уже торговое, с Востока на Запад, к прародине индогерманцев, ими окончательно не оставляемой. Таким путем еще в неолитический Рейн, во Францию и даже Испанию попали раковины Персидского залива и Индийского океана (стр. 249).

Переселения происходили как в века камня, так и в века металла. Поэтому, говорит G. Wilke, проникновение железа из Индии в Европу легко об'яснить обратной волною после повторного в века металла движения индогерманцев по тому же направлению.

Всю свою работу немецкий ученый опять заканчивает ссылкой на лингвистические данные, именно на выводы Brunnhofer'a, сопоставившего греческое *σίδηρος* железо с этническим термином *Σίνδοι* или *Ἴνδοι*.

Настоящая моя заметка имеет в виду не одну только работу G. Wilke, носящую заголовок *Kulturbeziehungen zwischen Indien, Orient und Europa*. Мне в нем, в этом труде, интересно то общее положение исследовательских изысканий над памятниками материальной культуры, которое выдвинуло перед ученым миром довольно существенный вопрос, требующий скорейшего разрешения, так как без определенного на него ответа продолжает оставаться неясным сам процесс человеческого культуротворчества, и возбуждает серьезное сомнение в своей правильности сам подход к изучаемым вещевым памятникам.

За последнее десятилетие все разрастающийся интерес к археологическим работам связывает различные части света однообразием находок и теперь идет речь не только о пиктографическом письме Индии, но даже о керамических находках в Китае, поддающихся

по своему орнаменту сопоставлению с крашеной керамической индустрией Передней Азии и Европы, в частности с эламской и трипольской. Широкий размах географического района и углубление в доисторические слои откинули как будто бы возможность фиксации в едином месте культурного очага. На очередь стал вопрос о том или ином разрешении обнаруживаемого необычайного явления внешнего совпадения форм, в корне противоречащего продолжающемуся до сего времени делению на культурные и некультурные страны, с поисками определенного доисторического центра, откуда лучами в разные стороны пошла культурная волна.

Названная книга G. Wilke наиболее характерна как очередная, и, вероятно, к сожалению, не последняя попытка устоять на прежних позициях и не смутиться от наплыва нового материала. Давно проложенный путь к пониманию культуротворчества даже доисторического человека, путь, намеченный по малочисленным, часто оторванным друг от друга материалам, с громадными лакунами, и по промежуточным географическим районам, и по смежным культурным наслоениям, все же оставался единственным исходным пунктом исследовательской работы и стал своего рода аксиомой, под которую подгоняется, хотя бы и насильственно, все, что вновь попадает в руки археолога. В результате мы почти стоим перед опасностью заставлять доисторического человека мыслить и поступать так, как думает и делает человек двадцатого века.

За границу, да и у нас, в последнее время появляется не мало исследовательских трудов по археологии, учитывающих богатый наплыв нового материала, но не меняющих традиционных точек зрения и даже, казалось бы, не видящих в этом никакой необходимости. Что же касается названной работы G. Wilke, то прекрасно осведомленный и высоко талантливый немецкий ученый отразил в своем труде последнее направление мысли дирижеров исследовательской работы над археологическими памятниками, оттенив при этом и локальный патриотизм последователей G. Kossinna.

Из выдвигаемых им же четырех возможностей наличия сходных проявлений культуры в различных районах земного шара, именно развития на месте при одинаковых окружающих условиях, медленного культурного влияния, торговли и переселения народов G. Wilke решительно останавливается на последнем. И здесь он конечно не новатор, напротив, он становится или, вернее, продолжает оставаться на пути, намеченном еще его предшественниками, на которых он и ссылается, упоминая такие известнейшие каждому археологу имена, как Kossinna, Much, v. Lichtenberg, Déchelette und zahlreiche andere Forscher.

Поиски очага мировой культуры шли параллельно с поисками самих памятников в недрах земли. Стоило археологам наткнуться на какой-нибудь пункт и найти там жилые остатки, а тем более развалины городского поселения, как к их личному национализму присоединялся еще и национализм данного археологического пункта. с увлечением культурой Передней Азии засияло солнце Востока;

с усилением работ по до-истории Европы—центр цивилизации переселился на Запад. Появившаяся одно время оппозиция европеизму выдвинула Шумер и Элам, исследователь которого de Morgan помещает в Premières Civilisations весьма наглядную карту распространения крашеной керамики из Сузианского очага. Но вот новое усиление индоевропеизма и раскопка каких-нибудь двух курганов у Анау близ Асхабада дали Pompelly достаточный повод ту же крашеную керамику повести с западного Туркестана, поместив сюда же древнейшую индоевропейскую стоянку. Сбитый с места, несчастный центр цивилизации начал носиться из одного района в другой, и только длительным и упорным трудом сдерживается его полет и производится прикрепление его. Одним из ярких отражений такой титанической работы и является G. Wilke. В результате кропотливого труда немецкий ученый мир видит в носителях средиземноморской культуры и распространителях крашеной керамики индогерманцев, которым и обязано культурное население своим пышным развитием. Но кто же были эти индогерманцы, каким путем и откуда шло переселение?

Вопрос о германцах весьма сложен. Еще недавно мы слышали, что они в Средней Европе сравнительно недавние пришельцы. На основании лингвистической проработки финских языков оказалось, что они образовались на местах древне-чудского населения, которое само стало собственником части северной половины Европы только за несколько веков до начала наших дней¹. G. Wilke не знал этого угрожающего его теории положения, да если бы и знал, то едва ли бы имел серьезное основание смутиться им, так как лингвистический анализ не может ограничиваться узкими рамками одной семьи языков и, принимая на себя более широкие задания прослеживания смены культурных наслоений, оторванный от археологического материала, оказывается, как и в данном случае, неточен. Им затронут подслы исторического населения, но без достаточной характеристики этого подслы; без прослеживания его глубины и притом с обязательным учетом переселенческой волны. И как ни странно может показаться, но именно в этом последнем, в вопросе о переселении, прагматическая теория разошлась с прагерманской.

Прослеживая переселения по Европе и Азии, прагерманисты оставляют незыблемым один пункт, который и определяется как Heimat des indogermanischen Urvolkes. По другим местам шли доисторические переселения народов, но в этом месте их не было. Данные религиозного мышления, говорит G. Wilke, и археологический материал с несомненностью указывают на европейскую, именно западно-европейскую родину индогерманского пранарода (стр. 248). Здесь они, индогерманцы, идут прямо в глубину истории и доходят до кроманьонов, в которых мы das indoeuropäische Urvolk erblicken müssen (стр. 244). Если же древнейших обитателей Мизии (Иордан-

¹ Работы последнего времени Д. В. Бубриха и доклад его, читанный в Гос. акад. ист. мат. культ. в Секции генетики культуры.

Калембо), Месопотамии (Ниппура) и Индии отнести к той же этнической разновидности, как и обитателей неолитической Скандинавии, которые in ihrer überwiegenden Mehrzahl der Cro-Magnonrasse auf das allernächste verwandt erscheinen und als direkte Abkömmlinge von ihnen aufzufassen sind, то и в них, в древних обитателях Мизии, Месопотамии и Индии мы должны die Indogermanen erblicken (стр. 243—244). Таким образом, G. Wilke, наконец-то, разрешил сложный шумерский и эламский вопрос. Они, шумеры и эламы, оказались индогерманцами. И в этом своем решении, подкрепленном многочисленными ссылками на мифологический и археологический материал, он далеко не одинок: он имеет предшественников, хотя бы в лице Hein, и преемников, к числу которых относится и Autran¹.

Впрочем, нужно быть справедливым в оценке данной работы, следует отметить, что G. Wilke уже не столь заядлый патриот индогерманизма, он допускает, что от кроманьонов могли произойти и другие «группы народов», но они, эти последние, in späteren Perioden vollständig verschwunden sind или же потонули в каких-то иных, совершенно не определяемых автором каких именно, народных массах, in anderen Völkern untergegangen sind, так что от этих последних не осталось и следа, пережиточно же сохранились только индогерманцы.

Но сам же G. Wilke говорит, что пережитки кроманьонов имеются не только в средней Европе. Спрашивается, как же об'яснить наличие этих пережитков кроманьонов в различных частях света? Очевидно, переселением. Так и отвечает Wilke (ib.). Следовательно, исходный пункт движения найден, остается проследить пути движения и установить хотя бы приблизительную хронологию. С этой задачей немецкая школа Mannus'a справляется с полною уверенностью. Впрочем, на пути исследовательской работы встает одно существенное затруднение. Переселяться можно, но всегда ли в одну только сторону? Кроме того, культурный очаг прослеживался учеными не только на Западе, но и на Востоке, при чем представители обоих направлений оказались одинаково убедительными, первые отстаивая западные мотивы в Азии, а последние—восточные в Европе. Чтобы настаивать на западной прародине, нужно опрокинуть восточную теорию, или же обойти ее, к тому же, переносу, в буквальном смысле этого слова, плохо поддаются такие хрупкие предметы, как глиняные сосуды, so zerbrechliche Gegenstände, wie es die vorgeschichtliche Tongefäße sind (стр. 243), между тем, именно по крашеной керамике прекрасно прослеживается родство культур чуть ли не от берегов Великого океана до Днепра и далее на запад и юг, притом еще в доисторические времена. Kossinna и Wilke нашли неожиданный, но очень простой выход, признав движение в обе стороны, но

¹ Hein M., Sumerer und Indogermanen, «Mannus» № 11—12 (1919—1920), Die ältesten indogermanischen Sprachreste, OLZ, 1921, 250—258. Autran Ch., Sumérien et Indo-Européen, предисловие к этой работе, под заголовком «Aperçu de l'histoire linguistique du sumérien», помещено в каталоге Ephémérides Bibliographiques 80, Septembre, 1925 (Librairie orientaliste Paul Geuthner).

сохранив переселение только в одну. Оказывается, что jede grössere Völkerwanderung sofort in umgekehrter Richtung laufende Handelsbeziehungen auslöst (стр. 249) и это было еще in rein neolithischer Zeit.

Таким образом выяснены причины совпадения форм неолитической культуры Европы и Азии: они разнесены движением индогерманцев, потомков кроманьонов, с Запада на Восток; занесение же восточных мотивов на Запад есть непосредственное следствие этого движения, так как за переселенческой волною незамедлительно следовала торговая волна в обратную сторону.

Остается разрешить вопрос о культурных связях в более молодую эпоху веков металла. Здесь G. Wilke подкрепляет свои положения ссылкой на лингвистические работы Brunnhofer'a, доказавшего анализом терминов, что железо есть «сидерийский, то есть индийский металл» (стр. 250). Следовательно, Европа обязана Индии своим железным веком. Выходит, как будто бы, что на этот раз движение шло с Востока на Запад. Ничего подобного. Передвижение шло по тому же пути с Запада, с родины индогерманцев, и если железо попало в обратном порядке, то именно потому, что всякое переселение вызывает обратное движение. Оказывается, что появление железа в Европе было не чем иным, как unmittelbare Folge der vorausgegangenen, nach Osten strebenden Wanderungen der arischen Völker (стр. 249).

Но мы ведь только что видели, что индогерманцы уже были налицо в Индии задолго до этого движения, предшественника железного века, что они, потомки кроманьонов, пропутешествовали туда еще в века неолита. Это нас ничуть не должно смущать, говорит G. Wilke. Он, на этот раз уже в примечании, раз'ясняет, что их смешивать ни в коем случае не следует. Куда же девались первые? Невольно напрашивается самое бесхитрое об'яснение: вероятно ушли. Если мы обратимся к страницам труда Wilke, то к большому смущению увидим, что мы попали в точку. Als diese (последняя индогерманская волна) den Boden Indiens betreten, waren jene gewiss schon längst wieder abgezogen oder in der Urbevölkerung aufgegangen (стр. 244). Не смущает Wilke и то, что сами индийцы могли получить знакомство с железом с более далекого Востока, из Китая. Что же такого! Мы ведь знаем, что europäische Kulturelemente ihren Weg selbst bis Japan fanden (стр. 95, 249). Если же индогерманцы дошли даже до Японии, то что же удивительного, что и эти Kulturbeziehungen auch in umgekehrter Richtung stattgefunden haben (стр. 250), и железо попало от китайцев к берегам Индийского океана, а оттуда в Европу.

Картина получается как будто стройная и аналогии культуротворчества Европы и Азии раз'яснены. Хуже было бы, если бы родственные проявления этого культуротворчества оказались вне шаблонного пути из Европы в Азию с Запада на Восток через Персию и Белуджистан и через Персию прямо bis in das indische Megalithgebiet (стр. 242), например, в Африке. Казалось бы, что эта часть света излишня и что привлечение ее материалов нарушит цельность построения, возбуждая сомнение в том, не появляется ли сходная культура везде, где копает лопата археолога. К сожалению, исследователи забрались

и в Африку, и как раз в тот момент, когда G. Wilke читал корректуру настоящей своей работы, L. Frobenius нашел в западном Судане и у иорубов *ausserordentlich auffallende Analogien zum alten ostmittel-ländischen Formenkreise*. Но немецкий ученый видит в этом *nur eine Bestätigung des soeben aufgestellten Satzes*, так как при ознакомлении с вещами, доставленными из Африки в европейские музеи, получается, по его словам, впечатление *dass wir es hier mit den Ueberlebsehn eines uralten, aus den Ostmittelmeerländern hier abgesetzten Kultur-niederschlags zu tun haben* (стр. 247).

Впрочем, Wilke в своем пан-индогерманизме не выдержал последовательности до конца. Хотя он и говорит, что индогерманцы несут в себе кроманьона, но цельность расы он не доводит до палеолита и даже отрицает саму цельность в индогерманцах. Тут мы с большим интересом узнаем, что он, вопреки мнению некоторых ученых, далек от мысли *die nach ihrer Loslösung von dem Urvolke in die Erscheinung tretenden indogermanischen Einzelvölker mit einer bestimmten Rasse identifizieren zu wollen*, и признает, что даже еще не дифференцировавшийся в языковом отношении индогерманский народ, еще в неолите, не представлял уже однообразной этнической массы и должен быть *als Rassenmischung aufzufassen* (стр. 96, 244).

Это кажущееся противоречие в работе G. Wilke представляется, по моему мнению, наиболее ценным. Исследователь ведет развитие народности от кроманьона до века железа следовательно и далее до наших дней, он прослеживает процесс развития на определенном районе, подчеркивает сходство орнамента, сюжетов мифологических и религиозных мотивов, оттеняя их пережитки в последующих эпохах. Для него это—цельная непрерывная линия, лишь видоизменяющаяся в процессе жизни культуры; он даже признает время выделения индогерманцев в языковом отношении. Таким образом, независимо от своего локального патриотизма, Wilke вынуждается наличным материалом к признанию определенной стадии образования индоевропейской речи и ее ответвления индогерманской. Индоевропейцы не пришли сюда, не свалились с неба, но лишь «дифференцировались», образовав определенную индогерманскую народность. Далее, он подробно останавливается на «бесспорно, по его словам, индогерманских» культе души (стр. 77 сл.), солнечном и лунном культах (стр. 83, 97), культе зверей, в числе их птицы, змеи, оленя, коня, собаки, рыбы, скорпиона и др. (стр. 102 сл.), культе деревьев и растений (стр. 150 сл.), культе камня и топора (стр. 160, 163), на демоническом культе (стр. 166 сл.), на человеке-звере и многочисленных существах (стр. 167, 181). Все это индогерманский культ, часто уходящий корнями в палеолит. Даже хорошо известные человеческие фигурки с воздетыми руками оказываются чисто индогерманскими (стр. 236 сл.). Но мы знаем, что все это хорошо известно и в Месопотамском мире и в Китае, это хорошо известно и самому Wilke (стр. 219, 221 и др.), но не противоречит его построениям, поэтому он в своем в высшей степени интересном изложении ссылается и на Элам и на Китай. Даже такие своеобразные изображения как фигуры демонов он усматривает только

у индогерманцев и у народов, находившихся непосредственно под их влиянием, в чем его в полной мере поддерживает проф. Weule и хранители Лейпцигского Museums für Völkerkunde (стр. 247).

Я не могу отрицать того, что G. Wilke здесь вполне последователен, я не буду также оспаривать и намечаемого положения об образовании индогерманских языков из предшествующих языковых стадий, так как выходит, что пра-индогерманцы были повсюду. И против этого я спорить не буду. Но не удобнее ли будет заменить смущающий термин другим, менее связывающим с определенной территорией, например, одним из библейских.

G. Wilke этого не делает и сделать не может, потому что он сознательно останавливается на термине, принятом немецкою школою, именно потому, что этот термин связан с данным географическим районом и с данным народом, единственным культурным народом, неоднократно посылавшим переселенческие волны с Запада на Восток, но никогда не покидавшим окончательно своей прародины: отсюда только уходили эти волны, но сами индогерманцы не оставляли своего насиженного места.

Таково содержание одной из последних сводных работ по археологии, вплотную подошедшей к вопросу о культуротворчестве и потонувшей в переселенческих волнах.

Если убедительно переселение народов в том виде, в каком рисует его один из наиболее ярких представителей западной школы, то пока индогерманизм должен оставаться в силе и археологи могут продолжать свой исследовательский труд в прежнем направлении. Если же оно не в достаточной мере убедительно, то придется искать иного метода подхода к вещевым памятникам.

Яфетидология не отрицает ни возможности заимствования отдельных форм, ни влияния одной культуры на другую. Яфетидология вовсе не отрицает и переселения племен даже, как одного из факторов переноса культурных форм, но она не может примириться с тем положением, что только одно из слагаемых является действительным фактором культуротворчества, что только переселение является таковым главенствующим фактором. Яфетидология не может смотреть одинаковыми глазами на исторически известное явление и на доисторический памятник. Период до-истории, захватывающий десятки тысячелетий, не может рассматриваться как единое однообразное целое, противопоставляемое только историческому периоду. Первый сам делится на ряд стадий культурного развития с развивающеюся, далеко не всегда одинаково, общественной обстановкою жизни человека. С этой стороны сам доисторический период, более чем какой-либо другой, нуждается в делении на стадии. В то же время, если исторический период освещается, хотя бы и не всегда точно, историческими письменными памятниками, то до-история на одном только вещевом материале далеко уехать не может, а, может быть, и наоборот, может уехать слишком далеко, переселением из Европы к берегам Великого океана. Вещевой памятник может быть осмыслен пониманием обстановки, его создавшей. И здесь археолог бессилен, если

он не пытается уловить эту обстановку на других проявлениях духовной жизни человека, в первую очередь тех, где это можно проследить с известной долей ясности. Археолог должен знакомиться с жизнью языка, палеонтологией речи, которая приподымает темную завесу до-истории, работая над материалом, не менее для этого подходящим, чем отдельные серии доисторических памятников материальной культуры. И именно тут переселение, как главенствующий фактор культуротворчества, вовсе не всегда находит себе опору. В переселении можно усмотреть отдельный эпизод, но не общее правило.

Засим, яфетидология безусловно отказывается от возможности резкого деления народов на культурные и некультурные и присвоения основ культуротворчества одной излюбленной народности. Человек, с нашей точки зрения, везде мог обладать культурным импульсом. Формы культурного мышления и проявления его воле, в религиозной жизни, в общественном обиходе и в изделиях рук человека, как и в самом языке, могли развиваться и развивались вне зависимости от одних только кочеваний. При чем сходные формы могли появиться и от чисто внешних условий одинаковой обстановки и условий жизни, чего не отрицает и сам G. Wilke (стр. 247), но чему он в общем процессе развития не придает не только достаточного, но даже почти никакого значения.

Медленное просасывание культурных форм сталкивалось и с переносом отдельных образцов торговым путем и с массовым в одиночных случаях переносом их передвигавшимися народами. Просасывание это конечно шло не с одного места, и создание народа-любимца, наделенного в ущерб другим всеми благами культуры, представляется нонсенсом, так же, как в высшей степени натянутым кажется и такое утверждение, как отрицание жизнеспособности других, кроме индогерманцев, расовых ответвлений кроманьона. Находки сходных по внешности образцов и немедленное затем сопоставление их с аналогичными по внешнему виду образцами других стран света, без ближайшего ознакомления с самою местною культурою, представляется нам пагубною методологическою поспешностью, ни к чему не приводящею и ничего не доказывающею, как это мы видели, например, на образцах крашеной керамики и на сравнении отдельных поделок палеолита.

Предмет, хотя он и был неодушевлен, но он одухотворен создавшею его жизненною обстановкою, и отрывать его от этой обстановки нельзя. Сравнительный метод, взятый отдельно без учета других подходов, оказывается более пагубным, чем предвзятые мысли об едином центре культуры, более пагубным по той причине, что именно благодаря ему и занял такое главенствующее положение пресловутый центр цивилизации.

Чтобы быть правильно понятым, я считаю нужным оговориться: я далек от мысли делать одному только G. Wilke упрек в одностороннем освещении подобранного им материала. В конечном итоге не G. Wilke тут имеется мною в виду, а то господствующее в науке направление, каковое неизбежно приводит к выводам, сходным с теми,

которые так ярко выражены в недавно вышедшем втором издании его труда. Смелый подход к темным вопросам до-истории, не менее смелые суждения о культурных способностях человека чуть ли не по единичным находкам, во всяком случае полная готовность судить о нем, не дожидаясь накопления материала, и уверенная речь о влиянии культур, обоснованная на стилистическом анализе. В итоге — об'единение всего культуротворчества и поиски виновника его развития в едином очаге человеческой культуры. Таково направление исследовательской работы не одного только названного немецкого ученого. И если в области лингвистики теперь даже в кругах индоевропейцев начинают раздаваться голоса, признающие праязык не реальною действительностью, а рабочею гипотезою, то археология в своем взгляде на прародину отстала даже и в этом отношении.

G. Wilke только один из выразителей этого слишком широко распространенного научного течения, и притом распространенного далеко не в одной лишь Германии. Как крупный археолог, большой знаток древностей и безусловно талантливый исследователь, он ясно и решительно в целом ряде своих трудов высказывает то, что у многих других, иногда менее ярких и менее талантливых, ученых только чувствуется в ходе их научных изысканий.

Взятый нами пример, казалось бы, ясно подчеркивает, что одним стилистическим анализом и сравнительным методом руководствоваться рискованно. Сюжет и его трактовка легко могут ввести в заблуждение тем более, что доисторические памятники не поддаются еще такому строгому аналитическому подходу, как памятники высокого искусства, в которых улавливается даже индивидуальная черта того или иного мастера. Примеры этому мы находим чуть ли не на каждом шагу. Так, взятая отдельно какая-нибудь закавказская поясная пряжка может дать впечатление китайского изделия, и именно такое усмотрено *Фурманом* в одном из ее экземпляров, попавших в Кельнский музей без обозначения места находки¹. Здесь мы видим ошибку, оправдываемую тем, что *Фурман* не знал других сходных образцов с Кавказа, нам хорошо известных и по печатным работам и по кубачинским поделкам², но сколько таких же ошибок продолжают оставаться невыясненными и запутывающими самых добросовестных исследователей.

Отсюда же идут и тщетные попытки связать сходные стили изделий различных мест земного шара и, не прослеживая генетики их,

¹ *Fuhrmann E.*, Das Tier in der Religion München, 1922, рис. 60 на стр. 136.

² В 1926 г. Бакинский музей приобрел несколько таких поясных пряжек, изготовленных в Кубачах, на что указал и сам продавец. Равным образом, в Эриванском музее хранится коллекция этих же пряжек, купленных директором Музея *Лалояном* в Тифлисе как поделочные. Большинство пряжек, хранящихся в других музеях, а равно изданные *П. С. Уваровой* в Мат. Арх. Кавк., VIII и собрания *С. Апет*, частично опубликованного *А. А. Миллером* в Изв. Ак. ист. мат. культ., II, не имеют точного обозначения места находки. То же самое и с пряжками Музея Грузии, но в Тифлисском этнографическом музее, судя по описи, некоторые найдены в могильниках сел. Кацхи и Зацхере, верхней Имеретии (№№ описи 1273, 3230, 141).

улавливать родственные их между собою отношения. Далее, став только на точку родства, логическое мышление археолога неизбежно повело к поискам единой прародины, единого очага мировой культуры, так же как и определенная школа антропологов ищет единого места зарождения человека, самым естественным образом помещая его туда, откуда человеку легче и удобнее будет расселяться по всем странам света.

Таким образом, и археология и антропология упираются в сложнейший вопрос, едва ли поддающийся категорическому разрешению при имеющемся в нашем распоряжении малочисленному материалу, к тому же они приближаются к этому вопросу с несомненно неправильным методологическим подходом. Возьмем одно из принятых положений—переселение. Мы вовсе не отрицаем переселения племен, но что нужно понимать под ним, когда речь идет о веках, предшествующих металлам? Почти все исследователи признают, что движение народов в века камня не походило на бурные нашествия исторических времен. Принято полагать, что человек за десятки тысячелетий до начала нашей эры двигался медленно, тысячелетиями, с длительными остановками по пути. Иногда, говорит О. Хаузер¹, переселявшиеся народы оседали и несколькими поколениями жили на одном месте, а потом снимались с него и двигались дальше. Если это действительно так, с чем согласно большинство исследователей, то движущийся человек несомненно встречался на пути своего следования с другими обитателями проходивших им местностей и очевидно входил в те или иные сношения с ними, говоря проще, смешивался с ними. И процесс этот совершался неоднократно. В таком случае неужели можем мы говорить о цельности народной массы, передвигавшейся при таких условиях тысячелетиями с одного пункта в другой? Наоборот, скорее всего следовало бы признать, что вышли одни, а дошли другие. Что же тогда может нам дать переселение в общем вопросе культуротворчества, переселение в обычном узком его понимании, как стихийное движение сформировавшейся массы, несущей свои начала культуры с одного края света в другой?

Переселение в таком его понимании будет показательно лишь в том случае, если мы примкнем к мнению таких исследователей, как Генри Осборн², видящего в движении кроманьонов всеокрушающую волну. По его представлению, они, придя в Европу, полностью уничтожили застигнутых здесь неандерталов и были настолько последовательны в этом своем действии, что даже изменили обычая убивать мужчин, оставляя живыми женщин. Нет доказательств тому, говорит Осборн, чтобы «неандертальские женщины были пощажены и получили разрешение остаться в стране». При таком положении конечно кроманьон мог избавиться от скрещения и в связи с этим сохранить свою цельность при переселении с Востока на Запад. Но, спраши-

¹ Хаузер О., *Urmensch und Wilder*, Berlin, 1921, стр. 15—16.

² Осборн Г., *Человек древнего каменного века*, 1 изд. 1915 г., 3 изд. 1921 г., русск. перевод 1924 г. Цитаты из последнего, стр. 203, 210—212, 214.

вается, на чем именно основаны заключения американского ученого, приходившего к категорическим выводам о том, что массою передвигавшийся пришелец повсюду имел «приказ» убивать женщин, и что последние нигде не получили «прав жительства» в покоряемых странах? Кроме того, если кроманьон действительно обладал такою ненавистью к другим расам, то как следует понимать слова Осборна¹, что эволюция кроманьона совершилась где-нибудь на материке Азии? Какая это эволюция? В чем именно она состояла, принимая облик ориньякской культуры? И не остается ли предположить, что убийственная, в буквальном смысле слова, ненависть его была только по отношению к неандерталам? Так повидимому думает и О. Хаузер, предполагающий, что неуклюжий, звероподобный неандертал, потомок гориллы, не мог сопротивляться ловкому ориньякцу, потомку орангутанга, обладавшему метательным орудием². Все же, как мы видели, эволюция не отрицается и кроманьоны где-то на Востоке сформировались в обособленную расу: процесс их развития там где-то закончился и явились они в Европу уже, как определенная раса. Исследователи не сходятся только в вопросе, откуда они пришли, так как мнение Осборна о приходе их из Азии вовсе не является общепризнанным, так, например М. С. Буркитт видит в них пришельцев из северной Африки³. Ход мысли вполне логичный потому, что нельзя же отрицать того, что если народ пришел в одну часть света уже готовым, то он сформировался в другой части света, а единственными близкими к Европе другими частями света будут только Азия и Африка. На вопрос же о том, как они сформировались, из чего они вышли, следует вполне ясный ответ: сформировались они или в Азии или в Африке, а эти части света мало с этой стороны исследованы. Таким образом, вопрос переносится в неизвестное, что конечно имеет свое большое преимущество, так как и самого вопроса в таком случае ставить не приходится.

Спрашивается, почему же именно Европа оказалась в таком исключительно выгодном или невыгодном положении, что не в ней происходило формирование рас? Почему другие части света, не исключая и Африки, могли быть местом образования рас, но Европа не могла быть таковым, получая всегда готовый материал. Мы можем еще усугубить это странное положение ссылкой на того же Осборна, который в пылу своего увлечения Европою, не ограничивается одними кроманьонами. По его словам, и пильдаунская и брюннская и фиорфооз-греньельская и даже средиземноморская расы пришли в Европу «уже окончательно сложившимися»⁴. Разве эти мнения более обоснованы, чем изложенные выше положения G. Wilke, подошедшего к европейскому матерiku с совершенно иной точки зрения и прослеживающего эволюцию здесь, в самой Европе, от палеолита до

¹ Осборн Г., *Человек древнего каменного века*, стр. 205.

² Хаузер О., *Urmensch und Wilder*, стр. 123—124.

³ Буркитт М. С., *Prehistory, a study of early cultures in Europe and the Mediterranean basin* (2 ed. Cambridge, 1925), стр. 106, 120—121.

⁴ Осборн Г., *Человек древнего каменного века*, стр. 378.

железа. Для G. Wilke кажется убедительным, что такая эволюция, по крайней мере с кроманьона, происходила в самой Европе, и созданный здесь готовый материал он, слепо следуя обычному методу, перекидывает, но на этот раз уже с Запада на Восток.

В моих глазах G. Wilke сделал большой шаг вперед, вместе с некоторыми другими исследователями признав за Европою право на самостоятельное развитие. Конечно, отсюда еще вовсе не следует признание, в разрез с многими другими учеными, только за Европою такого крупного эволюционного деятеля, ведущего всю культуру в восточном направлении. Но именно это и хотелось мне отметить в приведенных выше строках, склоняясь, вопреки G. Wilke, к равноправию всех частей света в таком процессе развития. Некоторый, хотя бы и односторонний, шаг к этому именно G. Wilke и делает, и он не одинок на своем пути, например, и J. Lubbock склонен считать население Франции исконным¹. Односторонность же подхода происходит, по моему мнению, не по вине маститого немецкого ученого, а по вине широкораспространенной методологической ошибки, которой и он, в результате своих работ, поддался.

Если его обоснования некоторым кажутся мало убедительными, то, с другой стороны, не более убедительна даваемая J. Tylor'ом² карта миграции неолита с Иранского плато как исходного пункта, мало убедительно и отнесение J. de Morgan'ом центра расселения в среднюю и западную Сибирь, особенно когда сам же автор указывает на малую изученность Сибири в этом вопросе³. Преклонение перед теорией восточной миграции продолжает оставаться достаточно сильным, и, между прочим, в премированном труде V. Cotte мы видим явную склонность автора отнести к востоку, в частности к Алтаю, прародину человека, населившего Прованс⁴.

Насколько легко делаются такие выводы, мы наглядно видим в последних работах *Андерсона* по исследованию архаической китайской керамики⁵. Здесь достаточно было одного сравнения с Анаускими находками, чтобы сейчас же придти к выводу о миграциях с запада. И выводы эти подкреплялись сличением отдельных изделий Янг-шао с Туркестанскими без какого-либо внимания на предшествующие культуры того же Китая, хотя наличие там даже палеолита установлено совместными работами E. Licent и P. Teilhard de Chardin⁶.

¹ Lubbock J., L'Homme Préhistorique, 2^e édit., стр. 62.

² Tylor J. M., The new stone age in northern Europe (London, 1922), стр. 184.

³ de Morgan J., Les premières civilisations (1909), стр. 152, со ссылкой на Heikel A., Antiq. de la Sibirie occidentale (Helsingfors, 1894).

⁴ Cotte V., La Provence pléistocène (1920), из серии Documents sur la pré-histoire de Provence, стр. 52—53.

⁵ Andersson J. G., An early chinese Culture, Bull. of the Geol. Survey of China n°5 (1923); The cave-deposit at Sha-kuo-t'un in Fengtien, Palaeont. Sinica, Ser. D. I. fas. I (1923); Preliminary Report on archaeological research in Kansou, with a note on the physical characters of the prehistoric Kansou races, by Dav. Black, Mem. of the Geol. Survey of China, Ser. A. n°5 (Juin 1925).

⁶ Licent E. et Teilhard de Chardin P., La Paléolithique de la Chine, L'Anthr. XXXV n°3—4 (1925); Teilhard de Chardin P., La Néolithique de la Chine, L'Anthr. XXXVI n°1—2 (1926), критический обзор работ *Андерсона*.

Шаткость делаемых *Андерсоном* выводов, основанных лишь на сличении крайне ограниченного числа материала дали Karlgren'у и Агге¹ полное основание протестовать против таких поспешных заключений, и нужно признать научное мужество *Андерсона*, отказавшегося от своего первоначального взгляда. Пример с Китаем очень поучителен и невольно напрашивается мысль о том, нет ли поспешных утверждений и у других ученых в аналогичных случаях и при том по отношению не к одному только китайскому вопросу.

В одной научной работе, вышедшей за последние годы, как будто бы замечается совершенно иной подход, нащупывающий общую подоснову культуры². Автор труда в красивых образных выражениях рисует духовную основу человека в следующих словах: «Быстрая река,—говорит он,—в полноводном своем течении несет отмываемые от берегов частицы земли и отлагает их, образуя в продолжение многих веков мощные наслоения. Так и человек, находясь в русле жизни, в постоянном потоке быстро движущегося времени, испытывает на себе его многообразные влияния: каждое поколение по сравнению с прошлым обогащается новыми отложениями изменяющихся культур. Поэтому, продолжает *Б. Л. Богаевский*, человек современности является перед нами с наслоенною многими тысячелетиями душой». По словам автора, «первые слои в духовном организме человека относятся к наиболее ранним периодам древне-каменного века. Палеолит представляет чрезвычайную однородность культур отдельных своих эпох, в каких бы частях и странах света он ни встречался»³.

В этом образном сравнении *Б. Л. Богаевского* ярко проглядывает мысль о необходимости учета налегающих наслоений на духовный остов народа, в котором «с большей или меньшей степенью жизненности должны сказываться элементы палеолитического периода», каковой, как мы только что слышали, чрезвычайно однороден в самых различных местах земного шара⁴. И, действительно, может быть, археологу следует ближе держаться одного «русла жизни», не увлекаясь чрезмерно вопросами переселений, хотя бы в отдельных случаях они и играли первостепенную роль. Но, думается мне, даже и эти исторические переселения народов⁵ не сметали с лица земли культуру проходивших ими стран, и от вопроса о переселении мы в этом случае скорее всего переходим к вопросу о смешении если не рас, то культур⁶.

¹ Arne T. J., Les plus anciens rapports entre la Chine et l'Occident, L'Anthr. XXXV (1925), стр. 351, и его же Painted stone age pottery from the province of Honan, China, Palaeont. Sinica, Ser. D., I. fas. 2 (1925), см. упомянутый выше критический обзор P. Teilhard de Chardin.

² *Богаевский*, Б. Л. Крит и Микены, серия Культура Востока (Ленинград-Москва, 1924), стр. 7.

³ Там же.

⁴ Там же, стр. 8.

⁵ О различном понимании переселений народов в исторические и доисторические времена см. *Hauser O.*, Urmensch und Wilder, стр. 15.

⁶ Отдельные процессы смешения культур см. *Ebert M.*, Südrussland im Altertum (Bonn-Leipzig, 1921), стр. 161 сл., 181, 269, 366 и др.

Хорошо, согласимся, что палеолит с его охотничьим образом жизни легко передвигался, допустим, даже за зверем, покидавшим места длительного жительства из-за изменений климатических условий, но даже если это и так, то едва ли только вечным брожением палеолита объясняется отмечаемая всесветная общность культуры древнего каменного века¹. За «бродячим» палеолитом следует оседлый неолит, перешедший на земледелие и выработавший «покойную» жизнь. Проф. *Богаевский* и *Виннер* совершенно последовательно настаивают на том, что земледельческий характер неолита существеннейшим образом наложил свой отпечаток на все его творчество и что производственные интересы человека этого времени коренным образом отложились на искусстве². Следовательно, изменение внешних условий жизни изменили и направление культуротворчества. Отсюда лишь один шаг до нового подхода к его анализу. Мы слышали утверждение, что палеолит в своих пережитках дожил и до веков металла, мы слышали также утверждение, что перемена в образе жизни человека, перешедшего на земледельческий труд, отразилась на его духовном облике, в значительнейшей степени ослабив предшествовавшее господство магии. Значит, улавливаются уже первостепенные факторы культуротворчества, и ясно чувствуется неизбежная необходимость прослеживания развития культуры по всем слагаемым факторам, а среди них на первое место может стать и оживляющая волна проникающих новых народных наслоений.

В связи с этим мы неминуемо с осторожностью должны подойти и к сложному вопросу о переселениях. В первую очередь нам надлежит уточнить наш взгляд на переселение вообще и на его влияния в последующих культурных сменах. Нам нужно уяснить себе, были ли переселенческие волны в большинстве случаев всесокрушающим потоком или же, наоборот, оплодотворяющим и созидющим в процессе постепенного заселения смешения местных и пришлых элементов. Разрешение вопроса в первом смысле вовсе не есть разрешение его, так как в пришельце, при таком понимании, в противовес «дикому» аборигену, мы должны бы видеть носителя культуры. Иначе чем же объяснить бросающееся в глаза исследователю «быстрое» течение ее вслед за нашествием иноземца. В таком случае приходится признать, что иноземец этот несет с собою свою культуру и передает ее в целом готовом виде новому для него месту; почти так оно обычно и понимается. Но откуда бы он ни нес ее, из Африки или Азии или даже с севера в Европе же, все равно мы в наших объяснениях продолжаем вращаться вокруг мертвой точки, потому что объяснение данной культуры, как принесенной из другого места, отнюдь не поясняет содержания самой культуры. Если она и занесена извне, то все же встает вопрос о том, что она собою представляет и как она создалась в этом

¹ Например, *Богаевский Б. Л.*, Крит и Микены, «Палеолит представляет чрезвычайную однородность культур отдельных своих эпох, в каких бы частях и странах света он ни встречался», стр. 8.

² Цит. соч., стр. 10—11, там же ссылка на *М. Hoernes'a* и *Б. Р. Виннера*, Проблема и развитие натюрморта (Казань, 1922), стр. 50.

«извне». Взять готовые формы, не значит понять их. Об'яснение же их только как принесенных из неведомых стран не есть об'яснение. Тут мы одно неизвестное заменяем другим.

При всем моем уважении к переселенческим вопросам, при полном моем признании возможности переселений, я все же не в состоянии всякий, хотя бы и яркий, культурный сдвиг в доисторическом прошлом приписывать только переселению. Лозунг: перемена в направлении культурного творчества есть результат переселения—для меня непонятен. Нередко высказываемые положения, что новое течение культуры является следствием вторжения иноплемennых рас—для меня далеко не всегда обязательны. Подход к изучению памятников: новая культура, следовательно, новая племенная среда—в моих глазах неправильный подход, так как и в доистории перемены в духовном творчестве человека могли быть вызваны и иными обстоятельствами, и такие перемены далеко не всегда оказываются следствием только передвижений народов. Другими словами, смена культур не всегда есть следствие одних лишь переселений.

Мне кажется, что этот взгляд мой не встретит больших возражений. Между тем, если это и подтвердится, то все же факт остается фактом, так как при устанавливаемых переменах в культурном творчестве почти неминуемо исследовательская мысль направляется на поиски внедрившегося в страну носителя новых культурных форм и ему приписывает это новшество как народу-культуроносцу, пришедшему с готовыми новыми формами взамен уничтоженных старых. Поэтому-то такому «нашествию» наиболее подходит образное выражение «переселенческая волна», так как именно «волна» точнее передает разрушительное действие, смывая все прошлое при своем наступательном движении. В вопросах эволюции культур как раз это выражение представляется мне наименее удачным. Здесь спор не о терминах, а о содержании представления, о понимании осмысливаемого явления, и, кажется мне, что именно это содержание и лежит в основе многих ученых трудов.

Я не могу усвоить себе широко распространенного пренебрежительного отношения к предшествующей переселению эпохе и отрицательный взгляд на культурные способности местного жителя, оставшегося без движения. Мне с большою долею уверенности кажется, что предположение об общем передвижении, когда «а» целиком вытесняет «б», которое отодвигает «с» на место «д» и т. д., реально не улавливается. В этом процессе нет движения без остатков, и такой остаток в смешении с пришлым и есть культурная двигающая сила, соединяющая старое с новым, которое в свою очередь является новым только для данной местности и имеет свое «старое» где-то у себя в другом месте, при чем оба они роднятся общими для них пережитками, так как, выражаясь словами исследователей доисториков, палеолитические отголоски содержатся как у тех, так и у других. Мне хотелось бы лишь дополнить, что вообще пережитки, как таковые, в последовательной смене веков сохранились не от одного только древнего каменного века. Таким образом, в моих глазах переселение,

то есть внедрение нового элемента, чаще всего является в своем длительном итоге созидательным фактором, обусловленным именно происходящим вследствие его смешением народов и культур. Смешение в этом смысле и есть жизненная основа культуротворчества, но смешение может иметь место и без «бурных» передвижений племен и народов.

Возьмем например года крушения отживающих свой век великих держав древнего Востока, период нашествия киммерийцев и скифов. Движение Гога и Магога на Переднюю Азию объясняется исторической легендой о вытеснении массагетами скифов, а последними киммерийцев, в погоне за которыми скифы сбились с пути¹. Какую же культуру принесли с собою эти пришельцы в опустошаемые ими страны? Культура скифов продолжает изучаться по курганам юга России, культура же Персии едва ли может быть правильно понята без знания ассирийского, в широком смысле, искусства. Древние державы закончили свое существование, но культура их изучается не по одним только памятникам погибших городов Ниневийского и Вавилонского царств, но и по сохранившимся отголоскам в новом искусстве ахеменидской Персии. Мы имеем здесь свидетельствуемое историками вторжение иноземных племен, признаваемое отражением великого того времени переселения народов, культурные же течения в Передней Азии получили новое направление не привнесением новых форм *взамен* старых, а в результате происшедшего смешения в процессе скрещения народов и культур того отдаленного переходного периода.

Между тем все же научная мысль, особенно когда дело идет о доисторических периодах, сбивается с такого пути исследования, явно пристрастная и тяготеющая к простому прослеживанию переноса готового культурного комка с одного места на другое реальными, а чаще, думается мне, вымышленными переселениями. Ведь мы признаем, что нельзя осмыслить культуру народа без учета взаимных влияний и чужеземных заимствований. Неужели же можем мы в таком случае слепо довериться таким переносам культурных основ с Запада на Восток или с Востока на Запад. Перебрасывая их, мы берем их как уже сложившиеся готовые формы и потому явно грешим именно в этом отношении.

Кроме того исследовательская мысль сбивается и в своей последовательности,—так, казалось бы, что развитие земледелия при неолите делало человека более усидчивым, но нет, оказывается, что как раз с неолита, выработавшего «покойную» оседлую жизнь, начинают становиться особенно заметными новые элементы, а с конца неолита начинаются необыкновенно оживленные волны переселений. Эти волны, движущиеся одна за другою, прослеживаются на Крите в его самые отдаленные времена². Правда, бывают попытки сдержать их бурный напор, но попытки эти тонут в общем стремлении исследова-

телей связать культуру с культураносцем, с определенным движущимся племенем, связать ее с определенной этнической единицей и прослеживать стадии культуры не как стадии развития, а как перемежающиеся чередования последовательных смен народов.

Археолог по сей день передвигает культуры, не считаясь с жизнью их на месте, и до самого последнего времени делит их на периоды лишь по наиболее изученным местам, и периоды эти во всей их совокупности берет как одно целое для сравнения с местами им еще неизученными. И если, по его определению, гальштадту присущ данный тип керамики, то где бы эта именно керамика ни нашлась, он считает культуру, ее сопровождающую, за гальштадтскую, хотя бы там и не было признаков железа. Отсюда идут вечные недоразумения: что-то то, да не то. Недоразумение это обуславливается тем, что для определения берется не вся культура, а одно слагаемое, в лучшем случае несколько. Археолог слишком часто не считается с жизнью на месте, с ее местными особенностями, допускающими создание сходных форм при другом культурном целом. И если одно культурное слагаемое попало путем заимствования, то он принуждает заимствовать всю культуру целиком. Происходит это именно потому, что мираж переселения с полными переносами всего целого вместе с этнической массой сохраняет чудовищную силу до текущего дня.

Если археолог и чувствует слабость почвы для построения цельной картины связи культуры с этническими составами и карты передвижения последних, то, во многих случаях, лишь отмечает это в одном каком-либо месте и сам же себе противоречит в остальном тексте. Так, J. de Morgan в своей работе «Доисторическое человечество» не только чувствует, но и признает, что, при современных знаниях, почти не приходится говорить о доисторических переселениях: «повидимому,—излагает свою мысль автор,—в течение исторического периода, когда внешний вид мира являлся почти тем же, что и в наши дни, все нашествия, наводнявшие западные страны, имели своим исходным пунктом северную или центральную Азию; но мы не можем знать, продолжает французский ученый, так ли было в период доисторический. О колыбели различных этнических семейств достаточным количеством писателей строились всякого рода гипотезы. Сначала родиной народов, лингвистически принадлежащих к арийцам, считался Алтай, затем Закавказье, степи России и Сибири. Народы, говорящие на семитических наречиях, считались выходцами из Аравии; короче говоря, нет предположения, которое не было бы высказано, но все эти предположения мало обоснованы, ибо нам недостаточно ясны причины людского расселения по земле. Доисторический период,—продолжает J. de Morgan,—все еще хранит в себе слишком большое количество тайн, чтобы мы имели основания с нашими знаниями приступить к научному разрешению великих проблем о первоначальных очагах человечества» (стр. 20—21).

Но такая сдержанность в суждениях и осторожность сохраняется у французского археолога только в предисловии, в самом же тексте мы видим диаметрально противоположное, и J. de Morgan, обозревая

¹ Геродот, IV, стр. 11—12, 13.

² Богаяевский Б. Л., Крит и Микены, стр. 30—31.

материал, скудость которого отмечена в начале книги, полностью развивает переселенческий мираж, открытым сторонником которого он здесь становится и остается таковым везде, где соприкасается с принятым им сравнительным методом. Только что сославшись на слова *Дешелетта* о том, что в верхнем палеолите прежняя обработка путем обтесывания кремня существовала параллельно с новыми способами работы и что на ряду со старыми появляются орудия новых типов, сделанные путем удара или давления, *J. de Morgan* находит, что «все эти *внезапные* перемены в жизни вызывались глубокими причинами, искать об'яснение которых следует во вмешательстве вновь пришедших в наши области народов. Не надо также упускать из виду,—продолжает он,—что Сибирь была с начала ледникового периода отрезана от Европы ледниками, покрывавшими южно-русские степи, и Арало-Каспийским морем. Доступ в Западную Европу открылся *вдруг* после окончания ледникового периода. Тогда *орды* Сибири, гонимые *холодом*, пришли в движение в погоне за более удобной жизнью и наводнили *последовательными* вторжениями Европу, Иран, Индию. Эти *миграции* с востока на запад начались *очень давно*, они продолжались почти до наших дней, посылая *беспрерывно* все новые и новые волны. Вот в этих-то движениях заключается причина изменений, которые мы находим в последовательных западных индустриях» (стр. 75—76).

Спрашивается, можно ли понять с достаточною степенью убедительности культуру Западной Европы каменного века со всеми ее сложными переходами и причинами таких переходов, по случайным пока раскопкам путем сличения отдельных поделок из других мест. Правда, в процессе исследовательской работы такие сравнения необходимы, но на них нельзя еще строить окончательных выводов. Между тем это делалось и делается, при чем делается это далеко не одним только *J. de Morgan* 'ом. Мнение *de Morgan* 'а, как указывает русский издатель его труда, следует считать весьма авторитетным и осторожным до скептицизма. Более того, *В. А. Городцов* признает фактом крупного культурного значения появление его труда в русском переводе 1926 года.

При таком направлении исследовательских исканий *G. Wilke* не представляет в своих взглядах чего-либо необычного. Пожалуй, уж не очень отсталыми покажутся и высказанные двадцать лет тому назад взгляды проф. *P. Vinpner*: «Древняя Европа,—говорил он,—с самой ранней поры стариннейшего каменного века была повернута лицом на восток. Оттуда идут свет и богатства, средства борьбы с природой и предметы, обстановки, приемы работы и инструменты, понятия и верования». *P. Vinpner* повернулся лицом к востоку и вместе с ним повернулась и вся культура Европы. Он предостерегает посетителя музеев, который видя «каменные молотки, пилки и стрелки, наверно поражаюсь их однообразием и чаще всего, может быть, заключал, что это происходит от сходства условий, при которых работа совершалась одновременно и независимо в разных местах». Автор предостерегает от такого, по его мнению, неверного об'яснения, находя,

что «однообразие получает теперь другое об'яснение: сходные вещи, это—фабрикаты, идущие из немногих определенных центров; можно,—говорит он,—проследить ясно их пути от крупных рынков, от главных мастерских в роде того, как сейчас вся некультурная Африка снабжается ножичками, зеркальцами и т. д. из немногих европейских фабричных округов». Такое страшное по своей образности сравнение *P. Vinpner* заключает словами: «Можно сказать, что всякая восходящая ступень культуры в Европе была отголоском большого изобретения на востоке; появлялись ли шлифованные орудия нового каменного века, вводились ли впервые металлы или совершенствовалась их отделка, возникали крупные каменные постройки, вступали новые обычаи погребения вместе с новыми представлениями о загробной жизни—все это были отозвавшиеся на окраинах толчки тех переворотов, которые совершались в далеком центре»¹. *P. Vinpner* приходит к таким заключениям под напором нового археологического материала и думает о предстоящем «перевороте в исторических работах».

Мы очень недалеко ушли за последние двадцать лет, и новый за это время наплыв археологического материала не меняет укоренившихся воззрений. Мы окаменели с лицом повернутым или на восток или на запад. Новшество в научных направлениях больше всего заключается во вращении в разные стороны со взглядом вдаль, а не себе под ноги.

Вспомним, что и двадцать лет тому назад теми же исследователями высказывались иные взгляды, так *P. Vinpner* в тех же своих работах сдерживает культурный натиск переселенческих волн и говорит, что «некоторые черты микенской культуры, особенно то, что открыл в самое последнее время Эванс на Крите, могут казаться продуктом самостоятельной сильной работы, но конечно вполне возможно допустить, что после целых столетий пассивного усвоения ввоза чужих товаров и пропаганды чужих идей, пришлое акклиматизировалось, стало национальным и вызвало, наконец, собственную инициативу в народе». Но именно с этим взглядом едва ли согласны все исследователи критомикенской культуры, видящие до последнего времени бурные потоки переселенческих волн, несших готовые культурные формы. Я не чувствую перемен в основном взгляде. Приведенный пример мне кажется весьма наглядным. То, что высказывалось двадцать лет тому назад, продолжает высказываться и ныне, меняя содержание, но не метод работ.

Увы, переселенческие волны продолжают рвать плотину. Но неужели так силен был напор этих волн, если даже энеолит и первые века металла были эпохой тоже великого переселения народов? И почему народы, казалось бы более культурные, сорвались с своего места и пошли заселять «варварские страны»? Конечно, не потому, что доступ в Западную Европу открылся «вдруг» после окончания ледникового периода, и не потому, что орды Сибири пришли в дви-

¹ *Vinpner, P.*, Новые горизонты в исторической науке (1906), стр. 258, 268—273; *его же*, С Востока свет (Москва, 1907), стр. 5.

жение гонимые холодом, и конечно смешно этим «холодом» об'яснять *последовательные* «миграции» в Европу, Иран и Индию. Если же эти пришлые народы не являются носителями культуры, то не следует ли обратить особое внимание на ту цивилизацию, которую они застали на месте в момент своего вторжения, а, может быть, даже и не вторжения, а простого вхождения иных культурных форм, вливания или просачивания их, и в смешении с которой именно и лежал залог будущего нового пышного расцвета эгейской культуры.

Ведь мы привыкли смотреть на этрусков как на пришельцев с востока, между тем, в самое последнее время, в параллель к лингвистическим работам *Н. Я. Марра* и *C. Schuchardt*, на основании археологического материала, который даже «не мог сниться Геродоту», опровергает сообщаемое им историческое свидетельство¹. Этрусски на этот раз прослеживаются немецким ученым у себя на месте в Италии. Им посвящается особое исследование под заглавием «*Die Etrusker als altitalisches Volk*». Но *C. Schuchardt* противник восточной теории только потому, что он явный сторонник западной. И в этом отношении он верный и последовательный сторонник западных миграций, так как не одиночное только, а последовательное движение культуры именно с запада на восток он видит и в палеолите, и в неолите, и в веках бронзы².

Сейчас западная миграция народов и культур становится господствующею в науке, и едва ли это будет кем-либо решительно оспариваться. Между тем, мне кажется, что опасность такого предвзятого взгляда весьма наглядно отражается на тех поспешных выводах, какие строятся по единичным находкам часто даже без достаточной их проверки. Не будь этого предвзятого взгляда, не было бы и таких скоропалительных умозаключений. Так, совсем уже недавно оказалось достаточным для *A. Morlet* обнаружения «доисторического алфавита» в раскопках у селения Глозель близ Виши во Франции, чтобы категорически утверждать, что первое линейное письмо изобретено на западе³. Я не могу спорить о том, что факт открытия такого письма около известного французского курорта необычайно важен, особенно если подтвердится принадлежность его именно неолиту. Факт в таком случае окажется фактом, но дело в его оценке и в тех выводах, которые по нему строятся. К тому же нельзя не отметить, что оценка специалистами не только отдельных археологических находок, но и целого комплекса их иногда приводит к различным датировкам с колебаниями даже не в сотню лет, а в несколько тысячелетий, —

¹ *Schuchardt C.*, *Die Etrusker als altitalisches Volk*, «*Prähistorische Zeitschrift*», XV, Heft 3/4 (1925), стр. 109.

² Надо отдать справедливость *C. Schuchardt* у: он прослеживает не столько переселение народов, сколько движение культуры «*Westostentwicklung*». Но неужели и движение культуры все время шло большими волнами только с запада на восток?

³ *Morlet A. et Fradin E.* *Nouvelle station néolithique (Vichy, 1925—1926)*. Ссылки по статьям *A. Morlet* в «*Mercure de France*» (1 avril 1926). «*Invention et diffusion de l'alphabet néolithique*», и в «*La Nature*» (24 juillet 1926) «*Découverte en France d'un alphabet préhistorique*».

со спором о принадлежности их к таким, казалось бы, различным культурам, как век камня и век железа. *A. Morlet* и *E. Fradin*, а за ними *M. Espérandieu*, *Déperet*, *van Gennepe* и даже *Salomon Reinach*, — последние в ряде докладов, читанных в таком ученом учреждении как *Académie des Inscriptions*, — относят к неолиту то, что *M. Baudouin* относит к веку бронзы, а *L. Franchet* и *C. Jullian* считают изделием последнего столетия до начала христианского летоисчисления. Речь идет именно о Глозельских письменах и сопровождающих их статуэтках и других археологических находках со спором о том, имеем ли мы здесь неолитическое погребение или обжигательную печь последних годов ла-тэна¹.

Все это крайне характерно, тем более, что проходит непосредственно пред нашими глазами и, увы, не совсем укрепляет почву для дальнейших наших построений с учетом одного только археологического материала. Но предположим, что мнение *A. Morlet* восторжествует и что он, действительно, нашел неолитическое письмо в середине Франции в параллель к письмам *Alvão*, все же и тогда мне хочется спросить счастливого находчика, вполне ли он уверен в том, что нигде на востоке никогда не могут быть найдены такие же письма, такой же, а может быть, и большей древности. Тут вопрос даже не в параллельном изобретении письма в различных местах, а только в том, достаточно ли одной находки для утверждения, что именно район этой находки и есть самый древнейший. Не наваяно ли такое, в моих глазах слишком поспешное, заключение *A. Morlet* получающими теперь господство взглядами на движение культуры с запада на восток.

Таким образом, приходится признать, что приведенные выше выводы *P. Виннера*, в которых он усматривал «новые горизонты в исторической науке», выводы о движении культуры с Востока, устаревают, притом лишь отчасти только потому, что сейчас все усиливается тенденция к движению с Запада, и притом к движению с такою последовательностью, что Востоку, воспринимающему культурные волны и в палеолите, и в неолите, и в века металла, положительно не дается времени передохнуть, чтобы самому ответить хотя бы маленьким реваншем. Метод исследования конечно не изменился.

Здесь можно вспомнить и не так давно вышедшую работу *H. Kühn*'а². Он не усматривает особого влияния переселенческих

¹ *Académie des Inscriptions*, август—сентябрь 1926; *Baudouin M.*, *Les découvertes de Glozel (Paris, 1926)*; *Franchet E.*, *Les fouilles de Glozel*, *Rev. scient.* 13 nov. 1926. *Butavont F.*, *Au sujet des inscriptions de Glozel*, «*La Nature*», 20 novembre 1926. За своевременное ознакомление меня с последними статьями приношу искреннюю благодарность *A. П. Рифтину*. См. *Reinach S.*, *Discoveries at Glozel*, *Allier, The Antiquaries Journal*, VII, n°1, January 1927, 1—5, *Reinach S.*, *Ephémérides de Glozel*, Paris, 1928.

² *Kühn H.*, *Die Kunst der Primitiven (München, 1923)*, стр. 118 sq. «*Doch mit Einflüssen anderer Völker ist diese Kunst nicht erklärt. Einflüsse wird es gegeben haben—sie kamen von Aegypten sowohl wie von Babylon-Hetiten,—aber sie deuten die Kunst nicht. Dieselben Einflüsse wandten sich auch nach den anderen Inseln, nach Norden und Mitteleuropa—sie haben dort die Kunst nicht gewandelt*», стр. 118.

волн на образование и развитие культуры Крита и Микен. Он по усвоенному им методу приписывает это развитие внутренним условиям жизни, хозяйственному строительству, торговле и классовому делению населения с преобладающим влиянием аристократии, представившей земледельческий труд простолюдину и сохранившей за собой беспечную, веселую жизнь повелителя и воина. Меч военачальника и торговля создали новую эру¹. Повторяю, в вопросе Крита и Микен, у Н. Kühn'a не чувствуется переселенческих волн, напротив, он, прослеживая внутреннее развитие культуры и обуславливая это развитие внутренними же факторами, доходит до утверждения, что mit Einflüssen anderer Völker ist diese Kunst nicht erklärt.

Такая интереснейшая попытка иного подхода к изучаемым памятникам даже эгейского мира, попытка связать произведения искусства с жизнью современного им человека, принуждает автора делать пробог по всему миру и привлечь к анализу памятники творчества перуанцев, мексиканцев, эскимосов и негров Центральной Африки. И тут у него получается та же картина зависимости искусства от хозяйственного строя жизни господствующего класса и торговли². Вместе с тем, он чувствует и подчеркивает болезненную сторону исследователей выводить культуру из тех стран, над которыми они сами работают, в частности указывает на F. v. Luschan'a и L. Frobenius'a, увидавших в негре первого изобретателя техники обработки металла³. В каждом месте культура глубоко уходит корнями в даль веков и потому нередко кажется, что именно отсюда она пошла гулять по всему свету.

Но, как это ни странно, Н. Kühn в то же время искренний поклонник Kossinn'a, Schmarsow, Haupt'a, Dopsch'a и др., то есть именно той самой школы, к которой принадлежит и G. Wilke. Он, Н. Kühn, воспринял взгляды и старой школы, и, увы, в некоторых местах работы переселенческие волны захлестнули и его⁴. В Греции идет переселенческая эллинистическая волна, которая, между 1200—800 годами приносит полуострову геометрический стиль⁵. Н. Kühn конечно не был осведомлен о работах E. Forrer'a⁶, восстанавливающего по хеттским документам мощную культурную державу Греции еще XIV века, дающую возможность и здесь проследить эволюцию культуры второго тысячелетия до нашей эры. Переселенческие волны имеются у него и в других местах, так недавняя находка маркиза de Geralbo гальштадтских погребений в Испа-

¹ Kühn H., Die Kunst der Primitiven, стр. 119—120.

² «Diese Kunst (Benin) ist bodenständig, ganz echt und innerlich wahr. Strömungen mögen gewiss auch von anderen Ländern hereingekommen sein, genau so wie Benin hinaus wirkte, aber sie haben niemals eine Kunst bilden, nie eine Kultur schaffen, sie haben nicht einmal einen Stil umzubilden vermocht», стр. 136, 163 etc.

³ Там же, стр. 135.

⁴ Там же, стр. 167.

⁵ Там же, стр. 84.

⁶ OLZ, 1925 и статья Prof. Frirs E., Das vorhomerische Griechenland, Emil Forrers Entdeckungen, Das Unterhaltungsblatt der «Vossischen Zeitung», 3 September 1926.

нии принуждает Н. Kühn'a примкнуть к мнению С. Schuchardt'a о занесении этой культуры с востока на запад кельтами без каких-либо более подробных обоснований и выводов¹.

Особенно же обостряется положение, когда вопрос затрагивает Германию. Здесь Н. Kühn выступает явным противником скрещения культур и все считает самобытным². Всякие римские влияния в начале первого тысячелетия по христианскому летосчислению он безусловно отрицает. Германия, по его словам, живет совершенно иною жизнью, чем Италия, и все римское не понятно германцу. Он говорит, что тут культурные течения диаметрально противоположны и что могли быть только соприкосновения, но не могло быть оплодотворения в процессе скрещения и смешения культур. И все это высказывается в такой решительной форме, несмотря на то, что сам же автор, в своем увлечении германцами, ссылается на слова Моммсена, отметившего смешение на юге германо-римских форм, когда последний период жизни Рима получил варваризацию и более всего германизацию³. Автор увлекся этим, казалось бы, противоречащим ему примером скрещения до того, что усугубил его своим утверждением о том, что около 400 года римляне пели германские боевые напевы, а римлянки носили германскую одежду. С другой стороны, и сам вопрос о «варварской» культуре германцев стоит под громаднейшим сомнением, хотя бы по тем данным, которые приводятся в работах М. Ebert'a и E. v. Sydow⁴.

Прорыв переселенческих волн не менее нагляден у Н. Kühn'a в самом больном месте, именно на рубеже истории и доистории. И вышло, что в конце доисторического периода и в начале исторического идет великое переселение народов, которое bildet für uns den Schlußstein all der Kulturen der Erde, die ohne schriftliche Urkunden von sich selbst, ohne Geschichte leben, sie bildet den Anfang der neuen Kultur⁵. При чем оказывается, что никогда еще в прошлом Европа не делилась так резко в культурном отношении, как в это «переходное время». И такой вывод автора вполне понятен, так как раньше переселения не брались им в основу, а теперь берутся. Выходит, что все смены палеолита в неолит и по векам металла не представляли между собой такой разницы культуры как это «переходное» время. Почему?— а потому, что мы «переходим» в века истории.

В результате работ Н. Kühn'a получается, что переселения как фактора культуротворчества не было там, где не желает его автор, что некоторые народы несли с собою готовую культуру, а другие варились в своем соку. Результаты, должен признаться, весьма печальные, так как против взятого автором метода исследования

¹ Kühn H., Die Kunst der Primitiven, стр. 87.

² Там же, стр. 167 и сл.

³ Там же, стр. 168.

⁴ Ebert M., Südrussland im Altertum, цитированные выше места, касающиеся скифского искусства; v. Sydow E., Die Kunst der Naturvölker und der Vorzeit (Berlin, 1923), 81 sq.

⁵ Kühn H., Die Kunst der Primitiven, стр. 167 и сл.

возражать не приходится. Но, автор сбивается с него, а там, где остается ему верен, не уделяет достаточного внимания смешению культур как фактору культуротворчества¹. Между тем, именно этому смешению, происходящему ли от внедрения новой расы или, и независимо от него, в процессе скрещения духовнотворческих форм, культуры обязана не в меньшей мере чем хозяйственному строю, классовому делению и торговле, тем более, что именно им они нередко и обуславливаются. И тут невольно приходится привести выводы немецких же ученых, упомянутых выше М. Ebert'a и v. Sydow, усматривающих в германском искусстве готское смешение многих форм в том числе и скифских, которые в свою очередь представляют смешение с ионийскими, эллинистическими и др. элементами².

Не менее интересные наблюдения можно извлечь и из памятников архаического Элама, различно понимаемых сочленами одной и той же французской *Délégation scientifique en Perse*. Если обратиться к их совместному труду, то оказывается, что мнение исследователей, даже таких первоклассных как E. Pottier, J. de Morgan, M. Pézard³, не говоря уже об иностранных ученых W. Gärtle, M. Frankfort⁴ и др., диаметрально расходятся в оценке первого и второго эламских, собственно сузианских, стилей. Так, одни видят между ними резкий перерыв, притом, как думает Н. Frankfort, весьма длительный, вызванный уходом населения в связи с изменившимися климатическими условиями, начало же новой культуры второго стиля рассматривают как следствие вторжения иноземной расы⁵. Другие же, наоборот, по тем же самым научным материалам не находят достаточных оснований разрывать эти два стиля один от другого и видят в них последовательную смену двух культурных эпох, вызванную какими-то привходящими обстоятельствами⁶. Таким образом, оказывается, что

¹ Отрицание смешения культур как фактора культуротворчества особенно проглядывает у Н. Kühn'a в цитированных выше местах, касающихся культуры Крита и Микен.

² См. указанные выше места их работ.

³ *Délégation scientifique en Perse*, VIII, XII, XIII, Cruveilhier, Les principaux résultats des nouvelles fouilles de Suse (Paris, 1921).

⁴ *Gärte W.*, Die symbolische Verwendung des Schachbrettmusters im Altertum, «Mannus», VI, Heft 4 (Würzburg 1915); *Frankfort H.*, Studies in Early Pottery of the Near East, I (London, 1924), стр. 22 sq.

⁵ *Frankfort H.*, все же делает интересную попытку проследить развитие культуры на месте. По его мнению, прародину эламита не следует искать очень далеко. Но это касается только первого стиля, так как о втором говорится совсем иное. Причины конца первого стиля могли заключаться или в перерождении во второй, или в уничтожении первых обитателей и приходе нового населения, или в уходе их и приходе новых колонистов. Автор решительно склоняется к последнему, ссылаясь на Анау, где слои тоже резко меняются, и находит вероятным, что засуха заставила жителей уйти в горы и что на их место спустились другие (цит. соч.).

⁶ E. Pottier, оспаривая приведенное выше мнение Н. Frankfort'a, относится скептически к этим вечным переселениям. Дело в том, что прослой между первым и вторым стилями, по новым осмотрам раскопок, оказался вовсе не везде значительным, есть основание полагать, что в некоторых местах его и вовсе нет. Даже R. de Mecquenem, вновь посетивший Сузы в 1924 году, сомневается в наличии везде этого прослоя, о чем и говорил E. Pottier. К сожалению, R. de Mecquenem,

памятники одного и того же места, одного и того же качества и количества поддаются совершенно различным толкованиям, и к тому же когда речь идет даже не о всем комплексе эламского искусства, а только о сузианской его разновидности¹.

Между тем, падение Суз в конце первого периода его крашеной керамики и воскрешение города при втором, казалось бы, могли быть в культурном отношении легче поняты, если бы ушедшее в стилизацию художественное творчество первого стиля рассматривалось бы только как местное городское проявление искусства. Это городское искусство корнями своими лежит в общем народном творчестве Элама, частично проявленном в Муссиане и Бендер-Бушире, этих немногих пока затронутых раскопками мест². Народное искусство, от которого городское сузианское отошло в процессе своего развития, углубившись в стилизацию, вновь проявилось при заселении города после его разгрома до начала второго периода. Новое построение города эламами же внесло народные формы, не искаженные стилизацией, менее точные в своем исполнении, а по существу своему, может быть, и более архаичные, чем предшествовавший им первый стиль; тут, во втором стиле, можно, действительно, усматривать *renaissance*, как это делают некоторые французские исследователи на основании одного только стилистического анализа. Этим же можно объяснить и взаимоотношения сузианской керамики с муссианской и бендер-буширской, которые все конечно являются представителями эламского искусства, но из которых первое (сузианское) есть городское и притом столичное, а последние представляют собой провинциальное³. Эти последние (Муссиан и Бендер-Бушир) с большим трудом и не менее большими натяжками вгоняются исследователями в узкие рамки двух сузианских стилей. Исследователи путаются в их определении, называя то первым, то вторым, при чем нередко оказывается, что оба они в Муссиане и Бендер-Бушире одновременны⁴. Отсюда часто делается вывод, что Муссиан есть переходная ступень от первого ко второму стилю. Вывод, в моих глазах, совершенно не

прибывший в 1925 году на место старых работ, не успел проверить своих новых наблюдений, так как должен был срочно отбыть в Тегеран. Все же он установил, что прослой был различен, местами доходя до 7—8 метров, местами до 5—6, а местами до 2-х, при чем работы показали, что, идя дальше, интервал между стилями все уменьшается, см. *Pottier E.*, Une théorie nouvelle sur les vases de Suse, *Rev. Arch.*, XXIII, série 5, 1926.

¹ К этому можно еще добавить, что, как видно из приведенных выше наблюдений R. de Mecquenem, не хватает даже и фактического материала для суждения о промежуточном слое между двумя стилями. Все же, по видимому, и это не мешает некоторым ученым возводить всевозможные построения в пользу откочеваний и переселений.

² См. *Dél. scient. en Perse*, VIII, *Gautier J. E. et Lampré G.*, Fouilles de Mous-sian, *Pézard M.*, Mission à Bender-Bouchir, *Mis. Arch. de Perse*, XV (Paris, 1914).

³ Бендер-Бушир представляется, в глазах М. Pézard, местом древнейшего поселения, доходящего до времен энеолита, а может быть, даже неолита. Находки здесь смешаны и сосуды первого стиля встречаются вместе даже с памятниками конца второго тысячелетия. Население во всех слоях раскопок считается автором родственным между собою, см. *цит. соч.*, стр. 4, 13.

⁴ См. *Gautier J. E. et Lampré G.*, *op. cit.*, М., Pézard, *op. cit.*

верный, так как деление на стили производится по столичной сузианской керамике, тогда как муссианская есть провинциальная, поэтому она и роднится как первому, так и второму стилям Суз. То же самое можно сказать и про находки в Эриду¹, где под шумерским слоем оказался «эламский», но отсюда вовсе не следует, что сузианский, поэтому находки из Эриду могут не соответствовать в точности одному из указанных двух стилей, а это имеет отношение уже к вопросам хронологии. Кроме того, тоже вопрос, всякая ли крашенная керамика есть именно эламская.

В изложенных соображениях, впервые навеянных мне лишь теперь в процессе моих яфетидологических работ, может быть и кроется действительная причина сходства обоих сузианских стилей, так же как и причина поисков нового народа, принесшего с собою второй стиль, скорее всего кроется в обычной предвзятой мысли, что новое направление искусства есть следствие вторжения инорасовой по крови и культуре массы.

Просматривая новейшую литературу, мы, несмотря на чувствуемую некоторыми исследователями необходимость связать все в единое целое, все же до последнего времени не видим, чтобы археолог и историк искусства отказались от предвзятого деления на историю и до-историю, на «цивилизацию» и «варварство», чтобы археолог-классик не отбрасывал с пренебрежением грубую архаическую посуду, и чтобы с своей стороны археолог до-историк не оплачивал тем же по отношению к предметам классического искусства, оба не считаясь с тем, что, помимо важности изучения «красивой вещи», стоит еще другая задача,—задача осмысления культурных смен, создающихся в процессе скрещения и смешения различных культурных течений, каким бы образом они ни проникали в данный район, хотя бы и в результате переселения народов².

¹ Раскопки R. C. Thompson и H. R. Hall в Abu shahreim (Эриду) и H. R. Hall и C. L. Wolley в Tell el Obeid (около Ура).

² Примеры такого смешения приводит и Ebert M., Südrussland im Altertum: греко-скифское скрещение культурных форм (стр. 161 и сл., 269 и др.), ольвиополиты, даже плохо говорящие по-гречески (стр. 270), Mischbevölkerungen und Mischkulturen, получившиеся в результате политики Александра Македонского (стр. 270), graeco-ägyptische Mischrasse (стр. 271) и др. Скрещение различных культурных эпох отметил v. Sydow E., Die Kunst der Naturvölker und der Vorzeit: эпохи неолита, бронзы и железа мешаются, das Zeitalter des Eisens folgt dem der Bronze, auch hier vermischen sich die verschiedenen Epochen (стр. 67—68). Смешение рас, например, населения Кавказа указывает de Morgan J., Le Monde oriental avant l'histoire, L'Anthrop., XXXIV, 1—2 (1924), стр. 21 и др. Сошлемся еще и на крайне интересные и в методологическом отношении работы исследователей месопотамских древностей, прослеживающих смену культурных наслоений и скрещение культур на месте, с намечением ряда весьма близких для яфетидологии заданий, притом с постановкою генетического вопроса вплоть до установления по памятникам материальной культуры семантических рядов. Я имею в виду исследования R. Koldewey, O. Reuther, W. Andrae, помещенные в серии Wissenschaftliche Veröffentlichungen der Deutschen Orient-Gesellschaft; Koldewey R.—15. Die Tempel von Babylon und Borsippa (1911); 32. Das Ischtar-Tor in Babylon (1918); Reuther O.—47. Die Innenstadt von Babylon (1926); Andrae M.—10. Der Anu-Adad-Tempel in Assur (1909); 23. Die Festungswerke von Assur (1913); 39. Die archaischen Ischtar-Tempel in Assur (1922).

Если даже переселение и шло «бурною» волною, то новая культурная эпоха, как плод последовательного скрещения, шла далеко не таким быстрым темпом и достигала своего оформления, когда, может быть, и свежая память о бурных потоках переселения в значительной мере сглаживалась. Скрещению же этому конечно способствовала отмечаемая выше жизненность древнейших начал во всех последующих поколениях человечества, роднящих его в таких, хотя бы слабо чувствуемых, пережитках по всем частям света.

Но одинаковая закваска, даже идущая от времен палеолита, могла в зависимости от окружающей обстановки в своем процессе развития дать в различных местах сходные формы, не стесняясь такими расстояниями как Китай, Асхабад и Приднепровье¹. В этом направлении исследовательских изысканий особенно интересна Америка, оторванная от материка Евразии, но тем не менее давшая много общих с нею черт, идя путем, как допускают многие, самостоятельного развития, то есть своими процессами движения и скрещения. Здесь океан наглядно делит две громадные части света, и когда археолог проследживает доисторическое движение культуры, он нередко останавливается на берегах Великого океана, и то что на западном его берегу объясняет переселением, приписывает автохтонному развитию на восточном. Тут слишком наглядно водное пространство и переселенческие потоки туда не докатываются..., а все же сходные этапы и сходные мотивы культуротворчества имеются и там². Вспомним даже O. Montelius'a, по словам которого открытие бронзы имело место только единожды (nur einmal) в Азии, и отсюда познание этого металла он ведет в Африку и Европу. В Северной же Америке O' Montelius допускает вполне возможным самостоятельное появление века бронзы и отвечает утвердительно на вопрос о том, могли ли мексиканцы и перуанцы своими силами дойти до техники обработки меди³.

Таково положение не только в вопросах, затрагивающих появление металла на материке Евразии и в Америке, но и по отношению, может быть, многих других форм культуротворчества времени до-истории. Возьмем хотя бы крашеную керамику Триполья, Кызыл-ванка, Анау, Элама и Китая. Их всех можно свести в одну кучу, можно проследживать родство Китая с Анау, даже с Эламом и пр., пренебрегая хроноло-

¹ Напомним, что S. Reinach не находит возможным выводить из одного какого-либо места мотив женских статуэток и изображений, полагая между прочим, что скульптура зарождалась в различных местах самостоятельно, см. Reinach S., Statuette de femme nue à Menton, L'Anthr., 1898, p. 26, pl.—II. Того же мнения он придерживается и относительно свастики.

² Возьмем хотя бы крашеную керамику Pueblo Grande de Nevada, см. Gime Ph, Die verschollene Stadt, Umschau 1926, Heft II, Sp. v. Sydow, E. Die Kunst der Naturvölker und der Vorzeit, рисунки на стр. 324—326, Alte Keramik der Hopi (Pueblo-Indianer in Neu-Mexico und Arizona, Westliches Nordamerika, aus den Ruinen von Awatobi, Kuwiki, Tule-Rosa Canon, См. также Walter Fewkes J. (Washington), Prehistoric pottery designs from the mimbres Valley, New-Mexico, IPEK, 1925, стр. 136—139.

³ Montelius O., Die Chronologie der ältesten Bronzezeit in Nord-Deutschland und Skandinavien, Braunschweig, 1900 («Archiv für Anthropologie», XXV—XXVI), 215—216. То же de Morgan J., Les premières civilisations (1909), 154.

гическими несоответствиями, и искать единого центра зарождения, пускающая волна в разные направления. Все это возможно, так как земля все терпит. Но такая же керамика имеется и в Америке, она найдена в Pueblo Grande de Nevada и датируется несколькими веками до начала нашей эры¹. Я боюсь, что в общем порыве увлечения, например, Нахичеванская керамика сейчас же будет раз'яснена параллельными сравнениями в сторону запада и востока и нахождением единого центра, откуда она пришла к берегам Аракса, тогда как наличие крашеной керамики в Америке будет приписано самостоятельному появлению и развитию на месте. И из всех указанных районов ее только она одна получит такое об'яснение.

Вполне соглашаясь с М. Ebert'ом, v. Sydow и др. в высказываемых ими положениях о мешанных культурах², я полагаю, что для определения хотя бы той же культуры Кызыл-ванка нужно расчленить ее на слагаемые элементы, и определение одного из них, если даже таковое не задержится и окажется совершенно приемлемым, не есть еще определение всех остальных слагаемых, значит, и всей совокупности данной культуры. В этом между прочим заключается иногда и причина отнесения той или иной культуры то к эгейскому миру, то к востоку, так как оба они могут быть элементами смешения, давшего в общем единении свою форму культуры, которая, с этой точки зрения, тяготеет и туда и сюда. Но частичное определение не есть еще определение всего целого. И в мешанных культурах, каковые мы и имеем перед собой, вопрос об определении их до чрезвычайности сложен, а с внешней стороны, при случайных сравнениях, кажется и простым, и быстро разрешимым очень смелыми полетами в разные направления. Здесь вопрос явно осложняется зафиксированным появлением сходных форм изделий рук человека в различных местах и в различное время, то есть затрудняется в своем решении тем явлением, над об'яснением которого в области языкового творчества заняты яфетидологические изыскания.

Я не могу усвоить себе положения, что только большие водные пространства дают право самостоятельному развитию и появлению той или иной формы культуры в различных местах. Что без этого препятствующего сношениям в доисторические времена водного пространства не могли параллельно и независимо даже друг от друга появляться сходные культурные достижения, и что для распространения их мы должны искать единого места зарождения. Иногда да, иногда нет, при чем, может быть, чаще последнее³.

¹ См. указанную выше литературу.

² Ссылки см. выше в примечаниях.

³ *De Morgan* в одной из последних своих работ «Доисторическое человечество» (1923, русск. перевод 1926) высказывает совершенно противоположную мысль, говоря: «Одна и та же идея могла возникнуть самостоятельно у разных народов в разное время. Определенные черты первобытной керамики... не могут быть приняты за хронологические данные, когда дело идет о различных народах или странах» (стр. 230). Но на этой мысли *de Morgan* и останавливается, так как он ревностный поклонник арийского нашествия и всякого рода переселенческих волн.

Значительная причина того подхода, который оспаривается мною здесь, заключается, как мне кажется, именно в делении на белую и черную кость, именно в оторванном подходе к тем памятникам, каковые именуется изделием «цивилизации». Если это и не всегда высказывается категорически, то это все же чувствуется в большинстве научных исследований¹; и когда историк искусства подходит к изучению их, он далеко не часто задается вопросом о предшествующих стадиях их развития, или же останавливается в недоумении перед «варварским» прошлым края и противопоставляет их друг другу как нечто совершенно различное². В результате, он ищет об'яснений не в длительном процессе смешения и скрещения форм, особенно

Читая отдельные строки его работ, можно пожалуй получить и обратное впечатление, но оно будет ошибочным. Так, *de Morgan* не хочет видеть в неолитических племенах арийского нашествия, это он считает ни на чем не основанным «*et d'ailleurs, pourquoi choisir la migration de la pierre polie plutôt que telle ou telle innovation?*» *Premières civ.*, 159. Зачем здесь говорить о миграциях, когда все можно об'яснить тем или другим развитием культуры. Казалось бы ясно—какая тут миграция арийцев. И, действительно, это ясно, потому что *de Morgan* хочет вторжение арийцев отнести не к неолиту, а к последующим эпохам бронзы и железа; но отказаться от нашествия он не может: «Одна из волн,—говорит он,—пришедших из Азии через русские степи, принесла с собою, вплоть до Атлантического побережья, полированный камень, медь и бронзу... затем пришли кельты с галльштадтской культурой» и т. д. (Доист. человек.,—294—295). Картина в общих чертах представляется очень простою, о чем и говорит *de Morgan*, считающий установленным, что в Старый свет культура шла из двух больших центров, лежавших в северной и передней Азии. Сложность же проблемы представляется ему главным образом в том, что продолжать оставаться неизвестным, что происходило в Центральной Азии до прибытия в Европу людей, говоривших по-арийски (*ib.*). «То, что мы знаем в настоящее время,—заключает свою работу *de Morgan*,—является очень малым по сравнению с тем, что остается еще узнать» (*ib.*). Я бы сказал: не очень малым, а чрезвычайно малым. Русский издатель этой работы *В. А. Городцов* вполне согласен с основными выводами французского ученого, но видит в них один громадный недостаток—скептицизм. Скептицизм, дошедший до того, что заставляет *de Morgan* высказываться со слишком большою осторожностью. Впрочем и русский ученый оговаривается, что «археологические факты добываются нелегко, а между тем, каждый новый факт грозит разрушить сделанные заключения и выводы, хотя бы они и покоились на самых остроумных предположениях и догадках. «Работа же *de Morgan*'а, по его словам, была бы сочтена за трубный глас божества, если бы появилась на свет три тысячи лет тому назад» (*ib.*, предисловие, IV—V).

¹ Так, например, *Fr. Poulsen* признает смешение старых основ с новыми, но это не мешает ему утверждать слишком категорически, что «*zum Schlusse des zweiten Jahrtausends v. Chr. an wird (die kretisch-mykenische Kultur) durch die dorischen Wanderungen vernichtet, grosse Völkerwanderungen, die die alten Burgen und Kulturstätten zerstören und die Einleitung zu einer neuen Periode, der griechischen, bilden, vorläufig jedoch nur zu einem Zeitabschnitte, den man mit Recht das griechische Mittelalter genennt hat, in dem Kultur und Kunst so zu sagen von vorn in neuen, frischen Völkerstämmen beginnen musste*» (Die dekorative Kunst des Altertums, Serie «Aus Natur und Geisteswelt», Leipzig—Berlin, 1914, перевод с датского).

² Должен оговориться, что некоторые исследователи проявляют и большую осторожность в вопросах развития культур; так, между прочими, *P. Bosch-Gimpera* (Barcelona), считается с тем, что Испания служила проходным пунктом для народов, двигавшихся из Африки в Европу, все же находит возможным проследить такое развитие и на самом полуострове (Die Vorgeschichte der Iberer. Mitt. d. Anthr. Ges. in Wien, LV, Heft II—III, 1925).

если они происходят без переселения народов, а в единовременном нашествии готового сложившегося культурного целого¹. Это гораздо проще, но отсюда один шаг до поисков единого центра цивилизации².

Что же дальше делать? Археолог конечно должен знать вещь, но вполне законно и желание его понять эту вещь; между тем, пути к таковому познанию нередко вызывают сомнения искателя в своей исчерпывающей полноте. Так, в глазах С. Schuchardt'a один из этих путей, исторический источник (Геродот), не всегда заслуживает доверия. И не один он придерживается такого мнения, когда речь идет об исторических свидетельствах в части, касающейся до-истории, где повествующий источник сам говорит о временах, для него давно прошедших и освещаемых им по умозаключениям современной ему среды. Академик В. В. Бартольд в недавно вышедшей своей статье «Кавказ, Туркестан, Волга»³ тоже находит, что решению вопросов о древнейших культурных связях и передвижениях народов из Европы в Азию или из Азии в Европу скорее могут способствовать труды лингвиста, чем труды историка, и что изучение периодов, освещенных светом истории, может только косвенно способствовать изучению вопросов, связанных с доисторическою жизнью тех же стран.

Следовательно на сообщениях одних древних писателей не всегда можно основываться. Их нужно учитывать при археологических работах, но на них нельзя строить окончательных суждений. Остается как-будто бы сам вещевой материал, к нему естественным образом и должны обратиться научные исследования до-историка. Вопрос только в том, как подступиться к этому материалу, и вопрос этот далеко не так прост. Он осложняется тем, что оценка вещевых памятников, как мы видели, часто ведет исследователей к противоположным и, во всяком случае, далеко не всегда согласованным суждениям о характере и распространении культур. Хотя бы мы и знали, что стараниями научных работников культура все же получает свои толкования, но мы не всегда уверены в достаточности основ для возводимых ими построений. Вещевой материал безгласен, и его трудно заставить «говорить», чтобы постигнуть сущность самой культуры, им представляемой. Говорить же он начнет тогда, когда мы узнаем его в настоящем и прошлом, проследим его со дня его рождения и поймем пережитые им этапы; только тогда мы сможем сказать, что он есть и откуда он родом. И думается мне, что было бы многим полезнее, если бы

¹ Так, например, Генри Осборн оспаривает мнение аббата Вреши о том, что мадленцы являются новыми пришельцами с востока, но оспаривает это лишь потому, что ориньякское и мадленское искусство принадлежит, по его мнению, одной расе кроманьонов. Эти же последние пришли в Европу, уже обладая ориньякской культурой, так как эволюция их совершилась вероятно где-нибудь на материке Азии (Человек древнего каменного века, стр. 205, 256, 272).

² Я затрагиваю в настоящей моей заметке лишь метод исследования, а не колоссальные по своему значению заслуги поименованных и не поименованных мною ученых, добросовестному и бескорыстному служению коих науке обязана археология тем познаниями, которыми мы обладаем в настоящее время.

³ Изв. Кав. ист. арх. инст., IV—1926.

после открытия неолитических писем около Виши приступили бы к поискам того пути, по которому до-историческое человечество дошло до этих писем, а не того пути, по которому пошли сами письма с запада на восток. Всякие формы культурного проявления и все вопросы об их распространении станут многим яснее, когда мы достигнем их генезиса.

Так обстоит дело и со сложнейшим вопросом о крашеной керамике. Если мы уясним ход ее развития, постигнем те формы, из которых она вышла, то и самый вопрос о месте или местах ее зарождения уточнится так же, как значительно уточнится, а частично может быть и отпадет, вопрос о далеком ее кочевании. Если же мы одновременно с этим учтем еще и процессы скрещения, которым подвергалась крашеная керамика в тех случаях, когда она тем или другим путем распространялась, то слагаемые элементы скрещения укажут на местные формы, влившиеся в нее в данном районе, и элементы соседящих, а это уточнит пресловутый вопрос о «переселении» культуры. Такая работа может в своем конечном итоге привести к ответу: «здесь она зародиться не могла», и это будет уже большим шагом вперед; может получиться и обратный ответ. В связи с этим культура должна усилить работу с лозунгом «познай самого себя», углубясь в генетику культуры. Но если сам археологический материал не дает еще твердой опоры для суждений в этом направлении не гадательного свойства, если чувствуется еще шаткость почвы, то очевидно археологии не без пользы было бы присмотреться и к работам в родственных областях, где она могла бы себе найти пособника, который тоже освещал бы темные вопросы до-истории, вырабатывая свой метод, хотя бы и на другого рода материале.

Подход к материальным памятникам человеческой культуры как к памятникам, в основе своей на определенной ступени уже скрещенным, толкование процесса движения культуры как столкновения различных слагаемых, в своем длительном сожителе объединившихся, установление единых основных элементов последующего развития человечества в нем самом как носителя их повсюду где бы он ни жил,—этот подход конечно вырос не на разборе археологического материала. Но разве подход этот чужд археологии?

В данном случае совершенно правы те, кто находят недопустимость работ над вещевым запасом без знания языкового. Вне сомнения, язык освещает памятник, но он освещает его не только тогда, когда надпись имеется на самом изучаемом предмете. Какая же языковая работа имеется здесь в виду в конкретном случае толкования человеческого изделия? Изучение французского литературного языка едва ли многое пояснит в до-исторической культуре Прованса так же, как чтение «Витязя в барсовой шкуре», чтение только с филологическим его разбором, недостаточно прольет света на памятники Закавказья восьмого и предшествующих веков до христианской эры. Филологическая работа тут слабый пособник. Но палеонтология речи, улавливающая самый процесс языкового развития, непосредственно соприкасается с теми же вопросами, которые становятся и перед археологом, и может

уяснить много общих черт с вещевыми памятниками отдаленного прошлого.

Все далеко не второстепенные детали культурной жизни человека выступают достаточно ярко и в памятниках вещевых и в творчестве языка; требуется только определенный к ним подход именно в этом направлении. Языковая речь устойчивее сохраняет старые формы, примеры этому мы видим в живых языках, и палеонтологическая в ней работа, как устанавливается последними трудами академика *Н. Я. Марра*, не только возможна, но и поддается исследовательскому натиску и ведет к весьма определенным результатам. Но здесь, естественно, нельзя ограничиться одним только чтением текста и обычно делаемыми к ним комментариями. Наоборот, усвоение правильного палеонтологического разбора только и выявит те основные положения, каковы наиболее всего пригодны для археологических исканий. Например, казалось бы, что для изучения древностей Закавказья IX—VIII веков до начала нашей эры ближе подходил бы как параллельный пособник халдский язык населения бывшей Турецкой Армении этих же веков, а не армянский, фиксируемый своими письменными памятниками на много столетий позднее. Но в палеонтологических работах оба они равноценны, и даже, более того, языки армянский и грузинский выдвигаются на первую очередь своим богатством и словарным и морфологическим по сравнению с относительно бедным запасом, даваемым нам однотипными надписями древнего Вана. Но оба эти языка—и армянский, и грузинский—важны для археологов до-истории Кавказа главным образом в палеонтологическом освещении, тогда как язык халдов более любопытен для них как передатчик речи и осведомитель в части топонимики и племенных названий того времени, на познание которого направлена лопата археолога. Если же и к халдскому языку приступить с палеонтологическим подходом, то он станет вдвойне необходим исследователю древней поры Закавказья.

Что бы ни говорили отдельные представители науки, хотя бы и из числа сторонников старых яфетидологических работ, вне сомнения, что богатство уточняющего материала лежит для до-историка культуры именно в палеонтологических изысканиях. Процесс языкового скрещения с установлением отдельных скрещивающихся единиц указывает на эти единицы и как на творцов памятников материальной культуры. Стадии развития языковой речи если и не идут совершенно параллельно стадиям развития материальной культуры, то, во всяком случае, методологически указывают на необходимость прослеживания таких же стадий и в творчестве вещевых памятников. Группированные языки отдельных стадий, объединившиеся в языковые группы, понуждают к выяснению таких же групп и в творениях рук человека. Столкновение языков и происходящие вследствие его новые языковые явления имеют параллель и в творческой работе человека над вещевым материалом.

Длительная, непрерывная жизнь, испытывающая в своем наступательном движении толчки от разного рода соприкосновений, то

мягкие, то сильные—потрясающие основы, создает те изменяющиеся этапы или эпохи в культуре, которые, без улавливания самого процесса скрещения, кажутся иногда разрывающими прошлое от последующего с провалом между ними. Исследователь нередко останавливается перед этим кажущимся провалом и сворачивает перед мнимой бездною, тяготея к соблазнительным поискам новой расы, явившейся на смену старой.

Яфетидологические изыскания устраняют мнимую бездну. В этих главным образом палеонтологических исследованиях переселение народов отступает на второй план. Толчок от скрещения двух противоположных течений может произойти и от переселения и от взрыва внутри. Изменения в классовом делении общества могут явиться следствием и того и другого. Перемены в образе жизни и в духовном облике являются следствием как вторжения иноплеменного народа, так и перемен чисто хозяйственного свойства. Переселение же само по себе важно нам как фактор, дававший такой творческий толчок, но вовсе не всегда и далеко не везде как носитель культуры, сложившейся в каком-то отдаленном центре и перенесенный им в другое место.

Еще большой вопрос—с одного ли места Азии пошла по всему огромному материка культура даже металлов. Самостоятельный подход к пользованию ими мог зародиться и, вероятно, действительно зародился даже не в двух и трех местах. И если мы все же не можем допустить, что она везде зародилась своими силами, то распространиться по широкому пространству она во многих случаях могла конечно и без массового переселения. А вместе с металлом шли и названия их, и язык в этом отношении дает не бесполезные указания. Слово, попавшее в чужую среду, нередко падало на родственную подоснову, совершенно так же, как и привнесенная культурная форма не оказывалась вполне чуждою новому месту, сохраняющему пережитки чуть ли не от каменного века. Пережитки эти приравнивались к новым требованиям жизни и видоизменялись; но, в основе своей тоже родственные, они принимали в себя иноземные элементы, сглаживая их несоответствия с окружающими условиями или же поднимая до них отставшие свои собственные формы. В результате происходило смешение нового со старым. Отдельные эпохи, например, века металлов, получали благодаря этому в различных местах свои особенности в своих процессах скрещения, и окружающие их формы культуротворчества на иных предметах не совпадали обязательно по всем местам распространения техники пользования данным металлом.

Торговля, этот крупнейший экономический фактор общения, оказывается в том же положении, и даже исторические великие торговые пути не уничтожали местных особенностей связываемых ими пунктов и промежуточных по пути своего движения. *В. В. Бартольд* сомневается, можно ли говорить об общей культуре даже Золотоордынского ханства, склоняясь к тому, что в каждом крупном городе, от Ургенча до старого Крыма, была своя жизнь и свои культурные традиции¹.

¹ Цит. соч.

Не иначе могло обстоять дело и во времена предшествующие; торговые пути, судя по единичным находкам предметов явно привозного характера, существовали и в весьма отдаленные века до-истории. Между тем, торговля заносила иноземные поделки, но она же несла и культурные формы и разного рода усовершенствования, содействуя тому же процессу скрещения. Все эти движущие культурные силы содействовали в разных местах сходным проявлениям, но общий остов культуры их мог в отдельных местах продолжать оставаться разнохарактерным. Поэтому, даваемые в печатных трудах сравнительные таблицы отдельных образцов до-исторических изделий, не считающиеся с фактом скрещения и не улавливающие его процесса, часто грешат в самой своей основе, определяя всю культуру по случайному или не случайному, но единичному сходству одного или многих слагаемых.

Культура уже развитая, со сложившимся хозяйственным бытом, с выработанными способами общения, впитывает в себя иноземные элементы, может быть, даже более восприимчиво, чем это делает язык, вообще в этом отношении весьма консервативный. При таких условиях археологический материал представляется богатым полем для исследований. Скрещение форм в нем во всяком случае не менее заметно, чем в живых и мертвых языках. В то же время стойкость форм несомненно наблюдается и в нем, и пережитки в нем крайне живучи. Дошли же они до нас конечно не в первоначальных формах и не в первоначальном их значении. Они осмыслены уже иначе и переживают свои семантические ряды, подобно тому, как это происходит и в языке. Заимствование чужих мотивов и их усвоение в общем комплексе данной культуры иногда перерождают их, подгоняя под общий стиль,—это тоже явление родственное языковым, где чужие слова подчиняются требованиям фонетики воспринявшего их народа. Народное творчество накладывает свой отпечаток как в языке, так и в вещевых изделиях. Народ творит, и творчество его до чрезвычайности сложно во всех своих слагаемых факторах. Но отсюда вовсе не следует, что мы должны бояться такой сложности и успокоиться на простом объяснении переноса культуры и отдельных ее форм в чистом виде, хотя бы это и облегчало труд исследователя. К тому же слишком большие, нередко, перерывы в пространстве и времени подрывают доверие к подобного рода объяснениям.

Когда мы имеем крашеную керамику так называемого архаического типа в Египте, Анау и додинастическом Египте, то сосредоточение их в относительно близких районах могло навести и действительно навело исследователей на мысль о единой прародине культуры, давшей в общих очертаниях сходные проявления на данного рода керамических изделиях. Когда же к этим районам присоединяются еще Китай и до известной степени Америка, то некоторого рода сомнения в правильности взятого научного направления в объяснении такого явления начало чувствоваться все сильнее и сильнее. Для яфетидолога эти сомнения отпадают, так как методологически он подходит к разрешению вопроса совсем с другой стороны. Имея на примере

языка стадийные переходы от одного строя речи к другому, имея здесь определенные стадии развития речи, прослеживаемые в непосредственной связи с окружающими условиями жизни человека в тот или другой период, с отражениями в языке общественных его группировок и хозяйственной его деятельности, яфетидолог неизбежно применит и к археологическим изысканиям тот же метод исследования.

В жизни языка откладывают свой отпечаток такие явления, как возникновение понятия права собственности, хотя бы на примере местоимений. По семантическим рядам прослеживаются как эпохи магического уклона мышления, так и эпоха реализма (небо || бог → храм → алтарь; бог → властитель || царь → господин → барин), не исключая и хозяйственных потребностей человека, когда одно и то же название переходит от одного животного к другому, по мере использования такого человека для тех же или сходных целей¹. Выросши на почве Кавказа, яфетидология не так давно перешагнула за его географические границы, прослеживая яфетическую группу языков. В настоящее время она уже вышла за пределы яфетической группы, прослеживая общие начала возникновения человеческой речи. Палеонтологические изыскания установили наличие четырех основных элементов, называвшихся и теперь еще условно именуемых «племенными названиями», условно потому, что они будут племенными лишь с эпохи племенного образования, по существу же своему они предшествуют таковому, являясь исконными для звуковой речи. Как основные элементы человеческой речи вообще, они присущи человеку повсюду, где бы он ни находился, так же, как присущи ему одни и те же характеризующие человека части тела и органы.

Чем реликтовее язык, тем ярче выступают в нем указанные основные элементы с их семантическими рядами. В связи с этим, подход к изучаемому языку у яфетидолога резко отличается от лингвиста другой школы. Последний, улавливая сходные образования прибегает к сравнительному методу и переходит к прослеживанию родства языков и отсюда к передвижению человека, неизбежно уделяя переселению преувеличенное значение. Недавно мы слышали, что на только что бывшем съезде американистов отвергнуто было предположение о движении человека вдоль всего восточного берега Азии до Аляски и оттуда вдоль всего западного берега Америки до Огненной земли включительно, отвергнуто было потому, что это оказалось уже слишком длинным. Более естественным предполагалось движение из Азии в Америку чуть ли не по льдам Южного Ледовитого океана, чему, между прочим, была приписана и привычка южного американца к холоду, легкость переноса холода даже в голом виде в отличие от кутающегося эскимоса. Яфетидология конечно подойдет к американскому вопросу с другим методом. Для нее исчезнувшие материи будут лишь потонувшими материками с потонувшим

¹ Н. Я. Марр. Средства передвижения, орудия самозащиты и производства в до-истории (к узязке языкознания с историей матеральной культуры), изд. Кав. ист. арх. инст., Ленинград, 1926.

языковым и археологическим материалом, для других—это будут земли, через которые двигался человек, или на которых находился культурный центр, давший культурные волны и сам погрузившийся в волны океана.

Совершенно иную оценку получают в глазах яфетидолога и работы последних годов Flinders 'a Petrie¹. Английский ученый прослеживает археологические и мифологические параллели Египта с Кавказом. Он считает, что мифологическая подоснова, сконцентрировавшаяся позднее в сборном тексте Книги Мертвых, чужда долины Нила и перенесена в Египет с Кавказа, в подтверждение чего ссылается на ряд топонимических названий, идущих от берегов Азовского моря до Апшеронского полуострова и на юг до персидского Решта. Яфетидолог не увлечется поисками прародины египетской цивилизации на Кавказском междуречье и не будет торопиться, при наличии данных, розысками Бадарианской культуры в бассейне Куры и Аракса. Но он признает в работе Flinders 'a Petrie то, чего не усмотрят в них историки культуры. В трудах авторитетнейшего египтолога он отметит крупный сдвиг, выразившийся в палеонтологическом подходе не только к самой Книге Мертвых, что делалось еще и раньше, но и к упоминаемым в ней топонимическим названиям, имеющим объяснение на почве самого египетского языка. Английский ученый отверг такие научные этимологии и усмотрел в этих названиях доисторический для Египта пережиток. И если он, следуя опять-таки общему течению научной мысли, перешел на прослеживание переселения, то все же он, хотя бы и произвольно, отметил параллельные явления и в Египте и на Кавказе, и с этой стороны труд его ценен для яфетидолога, хотя бы последний и не мог в данном случае стать на принятую точку зрения о переселении мифа. В этом примере ярко выражается разница в методологическом подходе. Одни, может быть, увлекутся поисками египетской прародины, другие же учтут лишь регистрацию сходных названий в Египте по мифическим сказкам и на Кавказе по историческим его картам.

В работе своей «Доисторическое человечество» J. de Morgan признает, что «палеолитическая индустрия почти универсальна, во всяком случае она чрезвычайно распространена. Существовала она, вне всякого сомнения, в различные эпохи, соответствуя одинаковым нуждам и используя одинаковый материал²». Из этих слов явствует, что сходная обстановка жизни человека является причиной сходных форм его культуротворчества. Эти внешние причины, сказали бы мы, обуславливают то, что выделяется как определенная стадия культурного развития. Этнический состав, как носитель определенной культуры, тут не при чем. В данном случае и сам французский ученый, вообще яркий представитель переселенческих теорий, вынужден признать, что данных для определения этнического состава слишком мало даже в среднем палеолите. Сличая мустьерскую индустрию

с ашельскими орудиями, он находит, что «совпадение их типов заставляет предполагать, что обе индустрии одновременно распространились по большей части западной и центральной Европы; однако, из этого вовсе не следует,—говорит J. de Morgan,—что различные народы, жившие в этих странах, были одной расы, и несколько найденных тесных камней не могут осветить нам этнические вопросы¹. По его же словам, в настоящее время нет ни малейшего сомнения в том, что ориньякская культура возникла из индустрии мустьерской². Ориньякская же культура есть уже культура человеческого стремления к искусству, прослеживаемая G. Wilke в различных своих видоизменениях до веков металла включительно. Мы получаем как будто бы сплошные переходы, и осмысление таких переходов есть дело археолога.

Если учитывать не одни только переселения, но главным образом окружающие человека условия и самую обстановку его жизни как охотника, скотовода, земледельца, как стадного человека, как человека-собственника с последующим затем сословным его делением, то мы неминуемо перейдем к вопросу о стадиях развития, зависящих от общественных группировок и экономических условий. Изделие рук человека должно обуславливаться этим, иначе оно утрачивает смысл своего существования. При изменившихся условиях вымирают или перерождаются старые формы и зарождаются новые. При развитом обществе, уже делящемся на классы, мы такое же деление видим и в самих изделиях. Например, глиняная посуда не прочна и мало пригодна охотнику, развитие керамического производства едва ли присуще даже скотоводу с бродячим образом жизни, расцвет египетского земледельческого периоде, но земледелец, уже оседлый, скорее, чем другие, переходит к использованию недр земли, и, в связи с этим, к металлам. Тонкого изготовления глиняные сосуды требуют уже определенной зажиточности, спрос же на художественную орнаментацию мог появиться в населении с определенным его делением по степени материального благосостояния. Образовавшийся зажиточный класс мог предъявлять свои требования, и искусство в определенной своей части приравнивалось к ним. Таким образом выясняется наш взгляд на крашеную керамику, где бы она ни находилась,— в Эламе ли, в Анау, в Эриду, в Нахичеванском крае, в Китае или Триполье. Крашеная керамика есть определенная стадия, обусловленная в своем развитии определенным общественным и экономическим строем, несомненно, развитым и с оседлым образом жизни.

Сходная в общих чертах внешняя обстановка жизни человеческого общества обуславливала развитие той или иной стадии. Вопросы переселения тут главенствующей роли не играют. Они имеют силу лишь постольку, поскольку мы в каждом отдельном случае прослеживаем их значение главным образом как фактора культуротворчества, как нового элемента или в корень уничтожившего все пред-

¹ Origin of the Book of the Dead, Ancient Egypt, 1926, June, Part II.

² De Morgan J., Доисторическое человечество, русск. перевод 1926 г. стр. 48.

¹ Цит. соч., стр. 52.

² Там же, стр. 54.

шествующее, что крайне редко и для чего у нас должны быть точные данные, или же, что чаще и на что особенно должно обратиться наше внимание, слившегося с тем, что было на месте. В последнем случае переселение дает толчок к изменению прежних экономических условий и общественных группировок, то есть к переходу на другую стадию культуры. Если же переселение не дало такого толчка, то оно прошло бесследно, и реальные результаты его слабо осязаемы только в деталях развития прежней стадии как следствие скрещения.

Значит, и в этом случае все значение заключается в соприкосновении и в толчке, а не в самих только фактах переселения. Толчки же могут происходить от различных условий, между прочим, как уже указывалось, и от обострившегося неравновесия в общественных группировках, приведших к внутреннему взрыву, и, как полагает W. Déonna, от технических усовершенствований. Женевский ученый приписывает крупнейшие перемены в жизни человечества усовершенствованиям в технике обработки камня, а потом металлов, а в исторические времена приписывает их не владетельным князьям и полководцам, даже не поэтам и артистам, а технику¹. Рука, по его словам, есть действительный двигатель человеческой цивилизации, и он вполне присоединяется к Анаксагору, сказавшему, «что человек наиболее разумен среди животных, так как он имеет руки»². И, действительно, в доисторические времена, «рука», а не «переселения», характеризует культуру. Может быть именно поэтому рука сохранила такое особое значение и в изделиях вещевых памятников и в творчестве языка, в каковом она могла отразиться не только как пережиток линейной, до-звуковой, речи, но и как экономический фактор, современник уже фонетического языкового строя. Поэтому яфетидология, думается мне, разделит многие положения швейцарского ученого, равно как и его утверждения, что лингвистические изыскания помогают в сложном деле толкования памятников материальной культуры так же, как и археология оказывает взаимную помощь лингвистике. Яфетидолог вполне примкнет и к его утверждениям о зарождении из общей человеческой подосновы сходных явлений при сходных условиях, вне зависимости от времени и пространства, роднящих Фидия с Микел-Анжело, без взаимного влияния их одного на другого, роднящих микенскую фибулу с современными застёжками, роднящих мифы, находимые хотя бы на почве Греции и Австралии. Приемлемым оказывается и утверждение его о необходимости учета при археологических исследованиях как факторов естественных—климата, почвы, так и социальных, экономических, религиозных и др.³

Если яфетидологические изыскания ведут к установлению стадий языковой речи в соответствии с определенными стадиями общественной и экономической жизни, то по тем же принципам должны распределиться и стадии развития материальной культуры. На этих по-

следних, в зависимости от указанных основных факторов, отлагает в значительной степени свой отпечаток и духовная структура человека, его эмоциональное реагирование, его магический уклон мышления и его реалистическое восприятие, также распределяемые на стадии.

Но как сама археология, взятая, выражаясь словами того же W. Déonna, отдельно, без учета других дисциплин, ведет к частым ошибкам в объяснении культурных течений жизни человека¹, так и обособленное изучение стадий и тем более культурных основ в тесных пределах географических районов не дает определенной картины. Движение культуры идет скрещением не только форм техники, например, камня с металлом, но и скрещением человеческих масс. Отсюда—неизбежное расширение кругозора с учетом взаимных влияний друг на друга и тех и других. Идя этим путем, мы сможем точнее установить и определенные культурные объединения, определенные группы, как это прослеживается в языках, в пределах стадийального их развития, разбираться в их индивидуальных оттенках, как своеобразном результате своих скрещений, и опять-таки во взаимных соприкосновениях выясняемой группы с иными группами. Сможем учесть привнесенные элементы и их приноравливание к окружающей среде.

Однако, человеческое общество не приемлет то, что ему чуждо, и новая форма может скреститься со старою только при подходящих условиях. Таким образом и самый процесс скрещения мы постигнем только тогда, когда не будем рассматривать его оторванно от экономической и общественной базы исследуемой среды.

До-история человечества, как и вообще вся его культура, включая и исторические времена, будет многим понятнее, если мы приступим к изучению и вещевых памятников с делением в вертикальном разрезе не на эпохи чередующихся смен народов, а на стадии развития самой культуры в ее целом с выяснением основных особенностей, характеризующих эти стадии, и с последующими группировками в пределах каждой стадии в горизонтальной плоскости их распространения, если мы проследим переходы культурных форм из одной стадии в другую с соответствующими семантическими их продвижениями как во внешнем облике отдельных проявлений на памятниках материальной культуры, так и в их осмыслении, и если, наконец, мы постигнем причины таковых стадийальных переходов, равно как и состояния каждой стадии в зависимости от условий жизни человека в окружающей его общественной среде с последовательными в ней переменами и с присущими ей экономическими и духовными особенностями, при постоянном жизненном процессе скрещения старого для данного места с новым для него же, будь оно тут же вновь зародившимся в зависимости от изменившихся потребностей данной человеческой среды, или же пришлым со стороны. В последнем случае займет свое место и затронутый нами переселенческий вопрос.

Полное умирание жизни в каком-либо месте и новый приход сюда же свежего человека есть, по всем данным, сравнительно редкое явление

¹ Déonna W., L'archéologie, son domaine, son but (Paris 1922), p. 75.

² Там же, стр. 72.

³ Там же, стр. 237, 267, 269, 270.

¹ Цит. соч., стр. 255.

ние, но и в этом исключительном для общего течения культуротворчества явлении все же налицо процесс скрещения, хотя бы он и выразился лишь в приноровлении принесенной культуры к условиям жизни ее на новом месте, то есть в скрещении старых условий, на почве которых росла данная культура, с теми новыми, в которой ей предстоит дальнейшее развитие, включая сюда же и общение с новыми для пришельца соседями.

Присматриваясь к работам археологов, углубившихся в искания истины, невольно, в своем собственном увлечении этими же работами, хотелось бы видеть такое же «скрещение» и в труде вещеведа с яфетидологом. Вне сомнения, в настоящее время они разделены весьма приличным пространством одни от других, и если бы «переселение» археологов из их «далекого центра» дало бы «толчок соприкосновения», то кажется нам, что от этого археологические работы только выиграли бы. Здесь, на наших глазах, проходит творческий труд яфетидологии, и археолог при перемене своего «русла жизни» сделался бы свидетелем и соучастником в разрешении многих вопросов до-истории. Тут, в процессе самих работ, не должны смущать нас ни изменения в выводах, делаемые под «напором» нового материала, ни новое освещение темных вопросов иногда гипотетическим нащупыванием. Яфетидология сама живет своими «этапами развития», и в такой жизни вся ее сила. При этом едва ли достаточно слушания одних только докладов, читаемых в торжественной обстановке, ими нельзя удовольствоваться, когда тут же рядом идет сама живая работа. В ней, в этой живой работе, усваивается метод и выискиваются пути к познанию человека в его прошлом и настоящем. Происходящая на глазах работа по толкованию сложнейших вопросов, когда старые объяснения опровергаются новыми, уточняет смысл отказа, выявляет недостатки прошлого объяснения, заставляя глубже и сознательнее уходить в анализ, хотя бы и производимый над тем же самым материалом. Но мало видится поползновений ко взаимному общению даже и у нас, и чрезмерное преувеличение культурной роли переселения вовсе еще не ослабевает.

Разве G. Wilke виновен в том, что он лишь более ярко выразил господствующий «бурный поток» исследовательских исканий?

И. Мещанинов

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ МАРКСИСТСКОГО ИСКУССТВОВЗНАНИЯ

I.

Для марксистского искусствознания, естественно, основным является прежде всего установление места искусства в системе общественного развития, установление понятия и форм самого художественного процесса в его целом. Ибо основной предпосылкой марксистского искусствоведения является включение искусства в общий поток общественной жизни, изучение его как одной части, одного из проявлений последней и устранение однобокости идеалистического искусствознания, которое рассматривало искусство имманентно, изолированно и не могло объяснить его объективно.

В своем общем виде данная задача была уже поставлена и в той или иной степени разрешена еще основоположниками марксизма¹. В настоящее время встают вопросы более детальной проработки ряда отдельных проблем, углубление некоторых из них и, самое главное, задача применения диалектического метода в науке об искусстве. Первой проблемой является определение самого понятия искусства, — художественного процесса и его специфика. О последнем до сего времени дискутируют все школы и направления искусствознания. То он сводится к вопросу об искусстве, как познании, или строительстве жизни, то к форме или содержанию, к художественной воле, технике, материалу. Нет возможности перечислить все оттенки дискуссии. Однако могут быть отмечены две основных линии. Первая представлена последователями формалистически-идеалистического взгляда на искусство и настаивает на его *имманентном*, самодовлеющем истолковании, на определении и объяснении искусства на его собственной почве. Школа Гильдебранда-Фидлера² дала законченный

¹ Обычно указывают, что Маркс и Энгельс не дают ничего для уяснения вопросов искусства, и комментируют только отрывок из «Введения к крит. полит. экономии». Это неверно. Помимо того, что в трудах Маркса и Энгельса разбросан ряд глубоких и ценных замечаний об искусстве, — в своем анализе идеологий вообще (куда они относили искусство) они дали полное представление о понимании и истолковании искусства.

² Гильдебранд, Проблема формы в изобразительном искусстве, 1914, М., стр. 67. «исторический метод... рассматривает искусство, как продукт личных

образец подобного разрешения вопроса. Фидлер выставил в качестве основного—требование об 'яснения искусства только из его собственной основы. В конце концов он наиболее отчетливо выразил основное положение идеалистического искусствознания. И Вельфлин (который и сам не отрицает влияния Гильдебранда и Канта) с его независимыми от исторического развития категориями «видения»¹, и Дессуар, указывающий, что «художественные формы ведут свою собственную жизнь и создают свои особенные задачи»², и др. имеют исходным пунктом то же положение, как бы близко они не подходили к более об 'ективному пониманию закономерности художественного процесса в ряде частных вопросов. Отсюда модные ныне теории «внутреннего органического роста» и ей подобные. Этому имманентному рассмотрению искусства марксизм противопоставляет социально-функциональное, включая искусство в процесс общественного развития как функцию последнего. Именно такое понимание искусства мы находим у Маркса и Энгельса. Обращаясь к ним, необходимо констатировать, что в основе их понимания искусства лежала всегда мысль о невозможности рассмотрения искусства самого по себе и в самом себе, невозможности установить его специфику, исходя из такого узко-замкнутого рассмотрения. Основным тезисом Маркса и Энгельса об искусстве следует считать тот, в котором четко сформулировано: «Не существует вовсе истории политики, права, науки... искусства, религии»³. Этим подчеркивается функциональная зависимость искусства от общественного процесса материально-классовых условий, определение последними пути его развития.

Данный тезис часто неправильно толкуют как недооценивающий общественную роль и значимость искусства⁴. Еще в своем письме к Мерингу Энгельс дал исчерпывающую оценку подобным «идиотским представлениям идеологов»⁵.

Но если искусство не имеет самостоятельного, имманентного развития, то какое место занимает оно в общественном развитии? Что

особенностей данных индивидуумов, или как результат условий данной эпохи и данных национальных особенностей... Побочные отношения становятся главным, а художественно-существенное содержание, которое независимо от всякой смены времен следует своим внутренним законам, игнорируется».

¹ *Wölfflin H. Kunstgeschichtliche Grundbegriffe*, Münch., 1923, S. 241—242. Вельфлин лишь в известной мере допускает воздействие «внешних» обстоятельств (S. 245 и др.). Но и они сводятся им к расплывчатому «темпераменту» или «духу времени», индивидуальности художника и т. д. Такое признание (частичное) внешней закономерности, как привеска к внутренней закономерности самого искусства довольно распространено (см., напр., Шмит, Предмет и границы социологического искусствознания. Л., 1927).

² См. *Zeitschr. f. Asth. u. allg. Kunstwissenschaft*, 1927, В. XXI, S. Н. 2, *Max Dessoir*, *Kunstgeschichte und Kunstsystematik*, S. 132 и след. (доклад на 3-м конгр. эстетики и общего искусствознания в Галле, июнь 1927). Он требует методологии искусствознания из ее собственных основ (133), указывая на полную неприемлемость диалектического метода.

³ Архив Маркса и Энгельса, кн. I, 1924, стр. 253.

⁴ Напр. *Шмит*, указ. соч., стр. 40—43.

⁵ См. *Маркс и Энгельс*, Письма, изд. 1923, стр. 338.

является движущей силой, его определяющей? Суб 'ективизм идеалистического искусствознания заставляет его обращаться за ответом на этот вопрос к индивидуальной художественной воле, провозглашая подобно Ланге: «Эстетическая красота природы существует только по милости художников» («*Asthetisch schön ist die Natur nur aus Künstlers Gnaden*»), или Дессуару «Художественное произведение и творец равноценны» (*Gleichgesetzt*), или к расплывчатому «духу эпохи» «духовным типам человека» (*Geistige Menschentypen*) и тому подобным категориям¹. В противоположность этому марксистское искусствознание исходит из реального жизненного процесса, из социально-классового суб 'екта как творца искусства. «Мы будем исходить из реально деятельных людей, пытаюсь вывести из их реального жизненного процесса также и развитие идеологических рефлексов и отражений этого жизненного процесса. Туманные образования в мозгу людей являются тоже необходимыми сублиматами их материального эмпирически констатируемого и связанного с материальными условиями жизненного процесса. Таким образом мораль, религия, метафизика и прочие виды идеологии и соответствующие им формы сознания утрачивают свою видимость самостоятельности. У них нет вовсе истории, у них нет развития. Только люди, развивающие свое материальное производство и свои материальные сношения, изменяют в этой своей деятельности также свое мышление»². Развитие материалистического взгляда на искусство начинается еще в недрах идеалистического искусствознания. Он, правда, был представлен или грубым не-диалектическим материализмом, или таким же не-диалектическим социологизмом, но важно то, что ясно осознавалась невозможность понять и об 'яснить искусство, оставаясь на его почве. В те же семидесятые годы, когда выступили Гильдебранд и Фидлер, получает широкое распространение теория Земпера, изложенная им еще в 1860-ых годах. В противоположность первым он стремится вывести искусство непосредственно и исключительно из материально-технических условий. Каждую художественную вещь он считает результатом ее назначения (цель) и материала³+техника. Взгляды Земпера не остались только его достоянием, и можно было бы показать, как они развивались вплоть до нашего времени как результат протеста против спекулятивной, идеалистической эстетики. Но это

¹ Напр. *Dessoir*, op. cit., стр. 135, 136. Теория «художественной воли» разрабатывалась Риглем (Riegl) и Воррингером (Worringer). В последнее время эта теория получила очень широкое распространение—см. *Panofsky E.*, *Der Begriff der Kunstwollens*, *Zeitschr. f. Asth. u. allg. Kunstwissenschaft*, В. XIV, и «*Das Problem des Stils in der bildenden Kunst*», Bd. X. Он не согласен с Вельфлином, выдвигающим в качестве последней инстанции развитие и изменение видения; см. также статью *Siegel C.*, *Grundlinien einer Asthetik des analytisch—sintetischer Kunstphilosophie*, где утверждается: «*Kunst ist Ausdruck der Persönlichkeit gelegentlich bestimmter erregender Eindrücke*». (*Z. f. Aesth. u. allg. Kunstw.*, В. XXI, S. 8.).

² Архив Маркса и Энгельса, кн. 1.

³ *Semper G.*, *Der Stil in d. technischen und tektonischen Künsten*, Frankfurt a. M., 1860—1863, В. I, Einleitung., особ. S. 7—8.

не входит сейчас в нашу задачу. Нам важно было лишь показать, что эти обе линии были одинаково односторонними, ибо если земпианцы и хотели вывести искусство из материально-технических условий, то они игнорировали его как идеологию, как производство не материальных, а идеологических ценностей, на чем, как мы видели, настаивают основоположники марксизма. Здесь мы вступаем уже в область споров об определении места и спецификама искусства, имеющих в настоящее время. Когда Плеханов сформулировал свою знаменитую пятичленную формулу¹, для него было совершенно ясно, что искусство находит свое место в ряду общественных идеологий. Этим был разрешен вопрос об общественной значимости искусства и, с другой стороны, его отличии от других проявлений общественного процесса. Но в настоящее время снова подвергают его решение сомнению, подменяя вопрос об общественной значимости искусства как идеологии, вопросом об узко-локальном функционализме вещи искусства, скорее, как комплекса материалов и приемов оформления, игнорируя моменты идеологии, содержания. Те из марксистов, которые видят в искусстве «сгустки психологии», идеологический эквивалент—объявляются идеалистами и принуждены еще раз доказывать закономерность подобного подхода². Тов. Маца в одной из последних своих работ подверг обстоятельному анализу данный вопрос и подробно выяснил отличие искусства как идеологического производства от производства материального. «Когда общественный человек создает «вещь», от функций которой непосредственно получает результат... он создал предмет материальной культуры, имеющий свою социальную значимость в непосредственном удовлетворении актуальных потребностей, и который по марксистской терминологии называется не «вещью», а орудием, в широком смысле этого слова. Но когда он создает «вещь», результат функций которой получается только через посредство воздействия на сознание, он... сделал предмет идейной культуры, имеющий свою социальную значимость в посредственном удовлетворении актуальных потребностей»³. Это и есть надстройка, в частности, искусство. И основное здесь не процесс воздействия на материал, а иная социальная функциональность содержания и форм, воздействующих прежде всего на сознание, прежде всего идеологически. Только с этой точки зрения можно говорить о «духовном» производстве, производстве идей (и искусства), которое отлично от производства материального. В основе этого различия лежат различные способы практического освоения общественным человеком внешнего мира и общественного процесса, о которых говорит Маркс во «Введении к критике полит. экон.»⁴. Между тем в настоящее время есть тенденции к преувеличению значения искусства как техники, материала, в ущерб его идеологически-классо-

¹ Плеханов, Основные вопросы марксизма, 1923, стр. 68 и сл.

² Напр., Иоффе, Культура и стиль, 1927, стр. 65.

³ Маца И., К вопросу марксистской постановки проблемы стиля, ВКА, № 25 (1), 1928, стр. 102—103.

⁴ Маркс, К критике полит. экон., стр. 17.

вому содержанию. Это стремление приняло в наши дни солидные размеры и может быть приравнено отошедшей в прошлое «мининщине» в философии. «Философию за борт, да здравствует голая наука и техника», было там лозунгом. «Содержание, идеологию за борт, да здравствует в искусстве техника, материал, прием», перекликаются с мининцами наши «сверхматериалисты», производственники-технологисты, всякие «форсоцы», запоздалые последователи Земпера и проч.¹. Подобные взгляды есть лишь замаскированная ревизия классовости искусства, отрицание его классового содержания. Так, Иоффе приходит к выводу, что искусство вообще приобретает свое содержание лишь в процессе его использования и всякий раз в искусстве, в художественное произведение можно привнести любое содержание². Если быть последовательным (а Иоффе нельзя отказать в известной последовательности), то нужно сделать вывод, что пролетариат в любое старое искусство может привнести свое содержание и что все марксисты очевидно занимаются пустым делом, когда говорят о классово-враждебном пролетариату (по своему содержанию прежде всего) искусстве. Вслед за этим нужно предположить, что буржуазное искусство никогда не могло воздействовать на пролетариат, ибо последний может вложить в него любое содержание. Последователи Иоффе не могут отказаться от этих выводов, так как они вытекают из отрицания искусства как идеологии, отрицания содержания. Гегель любил говорить, что в искусстве мы имеем органически овеществленную идею³. Вся сущность марксистского взгляда на искусство заключается в устранении однобокости исключительно формального, или технического рассмотрения искусства, и в устранении дуалистичности, разрыва между формой и содержанием. Искусство рассматривается как единство формы и содержания. Гегель считал, что достоинство искусства зависит от органического единства формы и содержания. Гаузенштейн глубоко неправ, утверждая, что «изобразительное искусство социологически может быть рассматриваемо с двух точек зрения: с точки зрения содержания и с точки зрения формы»⁴, ибо подобная механичность и дуалистичность противоречат марксистскому пониманию искусства, как единства. Оно должно быть рассматриваемо как целое с точки зрения социально-функ-

¹ См., напр., статью Якубовской И., О природе искусства («Печать и революция» 1926 г., кн. 1), где есть подобные тенденции, ясность которых, однако, затуманена весьма странной постановкой вопроса о зависимости искусства («от идеологического воззрения»). Работы Арватова, Лю Мертен, статьи «конструктивистов», и т. п.

² Иоффе, Культура и стиль, стр. 18, также 63 и след.

³ Вообще Гегель в рассмотрении искусства, как развивающегося диалектически процесса и как единства идеи и формы в чувственном воплощении, является первым, так или иначе поставившим вопросы диалектического понимания искусства. Но как в философии, так и здесь конечной движущей причиной является абсолютный дух, и эстетика Гегеля должна быть, как и его философия, поставлена «на ноги». В своем конкретном анализе он и сам часто не выполняет свой тезис: «Предметом искусства является прекрасно в себе и для себя» (Введение в философию, стр. 191) и идет об'яснения в исторических условиях.

⁴ Гаузенштейн, Опыт социологии изобразительного искусства, стр. 27.

циональной. Утверждения, принимающие во внимание только форму или только содержание, ищущие спецификум в том или другом, одинаково неверны и односторонни. Это несколько не опровергает однако нашего положения, не раз высказывавшегося ранее, что форма по отношению к содержанию есть величина функциональная. Если мы встанем на точку зрения зависимости художественного процесса от содержания общественной (классовой) психики, которая и диктует содержание художественного процесса, и последний тогда представляется как инобытие этой психики, то указанное утверждение будет оправдано. Но как и в каждом процессе, форма вовсе не является моментом пассивным, и если она—производное, то в известном смысле может быть и производящим. Форма художественного процесса (или произведения) в свою очередь оказывает влияние на содержание и даже способна частично его видоизменять, приспосабливая к себе. Значит ли однако, что этим утверждением фетишизируется содержание, возводится в какой-то категорический императив? Вовсе нет. Если бы мы так поступали, то правота «сверхматериалистов» была бы очевидной. Иоффе приводит в качестве конкретного примера «Дон-Кихота», указывая, что в течение веков он по-разному воспринимается и обладает разным содержанием, смыслом, в него вкладываемым. Это в известной мере верно. Но вытекает ли из этого, что все дело в механической смене содержания? Отнюдь нет. Вообще говоря, мы не знаем художественного произведения, которое удовлетворяло бы одинаково все эпохи общественного развития, все социальные группы и применялось бы с одинаковым успехом. Пушкин писал только 100 лет назад, и то уже несколько раз сбрасывался с «парохода современности». Христиане разрушали античное искусство как чуждое и враждебное им по содержанию, по идеям овеществленным в античных статуях и др. художественных произведениях, а значит, и по формам их. Вопреки утверждениям «сверхматериалистов» они не могли вложить в них своего содержания и оставалось утилизировать мрамор. Брюллова похоронили в 60-х годах и за содержание и за форму. Из этого вытекает, во-первых, что вечного искусства (и по содержанию, и по форме, «приемам оформления») нет. Что же касается того искусства, которое, будучи создано в определенную эпоху, все же применяется и живет актуальной жизнью и в последующие времена, то здесь дело не в том, что в неизменную форму привносится разный смысл, разное содержание. Ибо если художественный факт есть единство, то не всякое содержание можно согласовать с данной формой, и обратно. Разрешение вопроса будет достигнуто, если мы встанем на точку зрения рассмотрения искусства как многостороннего и развивающегося факта, имеющего не застывшие формы и содержание, а их единство как развивающееся многостороннее целое. Диалектика учит нас, что каждый предмет (следовательно, и художественный) абстрактно (потенциально) может иметь несколько возможностей своего применения, но в данной конкретной обстановке в зависимости от реальной практики, от тех условий, в которых он существует, все возможности снимаются, за исключе-

нием одной, и последняя становится уже необходимостью, заслоняющей остальные возможности¹. Поэтому марксисту не кажется странным, что одно и то же художественное произведение в разные моменты, этапы общественного развития выступает каждый раз в новом применении, истолковывается по-новому, ибо он учитывает все возможности его применения и использования. Однако, последние не исчерпываются механическим «привнесением» содержания, а находят свое объяснение в диалектическом взаимодействии потребностей общественного (классового) субъекта, имеющего дело с искусством (т. е. социальной необходимости), и тех реальных возможностей к удовлетворению этих потребностей, которые имеются в самом художественном произведении. Это не значит однако, что многосторонность художественного предмета такова, чтобы создать ему вечную жизнь и актуальность. Наступает такая конкретная эпоха, которая отрицает основные черты содержания и форм данного искусства, идеи, в нем овеществленные, предъявляет к искусству такие требования, которые данное искусство не может удовлетворить при всех возможностях его применения. Так бывает при смене общественных и классовых формаций, при коренных социальных переворотах.

Нужно отметить еще, что игнорирование художественного процесса, как идеологического, приводит «сверхматериалистов» и производственников формалистов к грубому упрощению в самом изучении искусства. Непосредственное выведение форм искусства из форм материального процесса, свойств материалов и т. п.—дань этому.

Но подробный анализ всех ошибок их отвлек бы нас далеко от основной темы. Вернемся к вопросу о понятии художественного процесса. Из всего того, что здесь было сказано, можно сделать следующий вывод: *искусство (художественный процесс—этот термин мы считаем более соответствующим марксистскому пониманию искусства, как развивающегося процесса) не может быть понято и определено только из его формы² или содержания, а должно быть взято в его общественно-классовой практике и в его связи с социально-классовым субъектом*. Если мы возьмем теперь общую формулу Маркса по отношению к идеологическим процессам: «материальное переработанное и переведенное на язык идеального», то ее применение к художественному процессу будет следующим: *искусство (художественный процесс) есть та область общественной идеологии, которая имеет своей задачей воспроизводство и переработку содержания реальной практики общественного (классового) субъекта в виде идей и представлений, облеченных в чувственно-воспринимаемую и эмоционально-акцентированную форму*. Но реальная практика служит материалом искусства не непосредственно; идеи и представления о ней слагаются прежде

¹ Ленин, Еще раз о профсоюзах. Беру в формулировке Луппола. («Ленин и философия»).

² Здесь нужно вполне согласиться с т. Бухариным, что форма не является специфическим признаком искусства, т. к. форма есть категория, которая свойственна любому процессу или вещи (см. Бухарин Н., О форм. методе в искусстве, «Красная Новь», 1925, № 3, стр. 254).

всего в сознании (психике) общественного человека, и лишь затем переключаются в сферу искусства, принимая здесь *форму образа*. Таким образом если речь идет о *непосредственной* задаче искусства, то она заключается в воспроизводстве и переработке психо-идеологического процесса в целом в рамках процесса художественного, что обусловлено реальной практикой (положением в хозяйстве и обществе) данного социально-классового субъекта. Эта реальная практика диктует присущий данному классу (обществу) художественный способ практического освоения внешнего мира и общественного процесса, как отличный по своему содержанию и формам от всех иных способов практического освоения. Здесь образ (идея) выступает не как формальная категория, но как конституирование содержания психо-идеологического процесса в новом плане, в новых конечно и формах. Ибо самое содержание это, выступая перед нами в виде художественного образа (идеи), есть нечто новое (раз оно переработано), отличное от психического комплекса, и потому оно специфично не менее, чем форма.

Художественное освоение мира и общественного процесса потому отлично от всех иных способов «духовного освоения мира» (Маркс), что реальное содержание общественного процесса принимает здесь новый вид, изменяется и приобретает поэтому и новую форму. Последняя таким образом не может появиться самостоятельно и связана прежде всего с содержанием данного способа художественной практики. Но здесь надо оговориться. Приведенное определение искусства имеет значение в качестве общего, абстрактного определения, и как таковое оно не объясняет конкретных форм проявления художественного процесса. Оно дает лишь общее направление на пути к объяснению. В наше время часто требуют от марксистского искусствознания такого определения искусства «вообще», его специфика, которое объясняло бы все проявления его конкретного многообразия, не удовлетворяясь такими, как «искусство есть систематизация чувств и мыслей в образах» (Плеханов, Бухарин) и т. п.; хотят от абстрактного определения получить ответы на все конкретные вопросы. При этом забывают, что абстракция имеет смысл «поскольку она действительно выдвигает общее», и что с помощью этих абстракций «нельзя понять ни одной действительной исторической ступени» (Маркс), а можно и должно лишь воспользоваться ими как методом воспроизводства этого конкретного с помощью абстрактного. Именно это имел в виду Маркс, когда писал: «Чтобы рассмотреть связь между духовным и материальным производством, прежде всего необходимо взять последнее не как всеобщую категорию, но в определенной исторической форме», иначе «остается ограничиться пошлостями»¹.

Что касается «специфика» искусства, то таковой может пониматься только как указание практической роли, выполняемой искусством, и тех форм, в которых эта практика осуществляется. Следовательно, его определение есть в то же время и определение искус-

¹ Маркс, Теории прибавочной ценности, стр. 249.

ства, его практических задач. Верно конечно, что самый материал искусства несет известную специфичность. Уже Гегель указывал, что искусство ставит своей задачей воплотить идею для непосредственного созерцания в чувственной форме. На эмоциональную акцентированность художественного материала указывали все марксисты (Плеханов, Бухарин и т. д.). Но они не ограничивались этим, ибо знали, что «по-настоящему диалектическое понимание такого явления, как искусство, есть понимание в его жизненной функции»¹. Однако, эта функциональность искусства не ограничивается узко-локальным назначением вещи искусства, как это утверждают конструктивисты-формалисты и «сверхматериалисты», ее конкретным применением только в данном месте и в данное время.

Искусство нужно рассматривать в его *социальной функциональности*, т. е. учитывать его организующую, практическую роль в социальной сфере, по отношению к социально-классовому субъекту. Это понимание взаимной связи искусства и социально-классового субъекта мы противопоставляем расплывчатым указаниям на связь с эпохой, культурой, народом и т. д., равно как и потребительскому и узко-локально-функциональному пониманию искусства. В таком случае спецификом искусства будет заключаться именно в этом социально-функциональном его назначении. Но, повторяем, это общее абстрактное определение хотя и действительно для всех эпох развития искусства, однако не объясняет конкретных форм этого развития. Для подобного объяснения следует уже брать не искусство «вообще», а конкретную эпоху и действительную связь художественной практики и социально-классового субъекта.

Возникновение и практика всякого искусства вытекает не из общих абстрактных законов (все равно каких), а есть следствие диалектического взаимодействия потребности социально-классового субъекта в определенном виде художественного освоения мира, общественного процесса, и реальных возможностей для его осуществления. Это доказал еще Плеханов на примере первобытного искусства и это можно было бы продемонстрировать в наше время, скажем, на примере кино. Чисто физиологические особенности человеческого зрения, на соответствии к которым построен фильм, как показ динамического, были известны еще со времен Лукреция. Однако, для того, чтобы они воплотились в искусстве, понадобились многие столетия вовсе не в силу только технических возможностей, но потому, что социальная необходимость в этом роде искусства возникает лишь на определенной ступени общественного развития, предполагающей появление общественных групп, художественное освоение которыми мира и общественного процесса существенно меняется в сторону активизации, всесторонности, синтетичности и коллективистичности. Коллектив как новый производитель и потребитель художественных ценностей, играет здесь роль в известном смысле обратную роли буржуазного индивидуума в недрах феодального общества. Благодаря

¹ Бухарин, указ. соч., стр. 255.

новым социальным потребностям и возникает новый тип и вид искусства, преодолевающий в своем развитии аналитически-индивидуалистический способ художественного освоения, свойственный буржуазному обществу. Таким образом в том случае, когда идет речь об определении какого-либо типа или вида художественной практики, о его специфических возможностях, ответ на эти вопросы дает лишь конкретный анализ, при наличии правильного марксистского метода и учитывания искусства как социально-функциональной величины. Для марксистского искусствознания существует только конкретное искусство. Но оно рассматривается прежде всего не по видам технического разделения (живопись, скульптура и т. д.), а по своим типам, соответствующим тем или иным общественным формациям. И в различии этих типов, обусловленном различием социально-экономических условий и общественного (классового) субъекта, и кроется ответ на вопрос об особенностях того или иного частного вида художественной практики. Между тем, часто, например, указывают, что главным признаком живописи является цвет. В подобных случаях идут от констатирования тех *формальных* приемов (и только), при помощи которых осуществляется художественная практика в буржуазном обществе, и эти формальные признаки возводят во всеобщую категорию. Таким образом здесь живопись учитывается только как форма. Если мы станем анализировать художественную практику буржуазного общества в ее генезисе, для нас будет ясно, что самый способ художественного освоения, присущий буржуазии, как классу, существующему в определенных материальных условиях, предполагает не синтетичность, а аналитичность, раздробленность частных видов художественной практики. Здесь образы—выражение освоения единичного, случайного, содержание и формы индивидуалистичны. Освоение единичных, в себе замкнутых и с другими не связанных явлений, их детализация приводит к разрыванию единства художественной практики, частные виды ее специализируются лишь на определенных признаках явлений и на определенных видах восприятия. В живописи проблемы цвета, света, «живописности» решительно преобладают над моментами композиционной связи вещей и явлений, над моментами конструктивности, ибо они лучше передают мельчайшие подробности, черты замкнутого явления. Между тем в искусстве феодального общества цвет, свет и т. п. не играют такой решающей роли, а самый способ художественного освоения представляется иным, более синтетическим, соединяющим все виды художественной практики в одно целое. Таким образом неправильно уже и то, что цвет считается существенным и главным *формальным* признаком живописи вообще. Неверно и то, что он рассматривается как спецификум, в то время как он есть лишь следствие иного способа художественного освоения нового классового субъекта и нового, следовательно типа искусства.

Сама дифференциация связи художественного процесса с общественным различна в разные эпохи. Все конкретное многообразие этого различия можно учесть только при анализе всего исторического

пути искусства. Так мы, например, знаем, что в первобытных коллективистических обществах, не знающих еще классов или сословий, фактор классовой борьбы отсутствует. Основной задачей, функцией искусства является здесь организация сознания общественного субъекта в процессе его взаимодействия с природой. Связь материальной практики и искусства выступает здесь гораздо яснее, нежели в классовом обществе, где эта связь осложнена и иногда затуманена рядом посредствующих звеньев. Поэтому буржуазные искусствоведы скорее пришли к признанию социально-экономической зависимости искусства первобытного, чем иного другого. Это объясняется, однако, и тем, что любое общество достигает больших результатов в критическом изучении и объективном понимании предшествующих ступеней развития, чем той, на которой оно само находится. Отчасти этим же объясняется и тот факт, что первобытное искусство считается бесспорно утилитарным (как более непосредственно связанное с материальной практикой), а утилитарность буржуазного, скажем, искусства подвергается сомнению. Хотя с классовой (буржуазной) точки зрения оно не менее утилитарно, нежели всякое иное. Но только оно утилитарно не для всего общества, а для господствующего класса. В классовом обществе классовая борьба и интересы являются центральным фактором, определяющим художественный процесс. Освоение внешнего мира есть здесь прежде всего освоение классовой борьбы¹. Но подробная расшифровка этих вопросов не является задачей настоящей работы. Нам важно было показать, что художественный процесс есть процесс идеологический, и наметить общие черты его функциональной связи с общественным процессом. Если бы мы перевели все сказанное на язык философских категорий, то художественный процесс предстал бы перед нами как частное выражение общественного процесса как одно из специфических его проявлений. Но не как механическое следствие или привесок, а как одно из проявлений диалектического целого, в свою очередь активное и воздействующее, существующее лишь в связи с этим целым. Ленинская формула связи общего и отдельного (их взаимопроникновение, взаимосвязь) здесь вполне применима. Но нужно помнить, что эта связь не делает, например, содержания художественного процесса абсолютно однозначным содержанием общественного процесса. Вот почему был неправ Гаузенштейн, утверждая эту однозначность². Мы уже ука-

¹ В настоящее время очень интересно наблюдать, как старательно отрицается классовость искусства буржуазными искусствоведами. Очень распространен и доказывается тот взгляд, что капитализм и социализм противоречат друг другу только в хозяйстве, а в культуре они стремятся к мирному синтезу. Например, *Ullitz E., Die Kultur der Gegenwart in d. Grundzügen dargestellt. 1920, Stuttgart.*

² См. *Гаузенштейн*, Опыт социологии изобразительного искусства, стр. 27. «Социология содержания возможна и нужна. Но она не является социологией искусства в собственном смысле слова, так как социология искусства может быть только социологией формы. Социология же содержания есть в сущности общая социология и относится скорее к гражданской, чем к эстетической истории общества». Мы уже не говорим здесь о том, что неправомерно самое противопоставление формы и содержания в том виде, как это делает Гаузенштейн. Самый же при-

звали на это в своем определении искусства, подчеркивая отличие образа и художественного содержания от того содержания психологического процесса в целом, которое является материалом искусства. Это будет ясно видно и при анализе художественного процесса как такового, к чему мы и переходим.

II

Необходимость рассмотрения искусства, как развивающегося процесса была уже давно осознана. Но вместе с тем это рассмотрение не ставилось в связь с реальной практикой общественного субъекта, и самый процесс развития искусства понимался механически, «как уменьшение и увеличение, как повторение» (Ленин) или как вытянутая эволюционная линия. Требование многосторонности и диалектичности никогда не осуществлялось на этом пути. И если лучшие представители буржуазного искусствознания и выставили лозунг *Kunstgeschichte als Entwicklungsgeschichte*, то этот лозунг не был еще никем до сих пор осуществлен подобающим образом.

В подавляющем большинстве история искусства остается все-таки историей художников¹, или мертвых художественных фактов вне их развития, вне их реальной практики.

Аналитическая раздробленность и узкая эмпиричность заслоняли задачу установления общей закономерности художественного процесса как целого, а там, где эта задача и вставала перед исследователем, она никогда почти не разрешалась.

Если развитие искусства и констатировалось, то только в смене периодов зарождения, расцвета и упадка. Выдвинутый еще Винкельманом этот принцип «естественного» и «органического» роста является наиболее распространенным и благополучно дожил до наших дней. Обычно развитие стилей представляется в виде «триады» — архаика, классика и барокко, что является перефразировкой Винкельмановского положения. В свое время констатирование этого принципа было значительным шагом вперед, в настоящее время он только тормозит развитие науки об искусстве. Материал, берущийся в его доказательство, весьма ограничен. Наконец, самый принцип «естественного роста» никоим образом не увязывается с диалектикой общественного развития и не рассматривает искусство как явление социаль-

ное, подвергая его анализу только с «биологической» точки зрения. Конечно, всякий человек рождается, живет и умирает, но это нисколько не объясняет его как общественного человека, не объясняет его поступков, его идеологии и т. д. Так же мало пригоден этот принцип и для объяснения развития искусства, а тем более истолкования конкретных форм художественного процесса, как процесса общественного, а вовсе не биологического. Если бы мы занимались изучением искусства только с биологической и физиологической точек зрения¹, то мы никогда не поняли бы, что такое искусство. В. И. Ленин однажды достаточно резко выразился по этому поводу: «Перенесение биологических понятий вообще в область общественных наук есть фраза». Тем более нужно пожалеть, что «биологическая» схема была некритически воспринята многими социологами и марксистами².

Следующим этапом, уже более приблизившимся к действительному пониманию форм развития художественного процесса, было констатирование полярности, антитетичности смены стилей или типов искусства.

Вельфлин, который вне всякого сомнения является наиболее крупной фигурой во всем идеалистическом искусствознании (так наз. формальная школа), во многом уже приближается к пониманию диалектики художественного развития. На примере двух эпох западноевропейского искусства — Ренессанса и Барокко — он проследил антитетичность в смене общих формальных категорий, как средств выражения и форм видения³. Поскольку дело касается установления формальной антитетичности, Вельфлин дал прекрасные образцы, в достаточной мере ее показавшие. Но как только он дошел до объяснения их, то стал искать его в установлении оптического ряда имеющего свою собственную закономерность, в апелляции к настроению (духу) времени, темпераменту художника и т. д., т. е. не вышел за пределы идеалистического толкования⁴.

Кроме того, самая смена противоположных величин рассматривается чисто механистически.

Правда, некоторые исследователи пытались пойти дальше и проанализировать двойственную природу данного искусства, как одновременную борьбу двух принципов, т. е. установить не столько эволюцию развития в виде спокойной смены стилей или направлений,

мер приведен потому, что подобное отношение к содержанию очень распространено в наше время, как будто все дело в искусстве только и заключается в механическом перенесении содержания.

¹ Мысль Вельфлина об истории искусства без имен (*ohne Namen*), хотя и цитируется многими с пафосом, но никем еще не была осуществлена.

² В конце концов это деление очень напоминает схему Гегеля — искусство символическое, классическое и романтическое. Иногда эта периодизация так или иначе варьируется. В своем докладе конгрессу по эстетике и общ. искусствознанию (Галле, 1927 г.) «О значении периодов в истории искусства» Роденвальд предложил следующую схему: 1) примитивное искусство, 2) архаическое, 3) классическое.

¹ А эти стремления у нас сейчас очень сильны. См. Шмит, указ. соч. и «Искусство», 1925 г.

² Например, А. Федоровым-Давыдовым и А. В. Луначарским.

³ См. Wölfflin *Kunstgesch. grundbegr.*, S. 14-17. Эти категории выражены Вельфлином в следующих противоположениях (Ренессанс-Барокко): 1) линейное — живописное, 2) плоскостное — глубинное, 3) замкнутая — открытая форма, 4) многообразное — единообразное, 3) абсолютная ясность изображения и относительная.

⁴ В одном месте своей работы он говорит: «Der Stilwandel von der Renaissance zum Barock ist ein rechtes Schulbeispiel, wie ein neuer Zeitgeist sich eine neue Form erzwingt» (ук. соч. стр. 9. Подчеркнуто мною. А. М.).

Его «видение», «оптический ряд», имеет свою собственную историю развития («innere optische Entwicklung»), имеет объяснение в самом себе.

но и показать становление, борьбу и победу нового стиля в рамках еще ему предшествующего¹. Но, покинув отчасти традиционно-эволюционную точку зрения, они не осознали еще в полной мере, что это развитие действительно происходит в формах непрерывной борьбы и становления нового искусства в рамках старого путем резких скачков, и «художественных» революций. Точно так же они не видели и действительной движущей силы этого развития, ибо осознание необходимости движения искусства поставить в связь общим развитием культуры, конечно очень далеко от признания классовой борьбы и противоречий движущим фактором художественного процесса².

Так же далека от этого и теория «художественной воли», хотя нельзя не признать, что она была в известной мере прогрессивна, в особенности по отношению к земперанцам, которые совершенно уничтожили понятие творческого суб'екта (вовсе не только как индивидуальность, но как общественную группу). Поэтому был прав в известной мере Ригль³, говоря, что потребности (творческая воля по его терминологии) эпохи создают стиль вне прямой зависимости от материала. Но самое понимание художественной воли как у него, так и у Воррингера⁴ было суб'ективно-идеалистическим, а игнорирование материальных условий делало всю теорию такой же односторонней, как и учение Земпера, только в обратном смысле. Для марксистского искусствознания, напротив, важно не установление психических типов человека (Воррингер) или духовных (Дессуар), не абстрактные схемы смены органических или критических (Гаузенштейн), физиопластических или идеопластических (Ферворн), декоративных или конструктивных (Кон-Винер) и т. п. эпох, не изучение, наконец, только художников или застывших художественных фактов, а рассмотрение художественного процесса в его связи с материально-классовым развитием, в его конкретности и многообразии. Поскольку

¹ Отчасти мы имеем в виду здесь Дворжака, который в анализе ранне-христианского искусства попытался проследить его становление не только как процесс ассимиляции, смещения античных и христианских элементов, но и показать его борьбу с искусством античным и победу над ним. Сделав ряд интересных наблюдений, он, однако, об'яснил эту борьбу художественных идеологий только противоположностью идей, мировоззрений, друг с другом сосуществовавших, а не социальной коллизией. (См. *Dworjak M.*, *Kunstgeschichte als Geistesgeschichte*, München, 1924, I, *Katakombenmalereien — die Anfänge der christlichen Kunst*).

² В настоящее время в качестве такового усиленно выдвигается «поколение». В основе «теории поколений» лежит утверждение, что поколение (как возрастная группа) создает свой стиль эпохи. В каждый момент сосуществуют 3 поколения (и стиля). Год рождения определяет стиль художника. Художник как индивидуальность, определенная «годом рождения» и поколением, играет значительную роль. Рядом с этим уживаются факторы национальный, родовой и типовый. «Проблема поколений», таким образом, снимает вопрос о классовости искусства. (См. *W. Pinder*, *Das Problem der Generationen in der Kunstgeschichte Europas*. Berl. Изложение Pinder'a дано Theo Schneider'ом в «*Das Kunstblatt*», 1927. I.).

³ Взгляды Ригля изложены им в работах «*Stilfragen*», Berl. 1893, и «*Spät-römische Kunstindustrie*». 1901.

⁴ *Worringer, W.*, *Abstraktion und Einfühlung*, 1908; *Formprobleme der Gotik*, 1911.

художественный процесс есть лишь частное и специфическое выражение процесса общественного развития как целого, постольку в его пределах действуют те же законы, которые мы наблюдаем в обществе. И трудность заключается не столько в формулировке этих законов, сколько в оправдании их на конкретном материале, в показе их действия в рамках самого художественного процесса. Нельзя однако обойти здесь молчанием тот факт, что почти все доселе бывшие попытки поднять вопросы диалектического развития искусства отправлялись от неверного понимания диалектики как принципа и совершенно игнорировали конкретную почву самого искусства¹.

Диалектика искусства заключается прежде всего в том, что и здесь движение художественного процесса совершается в форме борьбы и единства противоположностей, и только установление этой основной предпосылки способно дать нам правильное об'яснение всех конкретных проявлений развития искусства. [Рассмотрение развития «как единства противоположностей (раздвоение единого на взаимоисключающие противоположности и взаимоотношения между ними)... дает ключ к «скачкам», к «перерыву постепенности», к «превращению в противоположность», к уничтожению старого и возникновению нового»—говорит Ленин в своем отрывке «О диалектике»]. Мы думаем, что как раз это основное хотел подчеркнуть В. М. Фриче, указав, что «развитие и движение художественной надстройки преимущественно антитетично и только в этом смысле «диалектично»,—выражая и отражая в своей области и своими формами борьбу классов и внутриклассовых групп»². Эту антитетичность и противоречивость никоим образом нельзя однако понимать как механистическую смену двух противоположных типов или стилей искусства, а прежде всего как их единство и борьбу в пределах данного явления, данного художественного процесса. Между тем до сих пор подобное понимание было меньше всего свойственно писавшим о диалектике искусства³.

Чаще всего они видели спасение в схематичной триаде и не только все развитие мирового искусства расписывали по этой триаде, но искали ее и в отдельном художественном произведении и в самом творчестве художника⁴.

¹ См., напр., *Федоров-Давыдов А.*, *Марксистская история изобразительных искусств*. Иваново-Вознесенск 1925, гл. V, стр. 158 и сл.; см. также *Якубовский*, *Диалектика художественного образа*, (Воинствующий материалист, кн. III, 1925 г.), который ставит себе задачей обнаружение *триады* внутри художественного образа.

² *Фриче*, В. М. Проблема диалектического развития искусства ВКА № 21, стр. 22.

³ *Иоффе*, *Культура и стиль*, стр. 34: «Причины, образующие товарное хозяйство, лежат не в самом натуральном хозяйстве, а в новой системе культурных сил, лежащих вне натурального хозяйства». Это же утверждение он распространяет и на искусство.

⁴ Примеры подобных схем у Иоффе и у Федорова-Давыдова (указ. соч.). Последний разрывает форму и содержание худ. произведения и всю диалектику ограничивает их взаимодействием. Так по его словам (стр. 172) «Первоначальная смутная идея, эмоция, проходя момент *тезы* в «выражении» («содержание») и момент

Марксистская история искусств строится однако не из схемы, а из конкретного материала, из анализа типа и стилей искусства, которые не одинаковы в своем развитии в разных общественных формациях. Ибо нельзя забывать того факта, что каждая общественная формация (а вместе с ней и тип искусства) развивается по законам, свойственным ей самой. Маркс говорил, что законы капитализма есть законы *sui generis*. То же самое можно сказать и по отношению к искусству. Вот почему требование конкретности является основным, хотя это несколько не устраняет необходимости и возможности законов, общих для всего художественного процесса. Развитие в форме противоречий есть общий закон развития художественного процесса. Он заключается не только в смене типов и стилей искусства, но и в борьбе взаимоисключающих противоположностей внутри самого типа и стиля искусства. Под типом искусства мы в данном случае понимаем ту общность, которая объединяет искусство (художественную практику) данной общественной формации или класса на всем пути его развития.

Искусство нового класса, или новой общественной формации, является прежде всего новым типом искусства, черты которого усматриваются во всем, начиная с коренного изменения самого вида и способа художественного освоения (художественной практики общественного человека), организации художественного производства и потребления и кончая содержанием и формой каждого отдельного произведения. Конечно, в своем развитии данный тип искусства проходит различные ступени, внутри его меняются разнообразные стили, однако, если мы возьмем, с одной стороны, все стили буржуазного искусства, при всем их различии, и сравним с феодальным искусством, то разница между стилями первого не помешает рассматривать их по сравнению с последним как целое, от него отличное. Для этого достаточно проанализировать даже один какой-нибудь ряд, одну из отраслей художественной практики. Возьмем, например, живопись. Она в раннем феодальном искусстве существует только в связи с другими искусствами как одна из органически с ними увязанных форм и предстает пред нами в виде фрески, развертывающей сюжет повествовательно в связи его отдельных моментов. Она отвечает потребности организации не индивидуального, а коллективного сознания в обобщенных и четких образах и формах. Формы здесь сведены к немногим формальным характеристикам и элементам. Здесь не преследуется цель фиксации индивидуального. Нет индивидуалистического портрета, а есть только обобщенный, символический портрет. Не существует пейзажа как обособленной отрасли искусства, но и пейзаж, и вещи, и люди органически, как составные части входят в художественное произведение или ряд произведений, связанных друг с другом. Всякое

антитезы в «изображении» (форма), в своем синтезе приобретают ясную и организованную форму художественного произведения». В своей статье о «форме и содержании», он называет это «диалектикой во вне» (по отношению к художнику) (см. «Печ. и Рев.», 1925, № 5—6, стр. 122—3). Разбор диалектики Федорова-Давыдова дал В. М. Фриче в указанной своей статье (стр. 16 и сл.).

явление прослеживается с начала и до конца в его естественной связи (напр., ассирийский рельеф, изображающий битву, дает 5—6 последовательно развивающихся ее моментов в их сцеплении, при чем в первом из них мы видим начало битвы, в последнем ее завершение—победу одних и бегство других. Сюжет прослежен во всем его развитии). Идеальной формой для такого рода художественной фиксации является или форма развернутого рельефа или многочастная, многомоментная фреска. Можно было бы указать еще ряд признаков данного способа художественного освоения, однако и приведенные достаточно. Основные черты этого типа искусства находят конечное объяснение в материальных условиях соответствующих общественных формаций. Чтоб не ходить далеко за примером, напомним здесь одну из характеристик Маркса. «Эти старые общественные организации (Маркс имеет в виду старо-азиатские и античные способы производства.—А.М.) несравненно более просты и ясны по своему устройству, чем буржуазные, но они покоятся или на незрелости индивидуального человека, еще не оторвавшегося от пуповины естественных родовых связей с другими людьми, или на непосредственных отношениях господства и подчинения. Условие их существования—низкая ступень развития производительных сил труда и соответственная связанность отношений людей в рамках процесса, созидающего их материальную жизнь, а вместе с тем связанность всех их отношений друг к другу и к природе»¹. Как мы видим, эта связанность, непосредственные отношения, простота и ясность идеально отражаются в их искусствах. Они и не могли мыслить человека лишенным этой связанности. Для всякого феодального (и феодально-деспотического) искусства указанные черты типичны, и лишь с ростом товарно-денежных отношений и с освобождением личности от указанных связей, с ростом индивидуального сознания,—в самом феодальном искусстве развиваются новые черты, дающие в результате своего формирования и новый тип искусства. Этот тип буржуазного искусства уже существенно отличается от предыдущего. Как мы говорили выше, оно аналитично, т. к. является выражением художественного освоения единичного индивидуумом. Оно говорит на языке индивидуальном, и каждый художественный факт, каждая область художественной практики противопоставляет себя другим, а не слагается с ними в органическое целое. Это искусство обращается уже не к коллективу, а к индивидууму, оно не слагает, а разлагает, не синтезирует, а анализирует. Когда буржуазная эстетика утверждает, что искусство—синтез, это неверно по отношению к самому буржуазному искусству. Здесь первое место занимает фиксация деталей, субъективных особенностей, индивидуальных свойств людей и вещей. Кооперация искусств, бывшая ранее, перестает существовать, художественная практика разрывается, дифференцируется; живопись и скульптура отделяются от архитектуры, а внутри их идет дальнейшее разрывание; в виде самостоятельных разновидностей живописи выступают,

¹ Маркс, Капитал, т. I, стр. 39, Харьков, 1923.

например, пейзаж, натюрморт, портрет, которые изолируются друг от друга. Разобщенность и антагонистичность сосуществующих хозяйственных единиц буржуазного общества, приводящие к индивидуалистической замкнутой психике, в полной мере могут объяснить эти черты буржуазного типа художественной практики. В живописи идеальной формой является здесь станковая, камерная картина, с ее замкнутостью и детализацией.

Маркс указывает, что «в буржуазном обществе» различные формы общественных связей выступают по отношению к отдельной личности просто, как средство для ее частных целей, как внешняя необходимость, хотя «эпоха, которая порождает эту точку зрения—от единившегося индивида,—является как раз эпохой наиболее развитых общественных (т. е., с этой точки зрения, всеобщих) связей»¹. Это в полной мере, как видим, отражается и в искусстве. Новый, высший этап коллективизма (социалистическая эпоха) отрицает в свою очередь станковое, камерное искусство, и создает новый этап искусства, одним из примеров которого можно указать—*фильм*, который, включая в переработанном виде элементы станковой картины и фрески, дает искусство динамической, всесторонней и в то же время общепонятной и лаконически четкой организации и показа видимого на плоскости. Если мы сравним *фреску*, станковую *картину* и *фильм*, то получим три конкретных примера различия трех типов художественного освоения через построение и проектирование видимых образов на плоскости. Различные прежде всего, конечно, не технически, а по своим конкретным задачам, по своему содержанию и формам. Возникновение каждого из них может рассматриваться как акт создания *нового*, качественно существенно от прежнего отличного вида художественной практики.

То, что мы сказали, должно лишь показать примерную разницу типов художественной практики и те черты, которые более или менее свойственны данному типу искусства на всем пути его развития. Но если бы мы ограничились констатированием только этих черт, то поступили бы неправильно и односторонне. Всякий тип искусства, художественная практика класса, развиваясь, отражает в себе материально-классовые противоречия, всякое классовое искусство содержит в себе и моменты своего отрицания, моменты, говорящие о росте и усилении антагонистичных ему социальных групп. Вспомним, что моменты конструктивного, планомерного подхода существуют в зародыше в самом буржуазном искусстве и к концу развития буржуазного общества и искусства достигают значительного распространения и высоты. И в то же время эти черты пролетариат при строительстве своей художественной культуры берет в качестве отправной, исходной точки. В данном случае это аналогично той концентрации и плановости хозяйства и обобществлению труда, которые, будучи созданы высшей стадией промышленного капитализма, ставят вопрос о несоместимости их с капиталистической оболочкой, в которую они еще

¹ Маркс, Введение к критике Полит. экономии, стр. 1—2.

заключены. Так и указанные новые принципы художественной практики приводят в конце концов к отрицанию искусства—организатора частного быта и индивидуальных переживаний. И все же они есть порождение самого буржуазного хозяйства и общества, самой буржуазии как класса, несущего в себе эти противоречия, а следовательно, и буржуазного типа искусства. Здесь встает вопрос: если развитие типов художественной практики совершается именно этим путем, то как тогда его рассматривать, как эволюцию только, или же и здесь постепенное нарастание новых моментов завершается резким скачком, революцией. Вопрос, к сожалению, до сих пор мало разработанный. Но достаточно взять любую конкретную эпоху, чтобы сказать, что как в общественном развитии, так и в развитии искусства мы не имеем дело только с постепенным нарастанием, эволюцией, здесь точно так же развитие идет в форме скачков, «перерывов постепенности», революционных переходов одного в другое, переходов количества в качество. Однако нужно помнить при этом указание Маркса, что «при рассмотрении таких революций следует всегда иметь в виду разницу между материальным переворотом в экономических условиях производства, который можно установить с естественно научной точностью, и юридическими, политическими, религиозными, художественными или философскими, словом—идеологическими формами, в которых люди воспринимают в своем сознании этот конфликт и во имя которых борются». Но вовсе не в том смысле конечно, что вообще не нужно говорить о революционных изменениях в сфере идеологии и в частности искусства, что их нельзя установить и проанализировать, а потому что «нельзя судить о... революционной эпохе по ее сознанию, скорее, это сознание следует объяснить из противоречий материальной жизни»¹.

В искусстве подобные резкие переходы наступают вместе с переворотом материально-классовым и не могут исчерпаться изменениями отдельных черт художественной практики. Эти изменения, иногда достаточно глубокие, происходят и в искусстве одной и той же общественной формации. Здесь происходит скачок к новому типу художественной практики, существенно от прежнего отличному. Он сопровождается резким отрицанием *основных принципов* предыдущего типа, разрушением старого способа художественной практики. Припомним те разрушительные тенденции в области художественной практики, которые приходили вместе с революциями социальными, и в то же время революционную волю к созданию нового искусства. В эпоху социальной революции старые принципы художественной практики преодолеваются революционным путем, вплоть до разрушения тех художественных произведений, в которых они наиболее полно выражены. В то же время новый тип художественной практики, нарастающий еще в недрах старого общества, выступает как господствующий. Постепенное его нарастание прерывается, отдельные черты, отдельные изменения, которые не меняли существенно основных принципов

¹ Маркс, К крит. полит. экономии, Предисловие.

старого типа, соединяясь, дают качественно новый тип. В качестве небольшого примера здесь можно было бы привести русское искусство петровской эпохи. До сих пор историки русского искусства бьются в тисках неизживаемых противоречий: с одной стороны, как-будто искусство эпохи Петра I как светское в противоположность религиозному древне-русскому, станковое, дифференцированное в противоположность синтетическому фресковому в живописи, давшее расцвет портрета и жанра, совершенно ново по сравнению с предыдущим этапом, отрицает старый тип искусства, старые способы выражения. Усвоившие эту точку зрения выдвигают положение о том, что между древне-русским и новым искусством нет ничего общего, нет никакой преемственной связи. Но внимательный исследователь видит, что например в живописи предвестники новых традиций были еще и в предыдущую эпоху, и встав на эту точку зрения, он отрицает уже всякую резкую грань между двумя периодами, рассматривает все как постепенное изменение. Где же лежит истина? Прежде всего нужно конечно признать, что эпоха Петра I, бывшая, по выражению М. Н. Покровского, «набегом торгового капитализма на Россию», «завоеванием феодальной России торговым капиталом», — пусть временным, но все же достаточно задевшим те верхние слои общества, которые и являлись социально-классовым суб'ектом искусства, — внесла настолько резкие изменения во все русское искусство, что нельзя ограничиться только констатированием медленно нарастающего изменения. Та быстрота, с которой «светское» искусство, с его новыми формами и средствами выражений, вытеснило церковное искусство феодальной Руси, говорит за резкий скачок, резкое изменение. Но это резкое изменение только потому и было возможно, что отдельные черты и принципы нового искусства нарастали еще в предыдущую эпоху. (Вспомним, например, развитие «парсуного» письма в допетровскую эпоху, подготовившее торжество портрета.) Сходные примеры мы имеем и при переходе от западноевропейского средневековья к эпохе возрождения, — и там есть резкий скачок. Но в то же время мы можем наблюдать, как еще в рамках феодального искусства, в его канонические формы и сюжетику вдвижутся персонифицированные изображения как отклик на запросы буржуазного индивидуума, осознававшего себя и развивавшегося в рамках феодального общества.

Диалектика искусства как раз и заключается в том, что, констатируя прерывность, революционность развития искусства, мы не отрицаем и преемственности, ибо отрицание данного типа искусства и данного стиля нарастает внутри его самого. Вопрос этот имеет в настоящее время особенно важное значение, ибо пролетариат должен определить свое отношение к художественному наследию и практически последнее использовать. Однако это можно сделать только тогда, когда проблема преемственности будет разрешена в положительном смысле. Если мы станем рассуждать упрощенным способом, что всякое искусство переживает момент рождения, расцвета и распада, проблема останется для нас нерешенной, ибо что можно взять

из упадочного искусства? Уже самой механистичностью и однобокостью рассмотрения, не видящего в упадке старого зарождения нового, отрицается всякая преемственность. Некоторые исследователи, подходившие с подобной точкой зрения, пытались выйти из очевидного противоречия путем разрывания искусства как социального явления и как формы. Федоров-Давыдов утверждает, что, «квалифицируя данное направление (в искусстве.— А. М.) как упадочное в социальном смысле, мы никогда не имеем права считать его таковым же и в смысле художественном» (91). Это, конечно, не выдерживает критики. Важно было бы не разрывать искусство на социальную и художественную стороны, а в данном искусстве, на определенном этапе, установить моменты прогрессивные и не прогрессивные, упадочные. Ибо самый упадок мы должны рассматривать как борьбу двух сторон художественного целого, в которой верх получают новое, революционное содержание и формы, отрицающие и уничтожающие им противоположные. И что для последних есть упадок, то для первых есть становление. Как это понимать? Во-первых, нужно помнить, что нет упадка как одной линии. Буржуазное хозяйство и общество даже перед концом своего исторического развития, на ряду с затяжными кризисами, с дезорганизацией, знает кратковременные, а иногда и относительно значительные этапы высокой стабилизации, когда принципы плановости, организованности проникают собой довольно большие области хозяйственных и общественных отношений. Эти принципы распространяются и на область искусства. Параллельно тому, как централизующие тенденции промышленного капитализма в его высшей стадии, начинаясь с организации отдельной фабрики, переходят к трест-капиталистическому об'единению целых отраслей производства, так и в искусстве от организующих тенденций в пределах одной картины приходят к попыткам организованности целой отрасли искусства (как области идеологического производства). В этом отношении многое уже достигается в пределах буржуазного искусства, внутри которого, таким образом, зреют ростки нового стиля. Раздробленности противопоставляется синтетичность, неорганизованности формы — ее организованность и, если угодно, централизация. Рядом с декоративным принципом возникает конструктивизм и т. д. Но как в области общественных отношений эти централистические стремления не разрешают проблему общественного равновесия, так и в искусстве они не могут восторжествовать, не могут развиваться во что-либо законченное. Не могут потому, что они сами есть лишь выражение антагонистичности развития буржуазного общества и искусства, что они организуют лишь то, что может организовать сам класс буржуазии. Если, например, современные художники Запада дают нам предельную организованность, экономность и выразительность формы, рационализацию, четкость, крепкую структуру в своих фабричных пейзажах, то они достигают этого только ценой изоляции этих пейзажей из хаоса неорганизованной, анархичной жизни, изгнания из них всего живого, людей, движения. Самые формы, тип буржуазного искусства ставят предел этим стремлениям.

Но во всем этом уже есть зародыши нового типа искусства, искусства индустриального пролетариата, хотя эти черты и не получают в буржуазных условиях своего сколь-нибудь законченного развития. Примером тому служит судьба кино в капиталистическом обществе. Искусство, которое больше всего призвано передать многообразие и динамику жизни, дать жизнь и действия коллектива, влачит в нем участь жалкого сколка с камерного театра, вращается в сфере индивидуально-психологических переживаний, замкнутого интерьера и по формам декоративно и эклектично. Его громадные возможности могут быть реализованы лишь при переходе к коллективистическому обществу, лишь после пролетарской революции.

Но все же именно эти черты, эти принципы конструктивного и планомерного подхода в искусстве и новые виды искусства (как кино) ближе пролетариату, чем все художественное наследство. Неправильно поэтому отмахиваться от последних достижений буржуазного искусства только потому, что это «упадочное общество», и обращаться к образцам мелко-буржуазного искусства (как это делает, скажем, АХРР).

На этом примере решается и вообще вопрос о преемственности в искусстве. Она существует на ряду с прерывностью, хотя практически не нужно разрешать вопрос о преемственности механически. Одно дело упадочные формы экспрессионизма, другое — конструктивность. Опасность механизма может быть локализована только критическим отношением к художественному наследству и его диалектическим рассмотрением. И, наконец, последний вопрос в этом же плане о прогрессивности и о «вечных ценностях». В наше время большие споры вызывает вопрос о прогрессивности. Как может, напр., романское искусство считаться «выше» античного. Ведь, говорят нам, сам Маркс считал античное искусство непревзойденным образцом. В связи с этим особое значение приобретает истолкование Марксова отрывка об искусстве из «Введения к крит. полит. экономии». Нужно сказать, что ему часто придают совсем не то значение, которое он имеет. Денике отнес его за счет тяготения над Марксом Гегелевской оценки античности, т. е. за счет известной идеализации ее¹. Луначарский толкует его, по нашему мнению, совсем произвольно². Лишь Арватов в большей мере трезво подошел к вопросу³. Но что говорит Маркс? «Относительно искусства известно, что определенные периоды его расцвета не стоят ни в каком соответствии с общим развитием общества, а, следовательно, также и развитием материальной основы последнего»... Здесь перед ним стоит как бы вопрос, он формулирует отправной пункт, *то, что известно*, утверждается и что, как увидим, *он отвергает*. Как пример этого утверждения приводятся греки, и эпос. Дальнейшее рассуждение имеет уже следующий вид:... «в области искусства известные, имеющие громадное значение формы

¹ См. Денике Ю., Маркс об искусстве. В хрестоматии «Искусство и общественность» под ред. П. С. Когана.

² См. «Искусство народов СССР», в. I. ГАХН, 1927. Луначарский, Художественное творчество национальностей СССР, стр. 10 и сл.

³ Арватов, Маркс о художественной реставрации («Лепф» № 3, 1923).

(имеется в виду эпос), возможны только на сравнительно низкой ступени общественного развития». Далее он возвращается снова к первому вопросу: «Если это имеет место в области искусства в отношениях между различными его видами, то еще менее это обстоятельство должно поражать, если мы возьмем сферу искусства в целом по отношению к общему социальному развитию. Затруднение начинается только при поисках общего выражения для этих противоречий. Стоит лишь выделить каждое из них, и они уже об'яснены». Затем Маркс об'ясняет специфичность античного искусства из конкретных условий (в частности, приводит в пример мифологичность его) и указывает на его невозможность в наше время. Он заключает это место так: «Однако, трудность заключается не в том, чтобы понять, что греческое искусство и эпос связаны с известными общественными формами развития» (курс. мой.—А. М.). Тем самым, установив уже эту зависимость, Маркс разрешил первый вопрос, стоявший перед ним, и разрешил в таком смысле, что было бы смешно говорить, будто он стоит на точке зрения полного несоответствия развития искусства и общества. Он доказал, что эта связь есть и должна быть. и тем самым отверг общераспространенное (в его время) идеалистическое понимание общества и искусства как двух полюсов. Для Маркса было ясно, что эпос, возможный на низкой ступени общественного развития, не возможен например в буржуазном обществе. Но из этого не следует, что «развитие искусства вовсе не идет параллельно с ростом научных знаний и технических умений, с ростом экономическим и ростом могущества человеческого хозяйства»¹, как это толкует А. В. Луначарский. И далее: «я думаю, что Маркс главным образом указал на черты буржуазной цивилизации, на тот особенный привкус промышленно-торговой буржуазии и всего ею создаваемого порядка, который получается в силу удешевления массовых товаров, тот привкус прозы (курс. мой.—А. М.), который приобретается при падении качества и повышении количества: Все это не то, что может быть присуще зрелости человека и необходимо в порядке развития науки и техники, а то, что присуще определенной стадии (курс. авт.—А. М.) роста научного и технического могущества человека, т. е. стадии буржуазной, характеризуемой моментами, связанными с капитализмом вообще, и Маркс отметил упадок художественной жизни человечества в буржуазный (курс. авт.—А. М.) период или так называемое наступление и углубление этого упадка». Совсем не это, конечно, хотел сказать Маркс на самом деле. Он говорит: «Трудность состоит в понимании того, что они (греческое искусство и эпос.—А. М.) еще продолжают доставлять нам художественное наслаждение и в известном смысле сохраняют значение нормы и недостижимого образца»².

¹ Луначарский, указ. статья, стр. 10—11.

² Луначарский толкует это следующим образом: «Он (Маркс—А. М.) указывает в этом отрывке, что если мы, напр., в античной Греции имели чрезвычайно высоко развитое искусство, проникающее в поры самого быта и дающее радостные формы жизни, то, пожалуй, такой расцвет художественной жизни уже больше не повторится» (стр. 10).

Далее он говорит, что эта ценность античного искусства для нас подобна детству, которое мы воспроизводим, а «греки были нормальными детьми». И «обаяние, которым обладает для нас их искусство, не стоит в противоречии с той неразвитой общественной средой, из которой оно выросло. Наоборот, оно является ее результатом и неразрывно связано с тем, что незрелые общественные отношения, среди которых оно возникло и только и могло возникнуть, никогда не могут повториться снова»¹. Если мы сравним это с толкованием А. В. Луначарского, то ясно, что Маркс отнюдь не хотел сказать, будто «расцвет» художественной жизни, аналогичный греческому, невозможен, а что невозможны просто данные конкретные формы на иной ступени общественного развития, и последняя может лишь их воспроизводить в порядке преемственности. Что такое производство отдельных видов и эпох искусства возможно и бывает, доказывает уже тем, что... «буржуазное общество само есть только антагонистическая форма развития» и «отношения предшествующих формаций встречаются в ней часто в искаженном виде или под новой оболочкой»². Таким образом и черты феодального искусства могут встречаться в буржуазном, но в измененном, переработанном виде. Но при этом никоим образом нельзя забывать, что каждый тип искусства, каждая новая общественная формация прогрессивна по отношению к предыдущей. Например, буржуазное искусство прогрессивно по сравнению с феодальным. Оно освободило феодальное искусство от его скованности, от его зависимости от неподвижной плоскости, появилась станковая картина, как передвигающаяся вещь вместо фрески. В пределах станковой формы были разрешены проблемы цвета, света, пространства, даже движения. В фиксации частного, специфического, детального—станковая картина далеко обогнала фреску. В свою очередь кино, как это было показано в одной из наших работ, прогрессивно по отношению к станковой

¹ Маркс, К критике полит. экономии, Введение, стр. 24—26.

² Там же, с. 21. Здесь было бы вообще интересно поставить вопрос, почему буржуазное общество на известной ступени своего развития (ранней ступени) так охотно обращается к античной классике. Известно, что каждая эпоха, каждый класс выбирает из наследия мирового искусства и воспроизводит только то, что наиболее ему близко, наиболее совершенно отвечает его классовым интересам на данной ступени развития. Еще устами Винкельмана буржуазия об'явила античное искусство (эпохи классики) совершеннейшим и недостижимым образцом. То же было повторено Гегелем и многими, за ним следовавшими. Разгадка подобного предпочтения кроется очевидно в том, что классическое искусство наиболее совершенно показывает нам процесс созревания и развертывания буржуазного индивидуума в порках рабовладельческого общества, являясь в известной мере следствием роли торгового капитала в хозяйственной, политической и культурной жизни древнего мира (IV—V вв. до Р. Х.). Европейская буржуазия берет поэтому охотно за образец античную классику лишь на первой ступени своего развития, лишь в начале своего господства.

Напротив—эпоха зрелого промышленного капитализма с ее централизующими, концентрирующими и тому подобными стремлениями обращается к искусствам восточных деспотий, Египта и другим, с их пафосом предельно организованных и обобщенно выразительных форм. Подробная детализация этих вопросов сама по себе может и должна составить тему интересной и необходимой работы.

картине. Эти примеры можно было бы увеличить. И, конечно, никакая эпоха не воспроизводит вообще всякое старое искусство. Лишь то из него жизненно и актуально в данную эпоху, что в той или иной мере отвечает ее конкретным требованиям. Любая эпоха ищет в старых искусствах себе близкого, соответственного. Эпоха конструктивизма заново открывает и рекламирует конструктивные черты египетского искусства, экспрессионизм и неопрimitизм ищут экспрессионистические и примитивистические черты во всех эпохах. В этом нет однако механического перенесения старых стилей (даже в так называемые эклектические эпохи) на новую почву, а всегда воспроизводство на новой основе и в измененном виде некоторых черт, сторон того или иного искусства. И вовсе не случайно, что во всем арсенале старого искусства для буржуазии в период ее молодости наиболее соответственным оказалось классическое искусство Греции с его культом здоровой и самоценной, идеальной личности и т. п. чертами. Поэтому оно и об'являлось непревзойденным образцом. Совсем иное дело в наше время, когда классическое искусство заслоняется то архаикой, примитивом, то конструктивными чертами египетского искусства. Не случайно, что в эпоху пролетарской диктатуры в СССР в архитектуре в первое время мы наблюдали стремление к осознанию и переработке стилей искусства восточных деспотий, ампира и др. наиболее рациональных, четких и конструктивных по своим формам и координированно-лаконичных в идеологической выразительности.

Здесь достаточно конкретное об'яснение получает, таким образом, проблема заимствований и влияний и проблема преемственности, воспроизводства старых искусств в новом виде и на новой основе.

Оговариваемся только, что такое понимание преемственности увязано органически с прерывностью, революционностью развития искусства и неравнозначно традиционной эволюции, представлявшей развитие искусства как вытянутую линию.

III

До сих пор мы рассматривали лишь моменты смены типов искусства, как основных категорий художественного процесса. Но если это рассмотрение показывает нам процесс кардинального изменения форм художественного процесса вместе со сменой общественных формаций, то развитие искусства внутри данной формации, рассматриваемое как смена стилей, показывает нам разные ступени, этапы развития этого типа, различные конкретные его проявления в органической связи с развитием самого общества и класса. Для того, чтобы составить представление о смене стилей, как выражении противоречивой и динамической сущности самого типа искусства, необходимо оговориться, что мы понимаем под стилем, тем более, что этот термин обычно используется как попало. «Порою чувствуешь себя в настоящем лабиринте терминов и испытываешь чуть не головокружение от этого хаоса мыслей»,—признается Сакулин в своей ра-

боте о стиле¹. То стиль это внеисторический абсолют, то индивидуальная принадлежность художника, материала, назначения, и так до бесконечности. И астрономические формулировки Гаузенштейна («Стиль есть замкнутый синтез всех форм существования») и скрупулезные намерения формалистов, ограничивающие стиль индивидуальной манерой мастера, одинаково не удовлетворяют. Еще менее может быть принято распространенное ныне стремление возвести стили буржуазного искусства в ранг внеисторических категорий и по их образу и подобию расклассифицировать все доселе существовавшее художественное развитие при помощи совершенного отрыва стиля от его конкретной социальной почвы (напр., «античный экспрессионизм», «импрессионизм», «барокко», отождествляемое с соответствующими стилями буржуазного искусства). Не может быть признано достаточным и понимание стиля только как формальной категории, что является в конце-концов общераспространенным. Почти всегда рассматривают стиль как формальную категорию. «Стиль в точном значении термина есть совокупность тех особенностей, какими одна форма отличается от другой формы, ей аналогичной», — говорит Сакулин². «Стиль это «устойчивые приемы обработки, организации материала», — утверждает Иоффе. «Методологически, — говорит он, — можно абстрагировать стиль как закон, действие которого совершается при данном отношении человека к данной стороне бытия, так как сталкиваются одни и те же свойства человеческого тела, общества и мира»³. Можно было бы пополнить эти определения рядом других, и у всех основным лейтмотивом явились бы форма, техника, материал, художник. Здесь снова забыт классовый субъект и искусство как общественно-функциональное, идеологическое явление. Недавно нам было предложено новое определение стиля, уже марксистское, которое поставило вопрос о стиле на более правильный путь. Мы имеем в виду формулировку И. Маца: «стиль есть система акцентов функции всех живых факторов сущности и форм художественного выявления организации психо-идеологических отношений определенного класса, на определенном этапе его развития!» Вторая часть этого определения и указание на функциональность не вызывают возражений. Что касается первой, то ее подробное обсуждение возможно только после более детальной расшифровки. «Система акцентов», — не совсем четко показывает стиль, как принципиальную, закономерную общность. Стиль характерен не столько акцентами, сколько некоторым единством в конкретном многообразии художественной практики. Поэтому неприемлемо определение Сакулина, которое принимает во внимание отличие одной формы от другой, а не их общность, т. е. фиксирует моменты индивидуального порядка. Конечно, подчеркивая общее, закономерное, единое, стиль тем самым

позволяет отделить и индивидуальное, случайное, особенное, однако он достигает этого прежде всего путем констатирования общего, единого. Вот почему вопрос о стиле имеет такое громадное методологическое значение. Ибо, для того чтобы познать все конкретное многообразие художественных фактов, необходимо выделить в них такие черты, которые им всем общи. Таким образом, будучи получены из конкретного материала, эти общие категории дают ключ к познанию и объяснению каждого отдельного художественного факта в его связи с другими и социальной практикой. Но со всей решительностью нужно подчеркнуть в таком случае, что стиль не является самостоятельной принадлежностью художника, или материала и т. п., а только определенной социальной группы (класса) на определенной ступени ее развития. Если искусство как общественная практика объясняется из анализа его классового суб'екта, то и стиль данного искусства диктуется им же. Также нужно указать, что стиль характеризуется не только чертами формальной общности, но и общностью содержания, а вообще говоря, прежде всего общностью задач (социально-функциональных) искусства данного класса или общества в данную эпоху и общностью их разрешения. А это уже в свою очередь определяет и координирует и содержание и формы, также определяет и выбор материала, основные черты отдельных художественных фактов и творчество отдельного мастера. Стиль искусства класса складывается из диалектического взаимодействия потребностей последнего в области художественного освоения мира и общественного процесса и тех реальных возможностей (в том числе и материально-технических), которые в данный момент имеются. Стиль не есть также понятие одностороннее, он всегда заключает в себе противоречивые моменты, зародыш нового стиля, что имеет корни в противоречиях материально-классовых, и двойственности, антагонистичности самого типа искусства. Итак от стиля индивидуального или универсального, от формалистического или субъективистического толкования стиля мы должны перейти к стилю конкретно-классовому. С этой точки зрения неприемлема всякая внеисторическая классификация стилей, всякие вечные, вневременные категории. Поскольку каждая общественная формация развивается по особым законам и имеет свой тип искусства, кардинально отличающийся от всякого иного, постольку и стили внутри каждого типа развиваются не по одинаковым путям. Поэтому при всяком анализе искусства необходимо знать основные черты данного типа искусства, который обладает некоторой общностью за все время исторического пути данной общественной формации, а затем уже рассматривать смену стилей внутри этого типа искусства, внутри данной эпохи. Так, буржуазное искусство имеет, как и буржуазное общество, известную общность, но в разные моменты развития его функции меняются, как изменяется и его классовый субъект, проходя разные ступени развития. Приведем примеры. Известно, что всякий революционный класс, вступая в борьбу с господствующим, ведет за собой все остальные угнетенные общественные группы и выступает не только как класс, но и как представитель

¹ Сакулин, Теория литерат. стилей, стр. 15.

² Там же, стр. 18. Далее автор говорит о стиле как формальном единстве.

³ Иоффе, Культура и стиль, стр. 69.

⁴ И. Маца, там же, стр. 108. примеч.

всего «общества» в противовес господствующему классу. Он устанавливает свое господство на более широкой основе. Также он должен и в искусстве представлять «свои интересы в виде общего интереса всех членов общества». Это «возможно для него, ибо первоначально его интересы действительно еще сильно связаны с общими интересами прочих негосподствующих классов»¹. Социальная функция искусства здесь—активная организация всех угнетенных групп для борьбы с старым классом (напр., буржуазия—дворянство). Раннее буржуазное искусство в России (60-е гг. XIX в.) об'являло себя защитником крестьянских интересов в момент своего формирования и борьбы с дворянством. Искусство этого периода носит активно-организующий, критикующий и просветительский оттенок. Налицо стиль «воинствующего» реализма. В последующую эпоху задачи класса буржуазии меняются. Необходимый минимум ею достигнут, ее общественное место установлено. Вместо классово-враждебного дворянства (которое, правда, не исчезает совсем) вырастает пролетариат и примыкающие к нему группы. Сама общественная база искусства сужается, искусство получает известную дифференциацию (мелко-буржуазные черты, крупно-буржуазные и т. д.). Буржуазия, стоя лицом к лицу с возрастающими враждебными ей группами, начинает отрицание ряда лозунгов, бывших актуальными в революционную эпоху. Функцией искусства становится не организация всего общества против дворянства, под гегемонией революционной буржуазии, а конституирование буржуазии как господствующей группы по отношению к пролетариату и близким ему группам. Характер искусства здесь также диктуется интересами класса, классовой борьбой, но поскольку эти интересы уже изменились, их воплощение в искусстве также существенно иное. Тон воинствующего реализма и просветительства сменяется стремлением закрепить уже узко классовые эгоистические интересы буржуазии в форме идеализации их, приемами так называемого «художественного реализма», т. е. идеализирующего. Так изменение практических задач класса влечет изменение стиля искусства. На этом примере можно проследить также, как существенно различны пути развития искусства в разных общественных формациях. Если буржуазное искусство развивается от более широкой основы к все большему замыканию в узко-классовых рамках, то искусство пролетариата идет, наоборот, к все большему расширению своей базы. Буржуазия, будучи во время борьбы с феодализмом гегемоном, ведущим за собою крестьянство и пролетариат и создавая близкие им идеологические формы, по мере своего развития отрывается от них, идя к все большему классовому эгоизму. На ряду с «своим», «высоким» искусством она вынуждена создать суррогаты в виде «низкого», народного искусства, желая хоть в какой-то мере придать своим интересам, переведенным на язык искусства, характер всеобщности. Пролетариат же начинает с четкого оформления своих классовых интересов, но они есть в то же время основа интересов

¹ Маркс и Энгельс, О Фейербахе (Арх. Маркса и Энг. I, 1924, с. 231—2).

всеобщих, и потому вместе с отрицанием классового общества через диктатуру пролетариата отрицает и классовое искусство, но для того чтобы проделать этот путь, классовое искусство пролетариата должно быть гегемоном, диктующим свои принципы и формы искусствам всех остальных общественных групп, ибо только оно заключает в себе возможности к созданию искусства бесклассового, социалистического общества. Развиваясь таким путем, пролетарское искусство постепенно подчиняет и перерабатывает чуждые ему искусства, и все время расширяет, следовательно, свою основу. Подобное развитие органически увязано с развитием социалистического строительства вообще. Когда в спорах о пролетарском искусстве отрицают необходимость его четкого классового конституирования, отрицают самую возможность искусства пролетариата, то забывают именно ту предпосылку, что бесклассовое искусство социалистического общества только и может создаться через классовое искусство пролетариата. Все, что мы сейчас сказали, имеет значение определения различных путей развития искусства в разных общественных формациях и условиях, и еще раз отвергает мысль о каком-то вечном законе, нормах, которым следует искусство (см., напр., у Шмита «нормальная линия» искусства, или утверждение А. В. Луначарского, что искусство всегда развивается от правильной симметрии к большей свободе, потому что однообразие формы утомляет)¹. Так и в смене стилей мы наблюдаем тот или иной путь в зависимости от конкретных условий, и этот путь вовсе нельзя выразить в форме триады. Нужно прежде всего учитывать сосуществование и борьбу разных стилей, которая не уместяется в триаду, а об'ясняется фактом сосуществования разных классовых групп. Достаточно, напр., проанализировать русское искусство конца 90-х начала 900-х годов, чтоб убедиться в этом. Мы видим две линии развития: одну восходящую, которая отражает психику социальных групп, связанных с промышленным капитализмом, другую—нисходящую, отражающую психику упадочных дворянских групп (напр., Серов—Бенуа). И, наконец, ни одна «схема» не вместит в себя всех стилей буржуазного искусства, которые уже на наших глазах меняются с поразительной быстротой, ибо самый антагонизм буржуазного общества становится к концу его развития все острее, смена периодов устойчивости, стабилизации периодами кризисов все учащается, противоречия раскалывают сам класс буржуазии и создают невероятную сложность и пестроту идеологических форм и, в частности, искусства. Помочь раскрыть эту сложность может только анализ реальных предпосылок ее в самом материально-классовом развитии. Но развитие и смену стилей также нельзя рассматривать механистически. Диалектика смены стилей подчинена тем же законам, о которых мы говорили в связи с анализом типа искусства. Каждый стиль есть также противоречивость, уже заключающая в себе элементы нового стиля, долженствующего сменить его.

¹ Шмит, Предмет и границы социол. искусствоведения», стр. 55. и А. В. Луначарский, Очерки марксистской теории искусства, 1926, АХРР, стр. 74.

Но было бы, конечно, смешно искать эту диалектику в изолированном, мертвом художественном факте, ибо искусство только и существует как реальная практика, как непрерывно развивающийся процесс. И когда мы говорим о диалектичности, противоречивости, то имеем в виду художественный процесс или факт, как нечто развивающееся. Именно в своем развитии стиль или художественный факт обнаруживает свою противоречивость.

Египетское искусство, если его рассматривать как движущийся процесс, дает прекрасные образцы того, как высоко организованное, рационализированное содержание и приемы оформления перемешиваются с совершенно их отрицающими чертами натуралистичности, неукладывающейся в обычную схему, неорганизованными формами, фиксацией случайных впечатлений, незначительного, суб'ективного и т. д. Подобное обстоятельство долго приводило в смущение исследователей, которые об'являли приемы узаконенной условной организационной схемы в искусстве простым заблуждением, незнанием египетскими художниками некоторых элементарных законов, спокойно закрывая глаза на то, что рядом все эти элементарные законы художником прекрасно соблюдаются. В наше время интересно наблюдать, как даже буржуазные ученые, которым диалектика мало свойственна, в лице своих лучших представителей пытаются реабилитировать египетское искусство и об'яснить эти противоречия. Однако даже в последней работе Воррингера: «Aegyptische Kunst», превосходящей бывшие до сего времени труды на эту тему, вопрос этот не разрешен как следует. Он не может об'яснить этого противоречия. А между тем, об'яснение кроется в характере общественно-классового развития Египта, где централизирующие стремления внутри самого господствующего класса (как и всей хозяйственно-политической области) наталкивались на моменты децентрализирующие; абсолютюстские, бюрократические тенденции переплетались с разобщенностью феодальных замкнутых единиц, пользуясь терминологией Маркса — моменты притяжения и отталкивания переплетались и чередовались. И если были организованы и упорядочены многие отправления общественной жизни, то рядом с ними мы наблюдаем неупорядоченный хаос. Так же и в области идеологического (в частности художественного) производства определенные отрасли были строго-организованы и подчинены единому принципу, другие знали иную более анархичную и свободную форму выражения. Мы можем наблюдать поэтому не только в смене стилей отражение господства того или другого из этих принципов, но и внутри каждого стиля, каждой ступени развития наталкиваемся на их сосуществование.

Итак, каждый стиль в себе имеет свою противоположность, свое отрицание, которое конечно является не следствием имманентного развития искусства, а самой антагонистичности общественного развития, и новый стиль не приходит совершенно готовым, отдельные его черты развиваются еще внутри старого. И если существуют большие революции в искусстве, меняющие самый тип его, то развитие внутри типа заключается в смене стилей как показателей различных

этапов развития этого типа, разных этапов развития класса. Смена стилей не меняет самый тип искусства (напр., буржуазный тип покрывает собой все стили буржуазного искусства), каждый стиль развивается только в его границах.

В заключение надо отметить, что противоречивость, как основная категория развивающегося художественного процесса (типов и стилей искусства), вовсе не может быть сведена к механическому взаимодействию формы и содержания, сущности и техники и т. д. Ибо и то и другое в равной степени эту противоречивость заключает. Там, где в канонизированные формы и сюжетику феодального искусства выдвигается персонифицированное изображение какого-нибудь «благодетеля города», богача, видно противоречие не только в тематике и содержании (выделение индивидуума, как такового, среди лишенных всяких черт индивидуального изображений), но и в формах, в технике, т. е. потребность дать индивидуальный портрет требует иной техники, нежели символическая передача абстрактного знака, заменяющего живую личность. Конечно, между этими моментами художественного процесса существует определенное взаимодействие, которое тоже очень важно, но нельзя к нему сводить все дело. Материал, техника, напр., также оказывают влияние на форму и содержание. Форма воздействует на содержание, последнее на форму, но сводить к этому взаимодействию всю диалектику значит из-за деревьев не увидеть леса. Когда пытаются иногда представить дело так, что содержание искусства одного класса борется с формой искусства другого класса, или механически использует эту форму для своего содержания, то поступают грубо-упрощенски. Ибо если есть уже в искусстве новое содержание, то значит есть и элементы новой формы, и обратно всякое протаскивание старых форм под флагом нового содержания приводит лишь к тому, что на его месте оказывается *старое содержание*. Новые требования или смена классового суб'екта приводит не только к новому содержанию, но и к новым формам в искусстве.

А. Михайлов

М. Спектатор. «Введение в изучение мирового хозяйства. Опыт построения теории мирового хозяйства», ГИЗ., 1928, стр. 319.
Цена 3 руб.

В марксистской литературе по мировому хозяйству нет до сих пор ни одной работы, которая в систематическом виде развертывала бы всю цепь основных проблем современной империалистической экономики. Весь огромный новый, военный и особенно послевоенный материал если и изучен фактически и осмыслен теоретически, то в лучшем случае по частям—в статьях, докладах, немногих монографиях. Острую научную и политическую необходимость именно теоретического, а не просто описательного изучения проблем мирового хозяйства как системы, обосновывать конечно не нужно. Неудивительно поэтому, что «Опыт построения теории мирового хозяйства» т. Спектатора должен вызвать самый живой научный и политический интерес, тем более, что в предисловии автор формулирует свою задачу как «теоретический анализ» «мирового хозяйства как науки».

Как и в других своих работах, т. Спектатор показывает себя во «Введении» большим знатоком разнообразного фактического материала. При этом приводимый фактический материал в большинстве случаев не случаен и не дробен, а *интересен*, для нашей литературы *нов*, дан в сводном и обработанном виде. Но это не исчерпывает положительных сторон «Введения».

Автор свободен от «ползучего эмпиризма», он не довольствуется описанием экономических явлений, он зачастую пытается—что конечно и обязательно для опыта теории мирового хозяйства—связать современные процессы мировой экономики с Марксовым учением о воспроизводстве, с теорией рынка, с вскрытием особых закономерностей монополистического капитализма. И тут т. Спектатор отнюдь не держится всегда общих формул, только одних принятых и санкционированных истин. Соответственно новому привлекаемому материалу т. Спектатор в ряде случаев пытается (удачно ли, увидим ниже) поставить и осветить ряд общих вопросов. В этом отношении интересна глава I—Понятие мирового хозяйства, гл. III—Проблема внешнего рынка, гл. VI—Монополистический капитализм, гл. VIII—Экспорт капитала, и гл. IX—Колонии и конец гл. XI—Итоги. Так, уже при выяснении самого понятия мирового хозяйства автор не довольствуется какой-либо, вообще говоря, верной, но не новой и пресной формулировкой, вроде того, что мировое хозяйство есть совокупность народных хозяйств, тов. Спектатор спрашивает: «что же нового вносит мировое хозяйство в наше теоретическое понимание законов развития капитализма, какие *новые* социально-экономические отношения изучаются им?» (стр. 15). Нельзя не признать такой вопрос законным и теоретически правильным. Если мировое хозяйство не внесло никаких социально или организационно-экономических изменений в структуру

капитализма или если его утверждение с такими изменениями даже не связано, если все дело в географическом или чисто количественном изменении то зачем же тогда нужно какое-либо теоретическое изучение предмета? Охватить действительно новое в социально-экономическом строении империализма и мирового хозяйства при определении этого последнего нужно и ценно. Сам т. Спектатор, отвечая на поставленный вопрос, считает, что этим «новым» является то, что «не только отдельные классы, но и целые *народы* становятся *источниками* накопления» (стр. 26). «Подобно тому как при «национальном» хозяйстве часть нации является объектом, а другая субъектом хозяйства», так и теперь «в мировом масштабе» мы имеем страны объекты и страны субъекты процесса капиталистического хозяйства». «И для характеристики этих *мировых* хозяйственных отношений... мы употребляем выражение «мировое хозяйство» (26). При этом, по т. Спектатору, *субъектами* мирового хозяйства являются *промышленные* страны, для которых новым важнейшим источником прибыли является эксплуатация стран-объектов, «аграрных малоразвитых стран, социально-колониальных» (стр. 29, подчеркнуто нами). Сам монополистический капитализм как раз и имеет в этом новом источнике прибыли свою *differentia specifica*. «К основному источнику прибавочной стоимости—эксплоатации труда рабочего, прибавляется еще один—эксплоатация крестьянского населения, в особенности в колониальных странах, как мы это еще увидим. Этим и отличается новая ступень развития, характеризуемая как период *монополистического капитализма*» (стр. 24; первые курсивы наши, последний—автора). Можно считать удачной или неудачной эту характеристику сути мирового хозяйства и монополистического капитализма, можно искать ее идейных истоков у тех или иных авторов (обо всем этом немного дальше), но нельзя все же отрицать того, что эта проблема поставлена интересно и что т. Спектатор не хотел отделаться тут банальными фразами.

Не обойден также имеющий крупное принципиальное значение вопрос о монополюльной цене. Страницы, посвященные этой проблеме, составляют следующий интересный пункт в изложении т. Спектатора. Он защищает тут ту точку зрения, что монополюльная цена определяется издержками производства наиболее плохих предприятий, вошедших в картель. Объяснение картельной цены равнением на оптимально-выгодное соотношение спроса и предложения он считает отказом от Маркса, возвращением к вульгарной экономии Сэя. Консервируя отжившие предприятия и беря на себя оплату вложенного в них капитала, картель вынуждена определять цену по производственным расходам этих технически худших предприятий. Тов. Спектатор думает, что это определение картельной цены, во-первых, может быть выведено из Марксова анализа цен (Маркс в III томе пишет, что «при недостаточном количестве товаров, произведенные при худших условиях регулируют рыночную стоимость»), а во-вторых, в отличие от теории, ссылающейся на спрос и предложение, указанное определение исходит из производственных условий и поэтому методологически *единственно правильно*. Эта же теория объясняет природу «картельной ренты» или сверхприбыли, которая составляет разницу между картельной ценой и ценой производства средних предприятий картеля.

Далее, теоретический и фактический интерес имеет также трактовка проблемы экспорта капитала. Привлекая значительный материал, т. Спектатор доказывает в главе, посвященной этому вопросу, что экспортирующие капитал страны на деле уже с последней четверти XIX в. получали платежей по вло-

женным капиталам больше, чем они сами туда вывозили новых капиталов. Каждая классическая страна—экспортер капитала (Англия и Франция, к тому же приближаются сейчас САСШ)—ограничивает свои вклады «только суммами, которые поступают к ней из-за границы, да еще из этих сумм только часть капитализируется за границей, а другая возвращается к ней в виде товаров» (стр. 204). Со стороны торгового баланса это по большей части связано с пассивностью для капиталовывозящих стран и активностью для ввозящих. Однако т. Спектатор полемизирует с Boggs'ом, который видит в экспорте или импорте капиталов *основу* для того или иного состояния торгового баланса. Экспорт капитала, по мнению т. Спектатора, «по существу, только вытекает из товарообмена». «Только сильный или замедленный темп роста основного капитала внутри страны дает объяснения то растущего внутреннего спроса на товары, то, наоборот, интенсивного экспорта товаров и капитала, не находящих применения внутри страны» (стр. 203 и 204). Именно в зависимости от этого и происходит тот или другой поворот в развитии капиталэкспорта, в частности, очевидно, и перевешивание платежей по старым вложениям над новым экспортом капитала или—что является оборотной стороной того же—платежей импортирующих стран по полученным ранее вложениям над новым притоком капиталов. Эта проблема рядом с вопросом о роли экспорта капиталов в форсировании вывоза, в общем накоплении страны и в движении цен в импортирующих странах получает довольно богатое цифровое освещение. Жалко только, что т. Спектатор совершенно обходит проблему экспорта капитала в индустриальные страны, напр., в Германию. Он огстраняет от себя эту новую и принципиально интересную проблему сомнительным утверждением, что будто бы ввоз в Германию был только ввозом обратного капитала (стр. 233), и что такое движение капитала «не играет большой роли», к нему прибегают только «иногда», и оно «оказывает слабое влияние на общий ход хозяйственного развития» (стр. 219). Конечно, особенно сейчас, после ряда лет германского опыта, эти положения звучат странно и создают представление о том, что т. Спектатор отмахнулся от важного послевоенного структурного сдвига в строении мирохозяйственных связей.

Перечисляя наиболее интересные постановки проблем, нельзя не отметить наконец освещения т. Спектатором колониальных вопросов. Колонии, по т. Спектатору, есть «*политически зависимые области или страны, где капитал пользуется особым преимуществом в той или другой сфере, благодаря чему он получает некую сверхприбыль, которой он не мог бы получить, если бы существовала свободная конкуренция, т. е. он не подчинил бы себе этой страны*» (стр. 233, курсив автора). Однако, по т. Спектатору, «процесс товарооборота мало или совсем не зависит от тех отношений, которые называются колониальными» (стр. 246). Тов. Спектатор старается доказать, во-первых, то, что колонии не дают никаких особенных выгод по части широты своего рынка, и, во-вторых, то, что происходит падение роли торговли с колониями для стран-метрополий и роли торговли с метрополиями для стран-колоний. Колонии постепенно выходят на широкий мировой рынок, все теснее связываются с другими передовыми странами, постепенно высвобождаются и становятся самостоятельными.

Мы не хотим сказать, что только выбранные здесь и перечисленные нами места работы т. Спектатора представляют теоретический интерес. В меньшей степени, но все же имеются интересные положения и в других местах «Введения». Мы взяли только самое существенное и, как нам кажется, характерное для всей работы.

Первой и меньшей бедой книжки является однако то, что те или другие отдельные постановки вопроса все-таки остаются лишь *отдельными* элементами для «построения теории мирового хозяйства». Они ни в какой степени не увязаны друг с другом, не согласованы, не приведены ни в какую систему. Более того, даже сами по себе они зачастую не доведены до конца, не продуманы до полной ясности, остаются скорее обособленными заметками или материалом по тем или другим вопросам мирового хозяйства, но отнюдь не «системой» или «теоретическим анализом» его основных проблем. Напрасно вы попытались бы найти в главах «Введения» какую-либо красную нить, проходящую через всю книгу и связывающую известной логической последовательностью вопрос с вопросом. Даже следа такой нити нет. Но это было бы еще полбеды, если бы хоть отдельные-то вопросы не были бы сплошь и рядом оборванными, или только намеченными. Вот-вот кажется, что т. Спектатор, занявшийся интересным вопросом, подойдет к какому-то обобщению или объяснению, к какому-то *выводу*, но тут-то как раз интересное изложение обрывается и остается каким-то фрагментом. Читатель остается в некотором недоумении, которое т. Спектатор иногда усиливает нагромождением несогласованных внешне (а часто и *внутренне*), противоречащих друг другу положений. Мы не думаем, чтобы т. Спектатор не мог совладать с им же вызванным теоретическим духом и дать что-то более систематическое. Возможно, что тут дело объясняется тем, что вся книга «возникла из лекций, прочитанных в 1-м МГУ и ИНХ им. Плеханова»—лекций, может быть, несколько недостаточно обработанных. Отсюда получается, что даже в перечисленных наиболее интересных пунктах книги мы встречаем примеры такого «самоограничения» автора подходом к вопросу без его действительного разрешения, доведения до конца и увязки с другими проблемами.

Так обстоит например дело с анализом тенденций развития и экономической роли капиталэкспорта. Очень важный факт превышения платежей по вложенным капиталам над новыми экспортируемыми суммами остается необъясненным, и из него не сделано никакого ясного и непротиворечивого вывода. Единственное объяснение, которое можно выудить из соответствующих страниц, сводится к беглому и краткому указанию на то, что рост основного капитала в капиталэкспортирующих странах приводит к превышению платежей (в виде импортируемых товаров) над вложениями (в виде экспорта материальных носителей капитала). Объяснение это явно сомнительное, ибо, как известно, получающие огромные платежи страны превращаются в государства-рантье, загнивают, и рост основного капитала в них по своему темпу отстает от молодых стран и во всяком случае едва ли происходит скорее, чем в период, когда они вывозили капиталов больше, чем получали платежей по ним. Сам т. Спектатор не отрицает как будто факта загнивания и превращения в рантье капиталэкспортирующих стран. Но как же тогда можно объяснять превышение поступлений над вывозом капитала ускоренным ростом основного капитала в этих загнивающих странах-рантье? И дальше: если «капиталистические страны получают от аграрных больше, нежели они вывозят туда» (стр. 211), то как же «экспорт или импорт капитала» оказывается «дающим сильный толчок развитию новых аграрных стран и в известном смысле задерживающим развитие старых стран» (стр. 233; нами изменен падеж)?

Тов. Спектатор, с одной стороны, устанавливает очень интересный и принципиально значительный факт, что ежегодные доходы по вложенным капиталам

быстро нарастают и по истечении определенного периода начинают превышать новые инвестиции, и даже считает этот факт опрокидывающим теорию Розы Люксембург о немости накопления внутри капиталистических стран (ибо экспорт капитала оказывается не оттягивающим «лишнее» накопление, а, наоборот, нагоняющим внутри страны еще некоторый плюс к произведенной внутри прибавочной стоимости). Но тот же т. Спектатор, когда дело доходит до влияния импорта капитала на хозяйство страны-импортера, находит место для заявления о том, что, благодаря благотворному действию импорта капитала, «с избытком воссоздается та часть прибыли, которая уходит за границу» (стр. 226), или что благодаря ему колониальные «бедные капиталом страны» получают новую технику, что он даже «дает им возможность конкурировать со старыми капиталистическими странами» (стр. 233) и т. п. Другими словами, здесь капиталэкспорт выступает как индустриализатор и благотворитель, при чем тот факт, что эти благодетельствуемые страны платят больше, чем получают, совершенно скрывается с поля зрения.

В этом пункте анализ не только, как видно, запутан, но и вообще не доведен до конца. Может быть, разбираемый факт показывает нам одну из существенных сторон современной системы империалистической эксплуатации? Может быть, мы тут видим интересную механику того, как старые капиталистические страны ценою оказания молодым, колониальным и аграрным странам помощи в их первых шагах по пути индустриализации, затем прочно закабаляют их и создают себе постоянное право на долю их прибавочной стоимости? Может быть, этим вся система экспорта капитала оказывается в конечном счете средством перераспределения накопления в пользу передовых капиталистических стран? Может быть, это внешне парадоксальное положение отражает реальное противоречивое развитие современного империализма?

Может быть да, а может быть и нет. Такой вывод не сделан, но и не отвергнут. По ходу изложения материала—как будто бы да, а по некоторым выводам и в особенности по дифирамбам действию импорта капитала—как будто бы нет. Сам-то т. Спектатор может быть и понимает все это, но читатель т. Спектатора обречен на недоумение и недовольство: он ждет объяснения и вывода, он получил ряд интересных фактов, у него только было разгорелся теоретический аппетит—и вдруг он очутился почти на пустом месте. Конечно, плохо, когда у иных авторов много теоретической и «обобщающей» амбиции и мало фактической амуниции, но вряд ли хорошо, когда солидная амуниция соединяется с недостаточной теоретической «амбицией»?

К сожалению, подобного рода неясности не исчерпывают недостатков книги т. Спектатора: в ряде случаев они «перерастают» в прямые ошибки. И тут мы подходим к главному недостатку «Введения».

Мы уже приводили интересную попытку т. Спектатора определить мировое хозяйство с точки зрения «своих» последнему специфических, новых общественных отношений—отношений эксплуатации передовыми «странами-субъектами» отсталых аграрных «стран-объектов», т. е. с точки зрения как бы «расслоения» внутри наций и стран мира. *Поставлена* проблема определения мирового хозяйства тут верно и интересно. Но по части положительного содержания самого определения надо сказать, что, во-первых, оно очень сомнительно со стороны полноты и верности, и что, во-вторых, т. Спектатор сам до нельзя запутал и даже «опроверг» свое собственное определение.

Нам кажется прежде всего, что выделение одного момента эксплуатации индустриальными странами аграрных как конституирующего признака монополистического капитализма и мирового хозяйства, не совсем по праву выставляется т. Спектатором, как его собственное детище. К рождению этого ребеночка немного причастен не кто иной, как старый, дряхлый *Каутский*. Ибо именно этот седой ренегат еще в 1914 г. выдвинул теорию, по которой суть империализма состоит в «стремлении каждой промышленной капиталистической нации присоединять к себе или подчинять все большие аграрные области, без отношения к тому, какими нациями они населены»¹.

Ленин, как известно, резко критиковал эту теорию, задевая, при этом между прочим также и т. Спектатора. Ленин писал об этой теории следующее: «Это определение совершенно неправильно, ибо оно односторонне, т. е. произвольно выделяет один только национальный вопрос (хотя и в высшей степени важный как сам по себе, так и в его отношении к империализму), произвольно и неверно связывая его только с промышленным капиталом в аннексирующих другие нации странах, столь же произвольно и неверно выдвигая аннексии аграрных областей». «Для империализма характерно как-раз стремление к аннексированию не только аграрных областей, а даже самых промышленных»...². Конечно, т. Спектатор не просто повторяет старые определения Каутского, и поэтому не *каждое* слово ленинской критики *прямо* применимо к нему; но поскольку главная мысль—подчинение аграрных стран и наций промышленными как сущность монополистического капитализма и мирового хозяйства—остается той же самой (см. приведенные выше цитаты из «Введения»), постольку *сущность* ленинской критики не в бровь, а в глаз попадает в т. Спектатора. Мы отнюдь не думаем, что т. Спектатор сознательно хотел взять реванш за то, что когда-то Ленин мимоходом опроверг его исправления теории Каутского; мы убеждены, что т. Спектатор хотел написать свое «Введение» в духе ленинской теории империализма. Но как это ни неприятно, а все же приходится сказать, что т. Спектатор шел в одну дверь, а очутился перед несколькими другой.

Теперь два слова по существу вопроса: почему же ошибочна точка зрения Каутского-Спектатора? Да потому, хотя бы, что самый факт колониальной политики и выкачивания одними нациями прибавочной стоимости, созданной другими, существовал до создания империалистического мирового хозяйства. Для этого последнего характерно не просто факт разделения наций на угнетенные (по Спектатору, аграрные) и угнетающие (промышленные) страны, а создание мощных монополистических союзов капиталистов, подчиняющих, монопольно подчиняющих себе, группирующих вокруг себя более слабые страны. Приведем место, где Ленин формулирует это различие: «...Раздел мира есть переход от колониальной политики, беспрепятственно расширяемой на незахваченные ни одной капиталистической державой области, к колониальной политике монопольного обладания территориями земли, поделенной до конца»³.

Вот в этом превращении мира в ряд монопольных империалистических групп, поделивших всю землю на части и «прикрепивших» к себе эти части путем монополизации хозяйственных связей, вот в этом-то и состоит «новое социальное

¹ Цитирую по Ленину, том XIII, стр. 307.

² Там же, стр. 307.

³ Собр. соч., т. XIII стр. 305, подчеркнуто нами.

отношение», характерное для мирового капиталистического хозяйства. Определение т. Спектатора, выражаясь словами Ленина, «односторонне, т. е. произвольно выделяет один только национальный вопрос» и не менее произвольно упускает такой решающий момент, как всестороннюю монополизацию капитала, создание «государственно-капиталистических трестов», раздел между ними мира и строящуюся на этой основе *структуру* мирового хозяйства.

«В защиту» т. Спектатора надо сказать, что он очень нетвердо стоит на позициях своего каутскианского определения существа мирового хозяйства и империализма. Он сплошь и рядом сбивается со взятой линии, а в главе о колониях, вместо подтверждения и развития своей основной мысли, дает скорее опровержение и во всяком случае нагромождает целый ряд противоречий. Однако и тут дело не обходится без новых ошибок, имеющих принципиальное значение.

Дело в том, что т. Спектатор несколько неожиданно об'являет, что аграрные страны не могут быть действительно включены в мировое хозяйство, если они не начинают терять свой аграрный характер. «...Говорить о том, что в общий круговорот мирового хозяйства втянулись не только промышленно развитые страны, но и аграрные, промышленно недоразвитые..., будет правильно только в том случае, если эти страны становятся все больше и больше рынками, куда сбываются средства производства, куда идет капитал из промышленно развитых стран» (стр. 28). «Отсюда мы делаем тот вывод, что понятие «мировое хозяйство»... связано с процессом индустриализации аграрных стран, совершающимся посредством импорта капитала» (стр. 29). Это, во-первых, странно звучит после того, как эксплуатация *аграрных* стран была об'явлена основным новым и характерным для *мирового хозяйства*; теперь оказывается, что без того, чтобы начать превращаться в индустриальные, эти страны не могут даже претендовать на вхождение в мировое хозяйство. Но на это т. Спектатор вероятно возразит, что именно в этом-то и состоит диалектическое противоречие в самом существе мирового хозяйства: аграрные страны включаются в мировое хозяйство только тогда, когда они встают на путь индустриализации. Пусть будет так, пусть это противоречие в жизни, а не в книге т. Спектатора. Но, во-первых, верно ли фактически, что включение в мировое хозяйство аграрной страны обязательно равносильно ее индустриализации, и что без этого аграрная страна не может быть тесно связана с мировым рынком? Сам т. Спектатор на стр. 91 приводит данные, из которых видно, что именно страны передового сельского хозяйства, в частности Австралия (скотоводство) и Канада (зерновое земледелие), стоят на первом месте по доле экспорта в общей продукции страны (29%)! В-третьих, наконец, и это самое важное, верно ли представлять без всяких оговорок индустриализацию колоний основным, существенным, прямо конституирующим моментом капиталистического мирового хозяйства? И ввязется ли это с определением отношений *эксплуатации* аграрных стран индустриальными как существа мирового хозяйства?

От главы о колониях читатель ждет раз'яснения всех указанных противоречий. Вместо этого он получает такую теорию, от которой он приходит в окончательное недоумение. Прежде всего, важнейшие страницы, на которых даются решающие формулировки, до такой степени запутаны, что иногда просто нельзя ничего понять. Возьмем центральное место этой главы (стр. 246—247): «Сам по себе,—смело пишет т. Спектатор,—процесс товарооборота мало или совсем не зависит от тех отношений, которые называются колониальными (sic!). Указание на то, что тенденция развития ведет не к сближению, а, наоборот, к

высвобождению колоний, не только правильно указывает на тенденцию развития и об'ясняет войны за освобождение, которые ведут теперь колониальные народы, но, будучи обращено ко всему капиталистическому миру, как таковому, а не только к отдельным странам, вскрывает «фетишизм колониальной политики». В чем дело? Какой фетишизм? На что «указывает указание»? Можно читать это место несколько раз внятно и раздельно вслух, но все-таки что-либо понять трудно. Но т. Спектатор продолжает. «Вместо *существенных* отношений, вместо товарообмена и т. д. выступают отношения *социального* порядка: грабежи, присвоение ренты, получение высокой прибыли и т. д. (Получается какая-то бессмыслица. Как при товарно-капиталистическом строе «вместо» вещественных отношений и товарообмена могут существовать какие-то спиритуалистические социальные отношения! Как без товарообмена и без вещественных отношений получается высокая прибыль, рента и т. д.! Но послушаем дальше т. Спектатора. А. А.). Выяснить наглядно вот эту *разницу* между *товарооборотом*, *использованием естественных богатств* новых стран и *порабощением* или даже истреблением колониальных народов с целью захвата земель и *монополизации источников сырья и торговли* (Как можно отделить «товарооборот» от «торговли» и «использование естественных богатств» от «монополизации источников сырья», а все это от «порабощения» не знает, вероятно, и сам т. Спектатор. А. А.), *отчетливо и наглядно* (!), определить тенденции развития колониальной политики—*возможно именно указанием на общие имманентные законы развития международных отношений, которые ведут к освобождению колониальных народов из-под власти империалистических государств*». Действительно, как все это «отчетливо и наглядно!» И какая «законченность» явно оппортунистической путаницы! Тов. Спектатор, чувствуя, что он сказал что-то лишнее, продолжает: «Этим отнюдь не сказано, что развитие капитализма может повернуть вспять к либерализму с его антиколониальными тенденциями: нет, капитализм перерос эту стадию развития, и из монополистического капитализма имеется только один выход—к социализму!» Ну, уж извините, т. Спектатор, тут восклицательными знаками не поможешь. Этим кое-что сказано, даже очень и очень немало сказано: т. Спектатор выступает в качестве совершенно открытого, явного сторонника теории всеобщей деколонизации, об'являя ее «имманентным законом развития международных отношений!» «Освобождение колониальных народов»—«имманентный закон» империалистического развития! «Тенденция развития», ведущая к их «высвобождению!» Война за освобождение колоний—об'ясняемая этой тенденцией!

И еще: откуда это поистине удивительное противопоставление вещественных и социальных отношений? Как понять то, что т. Спектатор в полемике с Зомбартом, указывающим на роль колоний как сфер приложения капитала, утверждает ни с того ни с сего, что Зомбарт и Штернберг «не различают между вещественными и социальными отношениями» и что «вопрос не в этих отношениях, а (sic!) в высоте доли эксплуатации этих стран». Где тут смысл? Его здесь не больше, чем в словечке абракадабра.

Но вернемся к основному вопросу. Как мы убедились, т. Спектатор не мыслит себе мирового хозяйства без индустриализации, деколонизации и высвобождения угнетенных стран. В этом, по его мнению, состоит общая имманентная тенденция развития империалистического мирового хозяйства. Каково же обоснование этого «имманентного закона», открытого т. Спектатором? Обоснование это довольно просто. Дело в том, что, по т. Спектатору, роль колоний для империа-

листических стран вообще невелика и все более падает. Тов. Спектатор доказывает, что ни для переселения, ни для вывоза, ни для снабжения сырьем, ни для экспорта капитала колонии не играют большой роли. Переселение в колонии всегда было невелико, доля их во внешней торговле для Франции, Англии падает, уровень% по колониальным займам ниже, чем для чужих стран. «Итак, при нормальных отношениях колонии не представляют особенных выгод...»—заключает т. Спектатор (стр. 255). Так как такое заключение явно противоречит утверждениям о том, что эксплуатация колоний—основа всего мирового хозяйства, что колонии платят по вложениям больше, чем получают капиталов, что капитал идет в колонии в погоне за сверх-прибылью, т. Спектатор пытается выбраться из сети противоречий, ссылаясь на то, что «монополистический капитализм гонится за сверхприбылью», а колонии—хоть и «маленький, но зато монополизированный рынок», да в них еще «можно особо выгодно и бесконтрольно использовать источники сырья». «Вот основная причина колониальных стремлений и колониальных войн» (стр. 255). Тов. Спектатор таким образом ищет выход в указании на то, что ребенок хотя и налицо, но он совсем маленький: сверхприбыль есть, рынки есть—но «маленькие». Это ничуть не устраняет противоречий и недоразумений, ибо как же можно при всем этом об'являть колониальную эксплуатацию основой всех основ, самым специфическим в мировом хозяйстве? И далее: если роль колоний падает и они «имманентно» высвобождаются, не будет ли смягчаться (а может быть, уже смягчается) борьба за них? Нет ли надежд на умиротворение империалистической борьбы за колонии?

Однако читатель может не особенно беспокоиться насчет обязательности таких выводов. Дело в том, что т. Спектатору абсолютно не удалось доказать падение роли колоний, хотя бы даже во внешней торговле метрополий (тут он приводит особенно много «доказательств»). Так, даже для Англии, находящейся по этой линии в особо неблагоприятных условиях, доля вывоза в колонии в процентах к общему вывозу фабрикатов с 1899 по 1923 г. выросла с 35 до 45% (см. стр. 248). Для Франции доля ее колоний во ввозе в 1898 г. составляла 9,2%, а в 1926 г.—11,5%, в вывозе (соответственно)—11,17% и 15,43% (см. стр. 252). Значит, и тут есть некоторый рост. В отношении САСШ известно, что доля Ю. Америки и Азии в ее внешней торговле неуклонно растет за счет Европы. Таким образом, почти все данные говорят *против* деколонизаторских теорий т. Спектатора, и тут ему приходится заменять действительные цифровые доказательства решительными, но голословными утверждениями.

В неправильном определении сущности мирового хозяйства, в путанице и явном «деколонизаторстве» в вопросе о развитии колоний состоит *главная ошибка* в книге т. Спектатора. За цей следует целая плеяда просто ошибок и ошибокек, неверных формулировок и неясностей, небрежностей языка и описок. Мы не будем приводить всех их, остановимся только на некоторых, наиболее явных и существенных.

Что касается вышесказанной теории картельной цены, то мы ее разбирать здесь не будем. Отметим только, что т. Спектатор напрасно думает, будто бы его точка зрения выведена из производственно-трудовых моментов, а не из спроса и предложения. Ведь сам т. Спектатор в обоснование того, что картельная цена регулируется наибольшими издержками, приводит слова Маркса, что «*при недостаточном количестве товаров, произведенных при худших условиях, регулируют рыночную стоимость*» (подчеркнуто нами, стр. 135). Или т. Спектатор

«подчеркивает», что «если общественная потребность превышает продолжительное предложение товаров на рынке, цена их определяется производственными расходами при наилучших условиях» (стр. 136; первый курсив наш, второй—автора). Значит, т. Спектатор не исключает момента спроса и предложения из обоснования своей теории картельной цены. Это первое замечание методологического порядка. Второе замечание по существу сводится к тому, что нам кажется весьма сомнительной применимость точки зрения т. Спектатора к регулированию цен более высокими формами картелей, хотя бы трестами. Если все предприятия картели работают и самостоятельно получают прибыль, цена должна дать издержки производства плюс определенную норму прибыли даже самым слабым членам картели. Но если трест сливает все предприятия, приостанавливает некоторые из них, сосредоточивает производство на лучших заводах—не могут ли тогда бывшие владельцы худших предприятий превратиться при этом (если налицо нет «разводнения» капитала), в акционеров, а их доходы соответственно быть сведены к обычной норме дивиденда? Нам кажется, что последний случай по меньшей мере возможен и что поэтому теория т. Спектатора, несколько упрощает дело.

Все это, однако, между прочим. С основной ошибкой т. Спектатора, а значит, и с основным ходом наших замечаний связаны два других сомнительных пункта. Во-первых, у т. Спектатора довольно странная трактовка вопроса об источниках колониальной сверхприбыли. Он пишет, что «если ввозится производственный капитал, то это совершается потому, что в данной стране, которая ввозит капитал, более высокая норма прибыли. Это значит (?), что производительность труда более высокая. Обычно более высокая производительность труда в аграрных и колониальных странах (sic!) об'ясняется более благоприятными естественными условиями...» (стр. 225; курсив наш). Какая идилия! Оказывается, не низкий органический состав капитала, зверская эксплуатация колониальных рабов и нищенская зарплата является источником сверхприбыли, а особая высота производительности труда, обусловленная природными богатствами! На самом деле, конечно, утверждение, что *общий* уровень производительности труда в колониях выше, чем в метрополиях, совершенно не верно.

Во-вторых, столь же идиличными могут показаться и те места книги, в которых т. Спектатор пишет о переходе на производство высококачественных товаров, как основным содержанием последнего поворота в экономической истории Англии (как и других «старых стран»). Напр., на стр. 233 т. Спектатор об'ясняет боязнь Англии перед «пробуждением аграрных стран» трудностями перехода консервативной английской промышленности к производству высококачественных продуктов. В одном месте (стр. 214) т. Спектатор, говоря о предвоенном развитии Англии, характеризует это время, как время «бабьего лета» английского капитализма, когда он «омоложивается», переходит к производству высококачественных товаров и «укрепляет свои позиции на колониальных рынках». Повидимому, т. Спектатору будущее развитие как раз и представляется как более или менее полюбовное разделение труда между старыми странами, специализирующимися на высоком качестве, и «молодыми» «высвободившимися» странами, производящими массовую продукцию. Все это очень просто и идилично, но едва ли примиримо с учением о загнивании, о неизбежности обострения противоречий империализма и т. п. вещами.

Неудивительно после этого, что, говоря о влиянии колониальной политики на развитие колониальных стран (у т. Спектатора написано «капиталистических»,

но судя по смыслу это описка¹, нашему автору, стремящемуся сохранить «ортодоксальное лицо», приходится, с одной стороны, об'являть это влияние «отрицательным», с другой стороны, обосновывать это положение не экономическими обстоятельствами, а тем, что колонии «являются школой грубости нравов» «диких бесчеловечных отношений», «грабежа туземцев» и т. п. (стр. 256). С этими жалобами на «нравы» и «жестокости» согласится любой «левый с.-д.» и уже одно это показывает, как далеко ушел г. Спектатор от правильной постановки вопроса.

В заключение отметим некоторые образчики стиля г. Спектатора: на стр. 172 г. Спектатор, «отлагая (!) анализ» одного вопроса, переходит к другому; на стр. 56 «капитализм» у г. Спектатора «подкапывает под себя (!?) почву». Подобные стилистические перлы встречаются в рецензируемой работе в изобилии.

Подведем итоги. Тов. Спектатор, собрал интересный материал и теоретически подошел к ряду вопросов, но запутался и не смог дать никакой системы взглядов, а по существеннейшим вопросам прямо скатился в оппортунистическое болото.

А. Айхенвальд

ЭТНИЧЕСКАЯ ИЛИ МИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

(В связи и по поводу «Введения в этническую психологию» Густава Шпета. Выпуск I, изд. ГАХН, М. 1927).

В издании Государственной академии художественных наук стали выходить «оригинальные» работы г. Шпета. Оригинальность их между прочим выражается и в том, что они «интерпретируют» классические работы выдающихся мыслителей прошлого, являвшихся основоположниками новых учений или направлений в той или иной области науки.

Во «Внутренних формах слова»² Шпетом был «интерпретирован» Вильгельм Гумбольдт, в «Введении в этническую психологию»³ получил «резкую» критику Вильгельм Вундт, возможно, что на очереди стоят и другие мыслители. В последнем случае, могут подумать марксисты, будут вероятно «интерпретированы» и создатели диалектического материализма. Такое предположение будет несколько запыленным.

Потому ли, что Маркс и Энгельс для создателя «описательной науки» кажутся более или менее скромными величинами, или потому, что Шпет есть все же реальность, находящаяся и в пространстве и во времени, и известным образом, если не «типически», «переживающая» эти категории, создатели «исторического материализма» нашли себе место где-то сбоку, в книге «Введение в этническую психологию», так что их там еле-еле видно.

Но марксисты должны быть благодарны г. Шпету и в этом. Я же со своей стороны выражу свою благодарность особого рода «откликом» и «переживанием» — «пропагандированием» взглядов г. Шпета на марксизм.

¹ Ибо если это не описка, то это верх бессмыслицы: говорить, что колонии оказывают «отрицательное влияние на развитие капиталистических стран» значит вообще быть не марксистом.

² Шпет, Густав, Внутренняя форма слова (Этюды и вариации на темы Гумбольдта), изд. ГАХН, М. 1927.

³ Его же, Введение в этническую психологию, выпуск I, изд. ГАХН, М. 1927.

Если во «Внутренних формах слова» Шпет вел энергичнейшую атаку на «натурализм» в лингвистике, то в «Введении» он «резко нападает» на генетизм в психологии (индивидуальной, общей, социальной и т. д.).

Он прилагает все свои усилия для совершенного разоблачения ненаучности генетизма и дает ему очень резкие характеристики.

Так в одном месте своей книги он пишет: «Мое определение социально-психологического как типически общного в реакциях коллектива на об'ективную действительность, принципиально отличается от распространенных и принятых определений, составляющихся под влиянием об'ективирующих и гипостазирующих тенденций генетического толкования понятий «дух» и «душа»¹.

Еще более резко г. Шпет выразил свое отношение к генетическому об'яснению в другом месте.

«Об'яснение, например, современных верований из их зарождения и возникновения, об'яснение свойств биологически более совершенного организма из известных или только предполагаемых свойств его примитивного предка, об'яснение антропологических особенностей расы из особенностей чисто животного порядка, и т. п.—все это не нелепость лишь в устах того, кто имеет в виду, в своих об'яснениях, наличность внутренних сил или субстанции развития, и оно не имеет никакого смысла для того, кто само развитие целиком сводит к факторам внешней среды и обстановки»².

Отсюда видно, что генетическое об'яснение и нелепо и бессмысленно. Нужно не об'яснять то, как, предположим, из простых форм происходят сложные, а описывать, как происходит процесс изменения этих форм, не ставя вопроса о связи между этими формами.

Шпет считает «задачами науки... прослеживание изменений, которым подвергается «суб'ект», в зависимости от среды или обстановки», при чем нужно «установить в то же время некоторые постоянства, сохраняющиеся во всех названных изменениях, независимо от их внешней или внутренней обусловленности». Ясно, что в отношении этих «постоянств» исследователи и описатели вынуждены будут и «должны принципиально воздержаться... от всяких генетических об'яснений»³.

Другими словами, при изучении социальной психологии всех типов общества, всех народов, исследователь столкнется с некоторыми постоянствами, проходящими, подобно стержню, через все изменения общества. Эти «постоянства» мы можем несколько конкретизировать ссылкой на «спецификум» социального, встречающийся в другой работе Шпета (Внутренняя форма слова). Соединение этого спецификума с человеком и дает то, что называется социальным; «без этого воплощения в культурной реальности, читаем мы там, субъект лишен своих качеств sui generis и принимается как простой об'ект природы, как задача естественно-научного изучения»⁴.

Отрицая научное значение за генетическим об'яснением, г. Шпет отнюдь не хочет быть голословным. Он во «Внутренних формах слова» указывает и на

¹ «Введение в этническую психологию», стр. 110. Подчеркнуто мной.

² Там же, стр. 113. Подчеркнуто мной. Необходимо обратить внимание на то, что по Шпету «само развитие целиком» сводимо к факторам внешней среды и обстановки. Значит, об'яснение совершенно излишне, необходимо только описание изменений факторов, интерпретация их.

³ Там же, стр. 113—114. Подчеркнуто мной.

⁴ Шпет, Густав, Внутренняя форма слова, стр. 178.

отсутствие конкретного материала, восстанавливающего пути генезиса и, что более важно, на наличие специфика у всех типов социального и на наличие логического начала во всех элементах языка.

Но, встав на путь отрицания всякого генезиса, исследователь неминуемо идет к отрицанию не только «внутренних, имманентных сил развития», но и того, в чем они должны находиться, т. е. самой субстанции.

Таким образом отрицание генезиса ведет к отрицанию всякой субстанциональности и к признанию реальности только за чистым процессом, за изменением, за чистым становлением, то есть за голый абстракцией.

Это мы и видим на примере г. Шпета.

Он в каждом удобном случае подчеркивает свое отрицательное отношение к субстанциональности и считает «метафизикой» субстанциональность в естественных науках. «Естествознание, пишет он, достаточно прочно стоит на своих ногах и достаточно богато, чтобы позволить себе роскошь *метафизических об'яснений*, психологии же лучше вести образ жизни более скромный»¹.

В социологии теория г. Шпета ведет к признанию исконности указанных «некоторых постоянств», т. е. к признанию вечным основы современного общества (частной собственности, со всеми вытекающими отсюда последствиями).

Исконны эти основы, но не их конкретное проявление в том или ином типе общества.

«Определяющие источники всякого конкретного переживания лежат в *духовном укладе*, который предопределяет действия и переживания не только индивида, но всякой группы. Мы сомневаемся, пишет Шпет дальше, в определяющей роли «народа» (как физической конкретности.—И. Д. К.) для коллективной психологии, пока представляем себе «народ» как устойчивую «вещь», которая может *исчезнуть* (заметьте! И. Д. К.), как исчезает всякая «вещь», растворяясь на свои элементы и преобразуясь в их новые сочетания и связи. Но «народ» в психологическом смысле есть исторически текучая (но не исчезающая и не рождающаяся.—И. Д. К.) форма и если бы на наших глазах эта форма перелилась в новые формы,—скажем, современные народы разделились бы на классы, которые переливались из народа в народ, создали бы новые, еще невиданные коллективы,—мы были бы только последователи, если бы признали, что *народились новые народы*»².

Если здесь г. Шпет говорит только об «исчезаемости» «народов» в психологическом смысле, то в другом месте он дает «другие резкие примеры», устанавливающие исконность и негенетичность «народов». Таковы «перемена места оседлости, революционная (?) смена образа (!) правления, радикально новое научное или техническое открытие и т. д., и вызываемая ими перемена быта, привычек или способов душевного отзыва на них». При разборе этих явлений «лучше было бы... даже не называть соответствующее изображение «развитием» или «генезисом», хотя и обнаружится известное постоянство», которое связывало бы в определенное единство самые крайние моменты прослеживаемой последовательности»³, «так как всегда может оказаться, что продолжают существовать *об'ективные условия*, поддерживающие указанное постоянство»⁴.

¹ Шпет, Густав, Введение в этническую психологию, стр. 115.

² Там же, стр. 147. Подчеркнуто мной.

³ Там же, стр. 114.

⁴ Там же, стр. 114—115. Подчеркнуто мной.

При чем под «постоянством» здесь нужно понимать не психическое, как раньше, а субстанциональное, как например, постоянство «классовых и профессиональных привычек» при переменах в национальном настроении»¹ и т. п.

Признание подобного постоянства субстанцией или «обращение к «субстанции» здесь всегда опасно», так как это неминуемо ведет к генетизму.

«Если бы это было не так, объясняет г. Шпет, то мы должны были бы последовательно допустить такую душу класа, сословия, профессионального объединения и т. д.»². Это дало бы повод к постановке вопроса о генезисе этих мелких душ и послужило бы великим соблазном к постановке вопроса и о происхождении души народа, специфика и т. п., и привело бы, в конце-концов, к признанию факта неисконности основ современного общества.

Впрочем, сам г. Шпет об этом последнем не говорит ни слова, и может обвинить нас в вымысле и создании фикции, ибо непосредственной целью Шпета является зарождение в душах читателей сомнения в приложимости генетического объяснения только к предмету «этнической психологии».

При этом пример, вроде «революционного изменения образа правления» и т. п. по его мнению «все-таки не... целиком... отрицает возможность генетической психологии, а требует только известного ее толкования, представления ей «точного места»³. Ему хочется «зародить и общее сомнение в приложимости... к коллективной... психологии... генетического объяснения»⁴.

Но для этого недостаточно одной критики систем идеалистических, необходимо остановиться и на системах материалистических. Последнее же до известной степени небезопасно.

«Можно было бы допустить,—пишет Шпет, переходя все же к обзору материалистических *об'яснений*,—еще такое толкование развития коллективной душевной жизни, при котором последняя объяснялась бы структурой и развитием материальной жизни общества»⁵.

Он не переходит сразу к разбору марксистского объяснения, а останавливается на «интерпретации» взглядов Бастиана, Шурца, Шульца и др.

Переход к марксизму г. Шпет совершает посредством обходного маневра. «Дальше всего,—пишет он,—как-будто идет этнографический материализм как *случай* исторического материализма *вообще*»⁶.

«Он (несомненно марксизм, т. к. об этом этнографическом материализме автор больше и не заикается) *об'ясняет* духовную культуру и душевный строй коллектива из развития материальных сил общества, в конечном итоге, из развития производительных сил».

После такого «дипломатического» вступления г. Шпет совершает еще целый ряд обходных маневров, отыгрывается на передержке⁷ из Бухарина и эксплуата-

¹ Шпет, Густав, Введение в этническую психологию, стр. 115.

² стр. 115.

³ стр. 115.

⁴ Там же стр. 115.

⁵ стр. 116.

⁶ стр. 116. Подчеркнуто мной.

⁷ Ссылку на Н. Бухарина я считаю передержкой, исходя из следующих соображений: 1) Бухарин мышление считает «языком минус звук», значит психическое возникает вместе с языком. 2) Бухарин никогда и нигде не утверждал, что материальное «предопределяет» психологию «не для каждого отдельного индивида, а для коллектива» т. е. для Шпетовского этноса, наоборот, он считает

нии имени Плеханова, и пускает в завершение всего такую словесную «дымовую» завесу: «Лишь в неточном смысле можно такое об'яснение называть генетическим, как оно себя и называет, это есть об'яснение материалистическое или экономическое»¹.

Впрочем, я еще покажу, что предоставление «льготы в виде признания марксистского толкования «неточно генетическим»... было только маневром и ничуть не отвратило признания этого толкования и нелепостью и метафизикой.

Видимо считая, что подготовительные меры в достаточной степени надежны и совершенно «запутали след», автор совершает решительный шаг в сторону резкой критики марксизма.

«А потому,—пишет он,—и здесь пусть сами экономисты (а почему не марксисты?—И. Д. К.) решают, что такое «силы», о которых они говорят, нуждаются они в субстанции или не нуждаются. Для психологии обращение их к субстанциональному генетическому (а не экономическому.—И. Д. К.) значению—чистая метафизика»².

Итак, марксистское об'яснение—метафизика. Вот что хочет сказать г. Шпет и старался скрыть своими маневрами от читателя. Но это еще не все. Он предпринял еще один маневр для того, чтобы затем смело характеризовать марксизм как нелепость.

Для этого он пишет: «Методологически указываемое об'яснение может занять свое место, как разъяснено в начале этого параграфа, вместе с об'яснением биологическим, иманентным и другими возможными, рядом с описательным и классифицирующим описанием, не исключая его»³.

Что было «в начале параграфа» мы уже знаем, как он охарактеризовал «биологическое об'яснение» мы тоже в свое время узнали (см. цитату из стр. 113 Введения).

Таково мнение Густава Шпета о марксизме и материалистическом освещении социальных фактов и явлений.

Если марксистское «об'яснение» происхождения и развития психологии—«метафизика» и «нелепость», то что же по мнению мудрствующего автора «не нелепость»?

Несомненно только «описательная наука» этническая психология, об'ективирующая «специфику», чистое движение и тому подобные отвлеченности, по существу не реальные и лишённые объективности, метафизические.

возможным наличием и классовой и профессиональной психологии, отражающейся на каждом индивидууме: «Профессиональная психология выдает человека через короткое время: после нескольких минут разговора вы можете определить, стоит ли перед вами приказчик или мясник, или журналист и т. д.» (Н. Бухарин Исторический материализм, стр. 239, 1925 г., издание ГИЗ 'а). 3) Марксизм никогда не утверждал исконности сознания, к чему склонен г. Шпет в своем сопоставлении отрицания чистого дуализма с независимыми друг от друга материальной и духовной субстанциями (см. пункт 1, стр. 116) утверждению возможности дуализма со взаимодействующими субстанциями (см. пункт 2, стр. 116).

¹ Шпет Густав, Введение в этническую психологию, стр. 117. Не подумайте, что марксизму дается известная пощадка.

² Там же, стр. 117—118. Подчеркнуто мной.

³ Там же, стр. 118. Подчеркнуто мной. Значит марксизму тоже никакой пощадки нет.

«Сфера этнической психологии,—пишет Шпет,—априорно намечается, как сфера доступного (?) нам через понимание (!) некоторой системы знаков, следовательно, ее предмет постигается только путем расшифровки и интерпретации этих знаков»¹.

Как отсюда видно, предмет этнической психологии не так уж конкретен. Прежде чем до него добраться, нужно еще произвести «расшифровку» каких-то знаков. Спрашивается, достаточно ли будет одного описания, чтобы хотя бы добраться до самого предмета этнической психологии и ведь «непосредственной целью и руководящею идеею описания служит не об'яснение, а классификация и систематизация»².

Классифицировать и систематизировать, пожалуй, можно знаки, но то, что лежит за этими знаками, едва ли можно «постигнуть» без об'яснения, аналогий и т. д.

Но этническая психология по своему существу не занимается изучением этих «знаков», как состоящих из какого-либо материала, имеющих те или иные формы и т. п., она не затрагивает даже вопроса об их происхождении и развитии, а описывает только то, как реагирует и реагировал этнос на эти знаки.

«Социальные явления, язык, миф, нравы, наука, религия, просто всякий исторический момент,—пишет Шпет, определяя предмет своей «не нелепой» науки,—вызывают соответствующие переживания человека. Как бы индивидуально ни были люди различны, есть типически общее в их переживаниях, как «отклика» на происходящее перед их глазами, умами и сердцем»³. Эти переживания он дальше называет «душевым эхом», «душевым отношением к понятиям и идеям» и тому подобными субъективно психологическими названиями.

Таким образом, становится ясным полное отсутствие в предмете этнической психологии как конкретности и об'ективности, так непосредственной всем доступности.

Для осуществления «описания» такого предмета нужно иметь одну способность не учтенную автором и ложно приписываемую им всем людям. Так, для описания «душевного эхо», на религиозные акты и обряды, и, при том, описанию типического «эхо», нужно описывающему «купаться» в душах религиозных людей, проникать в их души, уметь их «расшифровывать» и переводить на свое «переживание».

Другими словами, область мистических переживаний должна быть стихией автора, доступна ему и так же конкретна, как биологические объекты биологу.

Но эта психология уже будет не психологией социальной или индивидуальной, а мистической. А так как и душа этноса так же мистична, то и психология эта может быть вполне только этнической психологией.

Теперь-то, я надеюсь будет вполне понятно, почему создателю этнической психологии социальная психология кажется нелепостью, бессмыслицей и метафизикой. Несколько слов о причинах возрождения мистицизма в языкознании и психологии.

¹ Шпет Густав, Введение в этническую психологию, стр. 62. Подчеркнуто мной.

² Там же стр. 111.

³ Там же, стр. 107. «Отклик» на происходящее в «уме и сердце»! Представьте себе, как это конкретно, реально и описуемо!

Эти две научные области не только смежны, но взаимозависимы. Богатство психического содержания в человеке (знание, мышление и т. п.), создаваемое и развиваемое социальными взаимоотношениями людей, имеет возможность безмерно увеличиваться, между прочим, и благодаря помощи языка (слов), выражающейся в экономном использовании нервной мозговой и мускульной энергии через пользование так называемыми понятиями. Богатство же содержания языка, создаваемое также развитием социальных отношений людей, зависит от развития и совершенствования нервной, мозговой и мышечной аппаратуры, совершающегося в процессе накопления знаний.

Современное языкознание потерпело поражение главным образом потому, что не сумело научно подойти к разрешению кардинального вопроса о связи звукового знака со значением, т. е. вопроса о происхождении языка.

«Ни один лингвист,—пишет по этому поводу Альфред Мейе,— в настоящее время не может думать, чтобы сравнительная грамматика индоевропейских (вернее, протоегидских.—И. Д. К.) языков бросала хотя бы малейший свет на первые ступени языка»¹.

Густав Шпет идет на помощь отчаявшимся лингвистам с проектом мистификации языкознания², интерпретирует с этой целью основоположника идеалистического языкознания Вильгельма Гумбольдта.

Но кризис идеалистической лингвистики не мог быть при торжестве идеалистической психологии, особенно когда кризис первого вызван неспособностью решить именно психологический вопрос.

Густав Шпет, как отзывчивая натура, идет навстречу и идеалистической психологии с кличем: «да здравствует мистицизм!»³.

Необходимо остановить возрождение мистицизма в СССР еще в зародыше.

И. Дмитриев-Кельда

От редакции: Статьи М. Н. Покровского и С. С. Кривцова, посвященные И. И. Степанову-Скворцову, не вошли по техническим причинам в этот №-р и будут напечатаны в следующем №-ре «В. К. А.».

¹ Мейе Альфред, Введение в сравнительную грамматику индоевропейских языков, стр. 45.

² «Внутренняя форма слова».

³ «Введение в этническую психологию».

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Статьи	
Милютин, В.—М. Н. Покровский	3
Луначарский, А.—К юбилею М. Н. Покровского	9
Волгин, В.—Социализм и эгалитаризм	13
Богданов, В.—Заметки по теории денег у Маркса	28
Разумовский, И.—«Новейшие откровения Карла Каутского»	80
Асмус, В.—Диалектика и антиномии Канта	107
Цейтлин, З.—Принципы механического миропонимания Л. Больцманна	165
Мещанинов, И.—О доисторическом переселении народов	190
Михайлов, А.—Некоторые вопросы марксистского изучения искусствознания	239
Критика и библиография	
Айхенвальд, А.—М. Спектатор. Введение в изучение мирового хозяйства. Опыт построения теории мирового хозяйства	270
Дмитриев-Кельда, И.—Этническая или мистическая психология (Густав Шпет. Введение в этническую психологию)	280

Редакционная коллегия:

Бухарин, Н. И., Дволацкий, Ш. М., Деборин, А. М., Крицман, Л. Н., Лукин, Н. М., Милютин, В. П., Пашуканис, Е. Б., Покровский, М. Н., Шмидт О. Ю.